

ISSN 0206-8680

# КИНО

СЦЕНАРИИ



оследний  
ценарий  
Дассбиндера  
"КОКАИН"

№3

HUMPHREY BOGART MERLE LYNNE  
**BOGART BERGMAN**

Bestes  
Drehbuch  
Beste  
Regie  
Bestes  
Film



# CASABLANCA

К 100-летию кинематографа  
Классика Голливуда

# КАСАБЛАНКА

Читайте в номере

# № 3 КИНО СЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

Учредители:  
Комитет кинематографии при  
правительстве Российской  
Федерации  
Конфедерация Союзов  
кинематографистов

Журнал издается с 1973 года

## ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Райнер Вернер  
ФАССБИНДЕР 3 Кокаин

Юрий АРАБОВ 19 Две танцовщицы

Дж. Дж. ЭПСТАЙН  
Ф.Г. ЭПСТАЙН  
Говард КОЧ 49 Касабланка

Григорий ГОРИН 108 Записки брата Лоренцо

Алина СЕРЕБРЯКОВА 129 Изверг своего отечества  
или  
Жизнь Михаила Бакунина

Гарена КРАСНОВА 182 Сьюзен Сарендон

Петр ЛУЦИК  
Алексей САМОΡЯДОВ 189 Сказка о снайпере  
Василии Морозове



*Райнер Вернер Фассбиндер с Ханной Шигуллой, на премьере фильма  
“Лили Марлен”*

*Мюнхен, январь 1981г.*



*Трудно сказать, какой была бы картина кино в 70—80-е годы без колоритной фигуры Райнера Вернера Фассбиндера. Этот западногерманский вундеркинд не только изменил кинематографическую жизнь в собственной стране, но и оказал влияние на мировой кинопроцесс.*

*Деятельность Фассбиндера была на редкость многогранной. По сути дела, он владел всеми кинематографическими профессиями. Не только писал сценарии ко всем своим картинам, но порой снимал их как оператор (“Третье поколение”, “Год с тринадцатью лунами”). Под псевдонимом Франц Уолш монтировал многие свои фильмы, делал наброски музыки и с удовольствием снимался не только в собственных лентах, но и у других мастеров “нового кино” ФРГ. Причем Фассбиндер занимался постановочной деятельностью не только в кино, но и в театре, и на телевидении. За пятнадцать лет активной творческой деятельности он поставил сорок два фильма, восемнадцать театральных спектаклей, написал десять пьес, две радиопьесы и снялся более чем в тридцати лентах. Эта насыщенная, не знающая пауз и передышек творческая деятельность и привела к преждевременной смерти тридцатишестилетнего режиссера.*

*Работать в кино Фассбиндер мечтал уже в юношеские годы. В 1965 году он*

сделал попытку поступить в Мюнхенскую киношколу и получил отказ. Но Фассбиндера было трудно остановить и тем более обескуражить. Из друзей и знакомых он сколотил театральное товарищество “Антитеатр” и приступил к постановке спектаклей. Труппа Фассбиндера выступала в баварских пивных, барах, подворотнях, довольно быстро снискав известность в мире альтернативного театра. Вскоре Фассбиндер познакомился с актрисой своей мечты Ханной Шигуллой и понял, что пора переходить к фильмам. За городом был снят особняк, взята напрокат техника, и съемки начались.

Первый киноопус “Любовь холоднее, чем смерть” вызвал гомерический хохот и обвинения в дилетантизме. Однако “Катцельмахер”, снятый в том же 1969 году, был одобрен публикой и критикой и получил несколько призов Берлинского кинофестиваля. Его создатель был провозглашен главной надеждой западногерманского кино. С той поры имя Фассбиндера постоянно находилось в центре общественного внимания.

Кинофабрика Фассбиндера производила продукции больше, чем прокат и зрители могли переварить. Среди них было много плохих, очень плохих и очень хороших фильмов. Встречались и настоящие шедевры: “Продавец четырех времен года” (1971), “Горькие слезы Петры фон Кант” (1972), “Страх съедает душу” (1973), “Эффи Брист” (1974), “Замужество Марии Браун” (1977), “Берлин.

Александрплац” (1980), “Лола” (1981), “Тоска Вероники Фосс” (1982).

Фассбиндер стал настолько знаменит, что его узнавали даже на улицах Нью-Йорка. Однако жизнь уже дала сбой — режиссер стал заложником страшного недуга — наркомании. Исступленная, не знающая пауз и передышек творческая деятельность — Фассбиндер снимал 2—3, а то и 4 фильма в год — требовала разрядки. Он начал принимать стимулирующие средства. Один из ближайших соратников Фассбиндера Курт Рааб свидетельствует, что уже в 1976 году на съемках ленты “Больвизер” Фассбиндер достал из кармана пакетик с белым порошком. Рааб играл в фильме главную роль и никак не мог найти нужную интонацию. Вначале он сопротивлялся, но вскоре сам подошел к Фассбиндеру и попросил чудодейственное средство. “Приняв дозу, я быстро ощутил необыкновенное изменение в голове, почувствовал удивительную эйфорию, словно все беды и неприятности закончились. Если бы кто-нибудь увидел меня в тот момент, то решил, что я лучший актер на свете. Кокаин раскрепостил мои силы, дал уверенность в себе. Я начал принимать порошок каждый день, и Фассбиндер всегда был готов со мной поделиться”, (Kurt Raab, Lasten Peters. Die Sehnsucht des Rainer Werner Fassbinder. 1982. s. 291.) — вспоминал К.Рааб в своей книге “Тоска Р.В.Фассбиндера”.

Благодаря кокаину Фассбиндер мог работать по 24 часа в сутки. Однако расплата наступила много раньше, чем он предполагал. Периоды депрессии, обостренные приемом кокаина, делали общество Фассбиндера непереносимым для других людей. Постепенно его оставили самые близкие друзья, и он все больше замыкался в скорлупе одиночества.

Фасбиндер знал, чем грозит ему прием наркотиков, — об этом недвусмысленно свидетельствует фильм “Тоска Вероники Фосс”. Хотя в нем рассказывается биография конкретного исторического лица, нельзя не увидеть параллелей с жизненной историей самого Фасбиндера. Власть наркотиков страшна и безраздельна. Из-за них знаменитая в прошлом “звезда” немецкого кино лишается всего — семьи, славы, богатства, работы. Все было принесено в жертву испепеляющему недугу. И когда в финале перед героиней появляется возможность выбора: возврат к нормальной жизни или тирания бывшей эсэсовки, поставляющей наркотики, — она выбирает последнее. В заключительных кадрах Вероника Фосс предстает как полностью уничтоженное, деградировавшее существо.

Фасбиндер понимал, что ждет его в будущем, но, подобно доктору Фаустусу, герою одноименного романа Томаса Манна, шел на сознательное разрушение собственной личности, лишь бы максимально реализовать свой творческий потенциал. Предельно концентрированно дилемма — “короткая, яркая жизнь или длинная, но монотонная” — была сформулирована в сценарии “Кокаин”. В 1979 году Фасбиндер прочитал роман итальянского писателя Дино Сегре, печатавшегося под псевдонимом Питигрилли, и решил экранизировать его.

Фасбиндер сам писал сценарии собственных фильмов, и если брался за экранизацию чужих романов, то не стеснялся их переделывать и дописывать. Так произошло и с романом “Кокаин”, который подвергся существенной переработке.

Его съемки должны были начаться летом 1982 года. Уже были подписаны контракты с актерами, составлен съемочный план. 11 июня 1982 года

Фасбиндера не стало. Его сердце не выдержало бешеной гонки.

Кстати, роль кокаиниста Тито Арнауди должен был исполнить американский актер Брет Дейвис. В последнем фильме Фасбиндера “Керель”, чья премьера состоялась уже после смерти режиссера, он сыграл морячка Кереля, гомосексуалиста, убийцу и наркомана, олицетворяющего губительную власть зла. В 1993 году Брет Дейвис скончался от СПИДа. В 1990 году та же участь постигла упоминавшегося выше Курта Рааба, одного из ближайших соратников Фасбиндера.

Фасбиндер и его клан принадлежали к так называемой “группе риска”. Ради полноты впечатлений они предпочитали рисковать как в жизни, так и в творчестве. Это был их добровольный выбор, и он уже совершен. Однако последний сценарий Фасбиндера как бы предостерегал: “Вы заплатите слишком высокую цену за несколько минут блаженства”. Так стоит ли рисковать?!

Автор публикации благодарит жену Фасбиндера Юлиану Лоренц и сотрудников архива “Немецкой кинематеки” (Берлин) за возможность познакомиться с архивом Фасбиндера, в котором и была найдена рукопись сценария “Кокаин”.

Гарена Краснова



Р.В.Фассбингер

## КОКАИН

по роману Питигрилли 1980 г.

Некоторые размышления по поводу будущего фильма:

I. Мой фильм не должен стать агитацией за или против наркотиков. Он должен рассказать об их воздействии, о людях, которые начинают принимать наркотики с ясным осознанием, что они могут интенсифицировать жизнь, лишь значительно укоротив ее. Каждый должен решить сам, чего он хочет — короткой и яркой жизни или длинной и монотонной.

Наркотики играют большую роль в жизни художника. Известно, что лучшие стихи Рембо были написаны под воздействием марихуаны. Пруст принимал наркотики, когда писал "В поисках утраченного времени". Многие открытия Фрейда свершились под влиянием кокаина.

Суммируя все это, я мог бы сказать, что в области художественного творчества влияние наркотиков может быть весьма позитивным. Но с другой стороны, наркотики несут в себе колоссальную угрозу. Возникает порочный круг. Если под их влиянием создано что-то выдающееся, хочется идти дальше и пережить творческое вдохновение еще раз. А это уже опасно.

II. В моем фильме все эти противоречия отражены в образе журналиста Тито Арнаути. Действие представляет собой лихорадочную картину воспоминаний, возникающих в его мозгу под влиянием сверхдозы кокаина. Конечно, это не более чем драматургический прием, позволяющий показать постоянно изменяющиеся настроения кокаиниста. Кокаин влияет на

мозг, он раскрепощает фантазию, и это раскрепощение должно найти соответствующее кинематографическое воплощение.

III. Роман Питигрилли построен в форме внутреннего монолога героя. Но я решил изменить его структуру, а также укрупнить образы некоторых героев. Эти изменения должны пойти на пользу фильму. Будут изменены и места действия. Вместо Генуи, испорченной современными постройками, будет Неаполь. Вместо Аргентины — Бразилия, вместо Африки — Южная Америка.

IV. Я был бы счастлив, если бы "Кокаин" оказался близок по духу "Амаркорду" Ф.Феллини, "Сало" Пазолини, "Корриде любви" Осимы и моему собственному телесериалу "Берлин. Александрплац". "Кокаин" должен быть снят с помощью тех же технических средств, что и "Апокалипсис" Копполы. Я не хочу, чтобы он стал развлекательной лентой. Мне хочется попробовать себя в создании необычных грандиозных образов, связанных внутренними ассоциативными связями. В качестве музыки будут использованы песни Мика Джаггера, Боба Дилана, Рода Стюарда, по-новому аранжированные моим композитором Пером Рабином.

Действующие лица и исполнители:

Тито Арнаути — Брэт Дейвис  
Кокаина — Орнелла Мути  
Пьетро — Микеле Плачидо  
Редактор — Иван Десни  
Калантан — Ингрид Гафен.



### *Тито Арнауди — Брет Дейвис*

I.

Неаполь, 1930 год. Тито Арнауди бесцельно бродит по ночным улицам, постоянно натякаясь на проституток. Наконец, он входит в кафе, садится за стол, заказывает бутылку шампанского, потом идет в туалет и принимает там две дозы кокаина. Все это время окружающие с осуждением поглядывают на него.

Когда Тито возвращается в зал, то находит за своим столом прекрасную одетую даму. Оба вспоминают, что когда-то учились вместе. Она стала доктором медицины.

— А как Вы живете, Тито?

— Неплохо. Но сегодня я решил умереть.

В доказательство своих слов он высыпает в бокал с шампанским 7 граммов кокаина и выпивает его.

II.

Тито лежит в своем пансионе, охваченный лихорадкой. Рядом с ним Мод и его друг Пьетро Носер. Врач

диагностирует вирусный грипп и исчезает. Тито, на секунду очнувшись от бреда, просит, чтобы Мод и Пьетро занялись любовью у него на глазах. При этом он дает друзьям соответствующие указания. Лихорадка становится все сильнее. В бреду Тито возвращается в те времена, когда состоялась его первая встреча с Мод.

III.

Неаполь, 1927 год. Взгляд Тито устремлен в окно дома напротив. Там сидит стенографистка. Она не выглядит слишком умной, зато кажется необыкновенно привлекательной. Красивее ее он, пожалуй, еще никого не встречал.

IV.

Тито подкарауливает девушку у дверей дома и знакомится с ней. Ее зовут Маддалена. Позднее он будет называть ее Мод или Кокаина. Девушка вызывает в Тито огромное чувство нежности. Он даже теряет дыхание, когда думает о ее волосах, лице, теле.

Тито приводит Маддалену домой и награждает страстными поцелуями. Мать девушки становится невольным свидетелем этой сцены. Ее возмущение так велико, что она решает отдать дочь в приют для трудновоспитуемых девиц. Опечаленный Тито покупает билет и уезжает во Францию.

V.

Приехав в Париж, Тито тут же заказывает себе визитные карточки с гордой надписью "Профессор медицины Тито Арнауди". Его прибежищем становится убогий отель на Монмартре.

VI.

В кафе Тито знакомится с кокаинисткой Селиной, недавно брошенной своим любовником. Она вводит Тито в круг кокаинистов и побуждает написать статью "Кокаинисты в Париже" для газеты его американского дядюшки. Чтобы сделать статью более впечатляющей, Тито сам начинает принимать кокаин. Он и не замечает, как становится кокаинистом. Наркотик поставляет ему человек на деревянной ноге, в которой и спрятан кокаин.

VII.

Тито получил телеграмму от своего американского дядюшки, нашедшего статью грандиозной. Гордый собой, Тито покупает автомобиль и переезжает в грандиозный отель "Наполеон", один из лучших в Париже. Не беда, что у него там малюсенькая комнатка на задворках.

Дядюшка просит своего приятеля, французского издателя, взять Тито сотрудником в свою газету. Тот отказывает. Прежде чем покинуть кабинет, Тито оставляет на его столе визитную карточку. Шеф-редактор видит слово "отель Наполеон" и сразу меняет свое отношение к юноше, предлагая ему стать корреспондентом.

VIII.

Редакция газеты представляла собой странную смесь клуба, фешенебельного санатория и бара. Совершенно неожиданно Тито встретил среди сотрудников своего неаполитанского приятеля Пьетро Носера. Тот сразу ввел его в курс дела, говоря, кто чего стоит.



*Пьетро Носер – Микеле Плачидо*

IX.

Довольно быстро Тито становится в редакции своим человеком и даже позволяет себе покапризничать: "Я не хочу освещать конгресс. Это скучно" и т.п.

Как-то Тито и Пьетро отправились пообедать в кафе. Пьетро попытался предостеречь приятеля от злоупотребления кокаином, но тот быстро поменял тему. Как раз в это время к их столику подселла необыкновенно красивая женщина Калантан Тер-Григорянц, армянка, известная всему Парижу своими "бельми мессами", где курят наркотики. Тут же между красавицей и приятелями завязывается флирт.

X.

Приятели едут на виллу Калантан, чья извращенность проявляется в том, что она любит заниматься любовью в гробу. Калантан показывает гостям свою виллу. Ее особая гордость — зал пингвинов. Он обтянут черной кожей, украшен зеркалами. По залу бродят настоящие

пингвины. Постепенно дом заполняется гостями — политиками, врачами, художниками, и все они любят наркотики.

XI.

Тито увлечен беседой с прекрасной армянкой, в которую влюбляется с первого взгляда. Их общение прерывает дикий азиатский танец. Появляется клетка с бабочками. Открывают бутылку с хлороформом. Бабочки падают на стол. Калантан начинает давить их руками, постепенно впадая в истерику. Ей дают кокаин, она успокаивается, лицо озаряется счастливой улыбкой.

Разговор крутится вокруг любви в гробу.

XII.

Часом позднее. Появляются нагие танцовщицы. Когда танец кончается, большинство гостей засыпают со счастливыми лицами. Бодрствуют лишь Тито и Пьетро. Они ведут разговор о библии. Пьетро удивлен познаниями Тито и тем, что тот не утратил способности думать.

Тито подходит к Калантан, пытается с ней заговорить, но она не реагирует.

XIII.

Тито возвращается в отель. Там его ждут два письма. Одно — от Маддалены, второе — из газеты. Маддалена, которую зовут теперь Мод, пишет, что стала танцовщицей и скоро приедет в Париж. Тито так увлечен Калантан, что едва обращает внимание на это сообщение. Приняв кокаин, он в ослеплении начинает писать новеллу “Убийство гувернантки на Ямайке”. В этот момент он похож на маньяка.

XIV.

Тюрьма. Тито беседует в камере с приговоренным к смерти. Ответы того удивительно циничны.

— Да, я убил 27 человек. Они мне не нравились.

Открываются двери. Убийцу тянут на эшафот. Голова отделяется от тела. Их укладывают в гроб. Глаза казненного открыты. Язык вываливается наружу.

Тито начинает интервьюировать палача. Тот с охотой объясняет устройство гильотины.

Тито лихорадочно печатает на

машинке, вызывает посыльного, передает ему статью, а потом ложится в постель и засыпает.

XV.

Его будит телефонный звонок. Шеф-редактор сообщает, что президент помиловал убийцу, и никакой казни не было. Тито удивлен. Ведь он разговаривал с палачом и видел гильотину собственными глазами.

XVI.

В Париж приезжает Мод. Тито устраивает ее в свой отель.

XVII.

Тито продолжает встречаться с Калантан, которая не перестает потрясать его своей роскошью. В честь прихода Тито сервируется прекрасный стол с красной рыбой, ананасом и шампанским. Поглощая яства, Тито и Калантан ведут изощренную любовную игру, которая завершается садомазохистским любовным актом.

XVIII.

Статья о казни убийцы имела грандиозный успех. Читатели верили Тито, а не заявлениям правительства о помиловании преступника. Шеф-редактор послал Тито в Лион, обосновав его ссылку тем, что там умер корреспондент. Лионскую газету Тито нашел очень скучной и решил сочинить статью о смерти 21 человека от отравления грибами. Статья имела громкий успех, но Тито опять заскучал. Чтобы развлечься, он сочинил статью о том, что фабрикант колбас убил из ревности жену с ребенком и использовал их мясо для изготовления колбас.

На следующее утро цены на колбасы по всей Франции упали до нуля. Их производители потребовали назвать имя преступника. На счастье Тито, один фабрикант из Лиона как раз покончил жизнь самоубийством. Отрасль перевела дыхание. Шеф срочно отозвал Тито в Париж.

XIX.

В Париже Тито встретился с Мод и понял, что любит ее и тоскует по прошлому.

XX.

Мод удалось устроиться в кабаре. Как



*Калантан — Ингрид Гафен*

танцовщица она имела весьма посредственный успех, и только Тито под влиянием наркотиков не уставал восхищаться ею. Мод, однако, не была огорчена. Они снова стали любовниками. Но когда Тито зашел в комнату Мод на следующий день, то застал ее в постели с боксером. Мод оправдалась тем, что знакома с ним еще по Неаполю. На следующий день это был уже другой мужчина. Мод не скрывала, что продает себя за деньги. Это не мешало Тито любить ее так же страстно. Еще у него была Калантан, которая тоже требовала ласк и любви. "Они отличаются друг от друга, — думал Тито, — но я люблю их с таким безумием, потому что одна приковывает меня к современности, а другая — к прошлому. Мод и Калантан принадлежат разным культурам. Они обе убеждают меня в том, что прошлое нам не принадлежит".

XXI.

Мод познакомилась с хирургом, который специализировался на

гинекологических операциях, и из боязни забеременеть решила на ампутацию яичников. Когда Тито узнал об этом, то был потрясен. Он вспомнил несчастных девушек, подвергшихся этой операции. Их лица покрылись грубым пухом, а тела заплыли жиром. Тито заплакал, но не решился открыть любимой всю правду. На ее вопрос, что с ним, ответил: "Мы, страдающие, если что-то делаем, например плачем, то плачем всерьез". Поскольку Мод не отличалась большим умом, она не стала вникать в смысл этой странной фразы.

XXII.

Кокаин и постоянные метания между женщинами довели Тито до крайнего истощения. Пьетро Носер и шеф-редактор пришли к выводу, что Тито должен жениться. Их разговор носил явно шовинистический характер — они видели в женщинах проституток, нимфоманок. Тито попытался вступить за женщин, но его страстный монолог был прерван Калантан, которая по

телефону призывала его к себе.

XXIII.

Калантан поведала Тито о своих затаенных желаниях. “Каждая женщина мечтает стать проституткой в борделе”, — с вызовом заявила она. С ужасом Тито осознал, что его приятели были недалеко от истины, когда обличали порочность и пресыщенность современных женщин. “Я приду завтра, а сегодня я слишком печален, чтобы быть рядом с тобой”, — тихо сказал он и вышел из комнаты. Однако он вернулся к Калантан. Один день он проводил у нее, другой — в обществе Мод.

“Мод наделена необыкновенной чувственностью. Она ищет в любви неизвестный опыт, яростное возбуждение. Калантан, воплощение болезненной экстравагантности, напротив, ищет в любви со мной нечто простое, примитивное, чистое”, — думал Тито, сравнивая женщин.

Однажды в постели Тито назвал Мод “Кокаиной”, выразив этим запрятанную в подсознании мысль о том, что связь с ней имеет для него такой же разрушительный смысл, что и наркотики.

“Кокаина... Отныне я буду называть тебя не Мод, а Кокаина, как тот яд, в котором я нуждаюсь, чтобы иметь силы жить”.

XXIV.

Мод обижалась на Тито за то, что тот мало хвалил ее как танцовщицу. И когда шеф-редактор попал в больницу, Тито тотчас опубликовал в газете статью о грандиозном таланте Мод. Публика повалила на ее концерт и была шокирована убожеством босоногой танцовщицы. Когда концерт закончился, в зале воцарилось гробовое молчание. Зато на следующее утро газеты обрушили на Тито весь свой гнев. Тем не менее Кокаина получила ангажемент в Южную Америку. Тито вызвался ее сопровождать.

XXV.

Но он не мог уехать, не попрощавшись с Калантан. Той, однако, не было дома. Воспользовавшись отсутствием хозяев, Тито прихватил с собой все золотые вещи для сервировки стола. Когда с

двумя чемоданами Тито и Мод прибыли в порт, они были похожи на двух беглецов.

XXVI.

На пароходе Кокаина сразу начала флиртовать с пассажирами. Тито валялся в каюте, страдая от морской болезни и ревности.

XXVII.

Телесные изменения Кокаины становились все заметнее. Жесты утратили грацию, голос огрубел, но Тито продолжал любить ее.

— Ты выглядишь как старуха, но я люблю тебя. Потому что предан тебе душой и телом, потому что меня привязало к тебе сродство душ, и мне безразлично, красива ты или нет.

Кокаина часто исчезала, не сказав ни слова, а потом рассказывала Тито о своих приключениях, упиваясь шокирующими подробностями. Под влиянием этих рассказов к Тито впервые пришла мысль о самоубийстве. Но она была вызвана не только неверностью Мод.

” Вначале кокаин вызывал у меня болезненное беспокойство, эротическую экзальтацию. Но сейчас пламя моей чувственности угасает. Я испытываю лишь слабые сексуальные импульсы, ” — со слезами на глазах признавался он Кокаине.

XXVIII.

В Рио-де-Жанейро Кокаина получила возможность выступить в правительственном дворце. Однако ее настроение не улучшилось. Она чувствовала, что с каждым днем становится все уродливее, и решила уехать назад в Неаполь, чтобы найти там мужчину, который бы согласился принять ее такой, какая она есть. Тито теперь постоянно говорил о смерти, а Кокаина поддакивала ему.

XXIX.

Кокаина выступала ночами, а днем принимала в своей комнате любовников. Мужчинам передавалось ее эротическое возбуждение и они не обращали внимания на ее внешность. Тито видел, что ее нервы вконец расстроены, и предлагал вместе уйти из жизни. В

опиумном угаре Тито рисовал захватывающие картины их двойного суицида. Кокаина лишь покорно кивала.  
XXX.

Но Тито не покончил с собой. Купив билет, он вернулся в Европу. Когда, после выступления, Кокаина вошла в комнату друга и застала там постороннюю английскую даму, то поняла, как дорог ей Тито и как ей будет одиноко без него. Осознав это, Кокаина впала в настоящее безумие.

XXXI.

В Неаполе Тито постоянно думал о Кокаине. "Кокаина! Ужасающая и такая необходимая мне маленькая женщина! Яд!" Чтобы изгнать ее образ из своей памяти, он приводил к себе всех женщин, которых встречал во время ночных прогулок по городу. Как правило, его старания ни к чему не приводили, ибо его мужская потенция была на нуле. Наш герой ничего не мог довести до конца.

XXXII.

Во время ночных блужданий Тито встретил Пьетро Носера, вернувшегося из Парижа. Никто из них не хотел возвращаться назад во Францию, она сыграла свою роль в их судьбе и теперь могла исчезнуть. По своему обыкновению, Тито начал говорить о самоубийстве, но Пьетро довольно грубо оборвал его, заявив, что "тот, кто много говорит, обычно ничего не делает".

Тито метался. Его настроение менялось каждую минуту. То он объявлял, что хотел бы уйти в монастырь, а потом жаждал заняться изучением бабочек или разведением овощей. Он даже клялся, что не будет принимать кокаин. Им овладело радостное возбуждение, когда, придя в пансион, он нашел телеграмму от Кокаины, возвращающейся в Неаполь.  
XXXIII.

Тито встретил Кокаину в порту. Она стала еще уродливее и толще. В лице появилось что-то клоунское. На верхней губе выросли усики. Кокаина подробно рассказала Тито о своих любовных похождениях, и в голове Тито опять возникли бурные эротические фантазии.

И Пьетро попал под обаяние этой



*Кокаина — Орнелла Мути*

женщины, похожую на руину той, которую он знал в Париже.

Кокаина привела Пьетро в свою комнату, и вскоре Тито услышал страстные стоны. Засмеявшись, он медленно вышел из комнаты.

XXXIV.

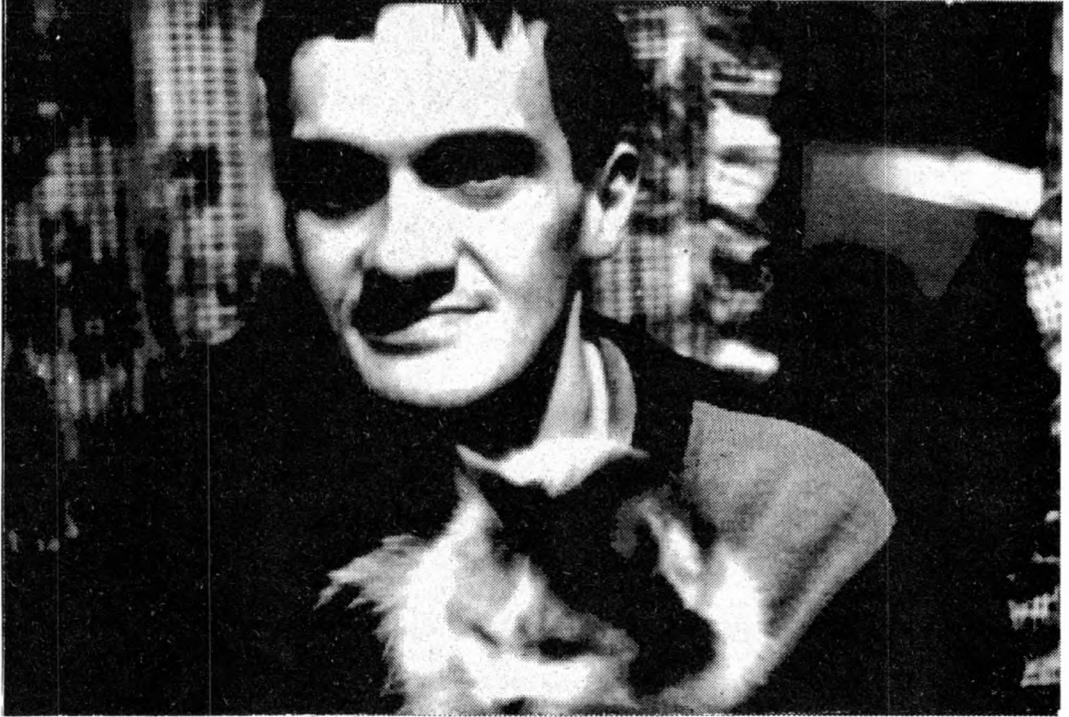
Действие этой сцены является продолжением сцены II. Кокаина и Пьетро лежат на полу, занимаясь любовью. Тито в лихорадке мечется по постели. Перед его затуманенным взором проходит вся его жизнь, наполненная безумствами и страстной любовью к кокаину и Кокаине. На минуту к нему возвращается сознание. "Все убивают себя. Кокаиновое отравление — только символ всеобщего отравления. Кокаин — сладкая, добровольная смерть, которая освобождает нас от оков реальности", — едва слышно шепчет он.

Голова Тито падает набок. Из носа струится кровь.

Кокаина и Пьетро, охваченные любовным экстазом, не замечают смерти друга.

*Перевод Гарены Красновой.*

# ЮРИЙ АРАБОВ:



## «Писатели станут городскими сумасшедшими...»

— Несколько лет назад тандем Арабов—Сокуров намного обогнал по популярности другие известные пары, такие как Абдрашитов—Миндадзе или Михалков—Адабашьян. В кругах кинематографистов только и звучала ваша фамилия. И вдруг — тишина, как отрезало.

— Не я один «пропал». Сгинул почти весь отечественный кинематограф. Раньше шел разговор — искусство никому не нужно. Вы, наверное, еще застали этот период... Сейчас другой этап — сейчас профессия никому не нужна. Скажем так: искусство само по себе никогда никому не было остро необходимо. Но профессионалы в искусстве ценились. А сейчас не ценятся, вот что интересно. Я еще в 90-м году писал о том, что наступает новая эпоха малокартинья. И думал, что просчитался. Еще в прошлом году — ну, думаю, ошибку дал! Но вот буквально в последние три-четыре месяца все и разразилось. В конце 1993 года произошло очень резкое ухудшение ситуации

в нашем кино. Так называемое авторское кино давно приказало долго жить. А теперь приказывает долго жить и все остальное. С авторского началось, а жанровым заканчивается. Года два-три, видимо, кино не будет вообще. Потом, конечно, будет. Почему? Страна очень богатая. Страна еще себя покажет.

А если о себе... Последние три картины по моим сценариям были сделаны в 92 и 93 годах. Это — «Камень», «Тихие страницы» с А. Сокуровым и «Присутствие» с Андреем Добровольским. У нас они нигде не идут, естественно. Было отпечатано по нескольку копий, фестивальных. В смысле отечественного кинематографа — это работа в черную дыру. Фильмы, которые даже специалисты не могут смотреть. Фактически — это работы для университетских аудиторий Запада, как, впрочем, и все остальные фильмы. Они идут в Европе, Скандинавии, Японии... в различных киношколах. А у нас нет!

— Не хотелось этого касаться — ибо только

*ленивый в последнее время не кинул камень в сторону нашего умирающего кинематографа, — но раз вы уже сами заговорили об этом, скажите, пожалуйста, Юрий, почему, на ваш взгляд, происходит это с нашим кино?*

— Ухудшение ситуации связано, видимо, с инфляцией... Но есть тут и такой, скажем, нравственный фактор — люди, которые пришли сейчас к кормилу кинематографа, оказались значительно более слабыми, чем те, которые были до них... Пришли слабаки! Они оказались слабаками в плане принципиальном, художественном. Они несостоятельны! Их очень быстро сломал рынок. Они очень долго стучали кулаками в грудь: «Мы все можем!» — а рынок их свалил одной левой.

— *Судя по вашим словам, вы считаете, что в ближайшие годы ситуация в кинематографе бесперспективная. И вы решили уйти из кино?*

— Когда я понял, что все закатывается и будет пауза в кино, то... я набрал мастерскую во ВГИКе. Это была, так сказать, моя адаптация к ситуации! Я набрал ребят в 92 году и через два года их выпущу.

С одной стороны, мне их жалко — потому что все, чему я их научу, им в течение нескольких лет скорее всего не понадобится. Пока не выработались среди менеджеров и продюсеров люди со вкусом, т.е. люди профессиональные, ситуация не изменится.

С другой стороны, мне нужно передать ребятам то, что я наработал в профессии, в кино, за пятнадцать лет. Я отдам и буду, надеюсь, как ветер в поле гулять. У меня в группе ребят собрались «фанатичные», «повернутые». Это здорово!.. Приходится читать им все подряд — начиная от философии, кончая эстетикой.

— *Говорят, вы со своими ребятами написали какой-то сценарий?*

— Да, сценарий сказки. Писали все вместе, всей мастерской — это был эксперимент, чтобы ребят быстрее обучить композиции и всем прочим вещам в учебных целях... А потом решили это снять. Нашли 15 миллионов — их дало РостВ. А другую половину жажало Госкино. И никто не помог! Ни центр Быкова, ни другие спонсоры... Одним словом, проект похоронен. Оказалось, это никому не интересно.

— *Печально. Какой же выход, если он вообще существует?*

— Лично я хочу уйти в литературу. Даже если кино начнет возрождаться, а оно начнет в конце концов, в кинематографе я буду работать меньше, чем работал раньше. Хочу передать молодым людям все, что я узнал, что я наработал, кой-чему их научить — и все. Видимо, это будет мой единственный «киношный» курс.

Почему в литературу? Ну сколько можно заниматься этим мельканием — я имею в виду 24 кадра в секунду. Во-первых, тесно. Во-вторых, я устал оттого, что работа сценариста прилагательная. Меня это уже не устраивает. Я хочу быть сам по себе. Пока есть какие-то сюжеты, откуда есть какой-то внутренний двигатель, я буду работать в литературе...

Конечно, это другой мир!.. Говоря честно, это еще более плоский мир, чем мир кино. Совсем сплющенный. Миру кино зрительные образы дают объем. Он более богатый, что ли. В литературе этого нет. В ней сейчас совершенно бедное существование. Литература становится все менее популярной. Из нее идет отток людей, и кажется, литературы тоже не будет...

— *Кино не будет, литературы не будет... Что же будет?*

— Телевизор. Читиво... Проза вообще легче усваивается, чем поэзия. Но это не главное. Самое интересное, что книги становятся другими. Они становятся более популярными. Они становятся более обслуживающими, если так можно сказать... То есть они обслуживают интересы целых групп людей, всевозможных социальных прослоек. Книга становится товаром. И она будет товаром! Здесь есть свои плюсы, но минусов, конечно, больше. Вернее, так нельзя сказать, чего больше: «плюсов» или «минусов», просто сам человек меняется...

— *То есть происходит нечто глобальное?*

— ...Да. Сейчас очень резко все стало меняться. И там, и здесь. Мы все мчимся в одной телеге... Но там, на их стороне, есть хорошие рессоры — соответственно не так трясет. А у нас трясет очень сильно!

Мы еще недооцениваем, что компьютер сделал с человеком. Это чуть позже будет ясно. Это перемена ритмов работы сознания. Человек постепенно из творца будет становиться исключительно потребителем. Размеры накопительства возрастают с компьютером!.. Я просто как художник чувствую, что происходят необратимые вещи. Мне они не страшны — просто я их не приветствую. Я чувствую, что человек все больше становится несвободным, все менее творческим. Все более ПЛОСКИМ!

Смотрите, как интересно получается: несмотря на модность религиозности, мир становится все более утилитарным, все более атеистическим. Это происходит вследствие утилитарного культурного плюрализма. В Америке это называется мультикультурализмом. Что это такое?

В основу положены права человека на любое вероисповедание. А в духовном плане — все, что когда-либо относилось к области духовного.

Американский божок? — Да.

Спаситель? — Да.

Про Будду забыли? И Будда, конечно, да! Все — да!..

И поэту вместо вертикали получилась плоскость. Духовная горизонталь. Нет приоритетов. А жаль...

— *Может быть, идет какая-то глобальная смена религий?*

— У меня был период увлечения этой идеей. Я даже написал в «Искусстве кино», что вот вот — и будет новый Новый Завет и т.д. Это в общем, конечно, глупость, как я могу сейчас сказать. Потому что христианство совершенно не освоено! Христианство дает необыкновенно высокий идеал. Это — сверхчеловеческая религия!.. Это религия, которая максимально «не обслуживает» человека.

Сейчас, в современном мире, «дается добро» всем религиям, всем человеческим устремлениям. Исчезает понятие нормы. Культура становится ненормативной. Культура распадается. Несмотря на то что папа есть, патриарх есть... И внешне — христианский мир. К сожалению, только внешне.

— *То есть вы хотите сказать, что человек устал, что он находится у какой-то крайней черты?*

— К какому-то «потолку» мы, безусловно, подошли. Мы поднялись на какой-то уровень в XX веке. Мы создали так называемую «вторую реальность»... Хорошо это или плохо — я не знаю. Но вопросы духовные, к сожалению, этим не решаются...

— *Но многие художники, пытаясь, как сами они это утверждают, спастись, уезжают на Запад, пытаются как-то там выжить...*

— Все это обман! Художнику бежать некуда. Бегут в основном нехудожники. А художник одинаково не нужен везде. Куда бежать?

Хотя в принципе кинематографисты могут работать везде. Особенно режиссеры, так как природа кино визуальна. А наш брат, российский литератор, не может нигде работать, кроме России!.. Особенно — поэт. Потому что поэт работает с пластами языка. Здесь «патриотизм» глубинного характера. Отъезд — это гибель. ТАМ с языком могут работать только суперталантливые люди, как Солженицын или Бродский. Да и на Бродском это сильно отразилось.

— *Но и здесь с языком творятся ужасные вещи. С одной стороны — «колонизация» убила почти все внутренние языки в России, с другой — гибнет и сам русский язык, превращаясь уже непонятно во что...*

— Совершенно верно! Все народы постепенно вымирают без языка. В случае России будет примерно то же, что случилось с индей-

цами в Америке. Я бы даже сказал, пример с индейцами в резервациях — это лучший вариант для народа. Ты продолжаешь жить на своей земле. Но дух убит! Поэтому и нет индейской литературы... У нас будет то же самое!

О других языках внутри России думать уже нечего, к сожалению. Надо постараться работать с русским языком...

— *Поэтический дар — это от Бога, но «работу с языком» вы выбрали сами, сознательно. Почему же сначала был ВГИК, как туда поступили, были ли какие-нибудь другие варианты?*

— Дело в том, что я во ВГИК поступил случайно. Я поступал три раза — сначала на киноведческий, но меня «срезали», затем на сценарный и получил «пару» на первой же новелле. А в третий раз прошел... Для меня это был большой перелом в жизни. Я с трудом окончил школу, был хулиганом. Таким хулиганом-депрессантом: одновременно была глубокая депрессия, а с другой стороны — асоциальное поведение. И я просто благодарен Богу и маме, что не сел, скажем, в тюрьму и со мной ничего такого не случилось. Я ведь ничего в школе не читал, ничего не знал. И знать не хотел!..

— *С трудом, Юрий, верится в ваш образ хулигана... Вы ходили с ножом?*

— С кастетом ходил, с ножом — нет. После школы с трудом получил «троешный» аттестат — там так и написали: «Негодный ни к чему, неспособный». Но в 72 году я вдруг сочинил первое стихотворение. Про загнанных лошадей в белой пене, какой-то бред под Маяковского. Написал после того, как прослушал очередной правительственный доклад по ТВ. Очень обиделся, и написал. К нам в школу приехал от Союза писателей какой-то заштатный поэт, фамилию которого я сейчас уже забыл. И читал он нам какие-то стихи советские. После выступления я пробрался к нему и сказал: «Знаете, я вот тоже пишу стихи, можно я вам прочту?» Ну он растерялся и говорит со вздохом: «Читайте...» А потом, выслушав, сказал мне слова, которые тогда очень сильно меня озадачили: «Вы знаете, вас никогда не будут печатать, но вы будете модны в салонах».

Это было единственное духовное впечатление от 10-го класса.

После школы я пошел работать киномехаником на студию и три года проработал. Много читал. И каждый год поступал во ВГИК. Причем в последний год — одновременно и в Литературный институт, да сразу на три факультета!..

— *Но поступили все-таки во ВГИК...*

— Да, в мастерскую к Николаю Николаевичу

Фигуровскому. Поступил и решил стать другим человеком: если до этого я был двоечником и асоциальным типом, то теперь буду пятерочником и социальным типом. Пятерочником-то я стал, а социальным типом, конечно же, не получилось... Не хватило запала!

— *Чем для вас был ВГИК в те времена?*

— Я просто думал, что это «крыша» в течение пяти лет, что жизнь моя не впишется в истеблишмент. И я приготовился быть беспартийным подпольным литератором с печатаньем на Западе... Такое диссидентское существование.

В те годы ВГИК был другим — более светлым, более бурлящим. Было интересней. Например, нам читали лекции Мамардашвили, Бахмутский и Звонникова, которые, слава Богу, остались и сейчас, Волкова, которую уволили... Были любопытные люди, и поэтому я учился с удовольствием.

Первые три курса я отстаивал свою диссидентскую политику и писал гротески. А они беспощадно «зарубались»! На четвертом курсе я пошел на компромисс — стал писать детективы... А они беспощадно принимались, что было еще хуже...

— *Какие детективы?*

— Обычные. Со всякими там следователями, шпалерами и «жмуриками»... А на пятом курсе решил честно написать диплом. Три темы у меня отвергли... И я за несколько недель спял Бог знает что — за что мне и поставили «пять», выдав заодно «красный диплом». Я потом, честно говоря, выкрал этот дипломный сценарий...

— *А как он назывался?*

— Не помню... Я получил диплом и сказал себе: Юра, все, отвоевались. Больше никогда ничего подобного ты писать не будешь. Мне один умный человек после диплома сказал: «Все хорошо вы написали, но учтите, что если и дальше так будете писать, ваша судьба будет очень сложной — вы себя промотаете...»

— *И все же вам повезло — вы встретили Сокурова...*

— Нас познакомила Звонникова. Саша как раз собирался снимать «Одинокий голос человека» и не мог найти сценариста... С Сокуровым мы сработались, хотя картина была положена «на полку». Но мы держались вместе, и с 85 года, когда «открыли шлюзы», — стали выпускать работы одна за одной. Честно говоря, я и в кино-то попал, то есть вошел в некий круг известности, благодаря дружбе с Сашей Сокуровым. В общем, очутился «в обойме», когда новый расклад понадобился руководителям.

— *Словом, безработица, как большинству выпускников ВГИКа, вам не грозила?*

— По выходе из ВГИКа у меня оказалось две с половиной картины, то есть были уже на киноплёнке, и вот это-то и определило мой путь. Я стал жить на «договоры», которые заключал на студиях, поскольку во ВГИКе научился работать профессионально — писать заявки и сценарии. Я писал сценарий, заключал договор на студии, получал деньги. А потом сценарий отвергался Госкино. Но деньги оставались — и на них я жил... Когда я поступил во ВГИК, мама очень радовалась, что наконец-то сын определился. Но потом она очень огорчалась — ей казалось, что я опять вползаю в какую-то жуткую воронку. Где противостоит уже государство... Она переживала очень, уже после института — все время у меня были конфликты, не шли сценарии. Но я как-то жил. И написал с 80 по 85-й целую вереницу сценариев: «Тютчев», «Крейсер», «Две танцовщицы»...

— *Если можно, расскажите чуть-чуть подробнее об этом сценарии — нам кажется, что он характерен для того времени и рассказывает больше о вас, чем просто о персонажах?*

— Я даже не знаю, как сейчас этот труд оценить. Сценарий был написан примерно лет десять назад для режиссера Александра Белинского, который хотел снять фильм-балет. Но сценарий получил другим... Не таким, как он задумывался. Белинский не стал его снимать. Потом за сценарий взялся Олег Тепцов. Это должен был быть наш третий фильм: «Господин оформитель», «Посвященный» и, наконец, «Две танцовщицы». Но мы поссорились. И тоже не состоялось... Сценарий этот о проблеме, которая и сейчас меня волнует. О разрушительности общественной жизни и жизни политической. О невозможности компромисса художника с этой общественно-политической жизнью. О том, что мир демократической богемы разрушительен.

— *Мир богемы разрушителен, культура трансформируется, религия утрачивает духовность... Как же, по-вашему, выглядит будущее, как — мы в нем?*

— Выглядеть примерно это будет так: все будут с баксами, все будут с собственными домами, а писатели все больше будут местными дураками. Городскими сумасшедшими. Во всем мире! Дуракам — то есть нам — нужно объединяться. Раньше пролетарии объединялись, теперь настала наша очередь. Дуракам, которые предпочитают обывательской нормативности свои собственные фантазии. Дуракам, которые верят в Бога. Дуракам, которые верят в волшебное...

Вот как-то так...

*Материал подготовил Р. Ямалеев*



Ю. Арабов

# Две танцовщицы

*«Две танцовщицы – Балет Дидло в 1819 году –  
Завадовский. Любовник из райка –  
Сцена за кулисами – Дуэль – Истомина в моде».*

## А. С. Пушкин. План повести «Две танцовщицы».

### ГОД 1816. НАЧАЛО.

В столице в Большом Каменном театре давали балет и дивертисмент из древней европейской жизни. Спектакль уже кончился, и зал на две тысячи человек благодарно хлопал усталым актерам в экзотических нарядах. Государь Александр Павлович, улучив время от неотложных государственных дел, также поощрял нимф, одалисок и царей древности мягкими соприкосновениями своих державных рук.

И вдруг... эти голоса возникли... Конечно же, с левой стороны партера, где располагался так называемый «Левый фронт» ценителей Терпсихоры и Мельпомены. Молодые люди во фраках и кавалергардских мундирах, объединенные какой-то нечистой силой, кричали в один голос: «Суфлера! Суфлера!», намекая тем самым на то, что спектакль им не понравился и вообще многое не нравится из того, что нравится всем...

Государь, ничего не слыша, всепрощающе улыбался...

...Они сидели сытые, удовлетворенные, откинувшись в глубоких креслах, потому что в том доме, куда они приехали, было выпито и съедено ими все.

Были они примерно одного возраста, однако князь Александр Александрович Шаховской, имея загнутый книзу нос, выпуклый живот и обширную плешь, выглядел много старше своего друга и покровителя генерала Милорадовича. Пусть Михаил Андреевич и рас-

полнел в последние годы, но в его военной выправке все-таки был еще заметен сокол, который взвился под небо орлом.

– А что, любезный меесье Дидло, как вы нашли нашу столицу по своем возвращении из Франции? – спрашивал Милорадович по-французски у хозяина дома, который расположился напротив.

– Похорошевшей, – машинально сказал Шарль Луи Дидло (а по-русски Карл Людовикович).

– А вы, мадам?

– Да, – односложно отвечала миниатюрная жена Дидло, сидевшая рядом:

– Если бы не этот шум, в котором слышится что-то французское, было бы совсем хорошо, – признался вдруг Милорадович и тут же спохватился: – Я не имею в виду ваше отечество, господин Дидло, просто у нас появились молодые люди... Да. Коротко остриженные с длиннющими ногтями, а языки у них еще длиннее ногтей...

– Не стоит, граф, обращать внимание на этот шум, – небрежно вставил Шаховской, чтобы не быть вне беседы.

Милорадович поднял левую бровь и тут же ее опустил.

– Меня ведь, князь, шумом не удивить, я видел кровь! Но и тогда, когда мы вошли в Гродно, были и другие дела помимо шума, и я занимался ими, невзирая ни на что!

– Общество чтит ваши заслуги в борьбе против Бонапарта, – с почтением сказал Шаховской. – Однако же смею заверить, что русскому духу больше свойственна тишина, чем шум... Как в Писании сказано: «И настало

тогда великое молчание!»...

Милорадович на это поднял правую бровь.

— Тишина? Да. Но прерываемая шумом победоносной баталии!

— У нас в балете есть баталия, — сказала Роза, супруга Дидло, испуганно глядя на мужа.

— В балете это не то, мадам. Война ведь это не балет. А победоносная баталия — это... как сказать...

— Не антраша, — галантно повернул Шарль Луи, косясь на Розу недобрым глазом.

— Вот-вот. А скажите, месье Дидло, как поживает наш Сад Терпсихоры?

— А что такое Сад Терпсихоры? — не поняла Роза.

— Сад Терпсихоры, мадам, это есть наша театральная школа.

— Госпожа Колосова исправно исполняла свои обязанности во время моего отсутствия, — пробормотал Дидло, заметно оживляясь.

— Колосова? — спросил Милорадович и вопросительно поглядел на Шаховского. Тот кивнул. — Да. А как другие танцовщицы? Богини, форменные богини, не правда ли?

— Элевация у русских удовлетворительна, — сказал Дидло и вдруг вскочил с кресла. — Но слишком закованы. А надобно расковать!

— О, вы не видели их в русской пляске, — заметил с видом знатока Шаховской.

— Не видел?! Как это не видел? Увижу, если не видел, — бормотал Дидло, мелькая у них перед глазами подобно комете.

Худощавый, рябой, с серыми быстрыми глазами и с неизменным цветным платочком вокруг шеи, он не мог усидеть на месте, как только разговор коснулся излюбленного его предмета.

Милорадович поправил свою синюю ленту через плечо, которая несколько сбилась набок, и сказал недовольно:

— Русские, русские... Что вы, Александр Александрович, со своею пляскою? Есть одна танцорка, Геслен или Госспен, которая... стоит на кончиках пальцев! Да, стоит! — И граф как-то сладострастно сглотнул.

— Это я... я впервые применил эту позицию год назад! — горделиво затараторил Дидло. — Но ваша Новицкая будет делать ее не хуже!

— Новицкая? — Посмотрел на Шаховского Милорадович. Князь кивнул. — Неужели сделает, а?

— Новицкая? Вряд ли, — протянула жена Розалия, по-видимому, ревновавшая Дидло ко всем новицким вместе взятым.

— Новицкая?! — вздрогнул Карл Людовикович от этого сомнения.

На минуту всем показалось, что он сейчас залепит оглушительную пощечину собственной жене. Однако, справившись со своим гне-

вом, Дидло, ничего не объясняя, выбежал из гостиной.

— Да, Новицкая... — мечтательно протянул Милорадович. — Я помню ее совсем ребенком, таким желторотым птенчиком... И вдруг — баталия, Бородино!..

— ...вот мои эскизы, извольте посмотреть, — говорил Дидло, появляясь в дверях с кипой каких-то листов. — «Ацис и Галатея»!..

— Ну это для Шаховского, — отмахнулся Милорадович. — Ему как начальнику репертуарной части ваши эскизы будут кстати... Из какой это жизни?

— Из греческой, — подсказал Шаховской.

— А? Да. Греки нам нужны. И гречанки, но только не древние. Вот так, да, — бормотал Милорадович, держа вверх ногами эскизы, которые подсунил ему Карл Людовикович.

Но Дидло уже не мог остановиться, и короткий сюртук его топорщился.

— Позвольте, господа, прочесть вам часть моего либретто, из которого вам станет ясен сюжет и моя трактация...

— Читай, — безнадежно махнул рукой генерал.

Шаховской окаменело улыбался.

— «Вдруг слышны звуки лир издадека, — начал Дидло простуженным голосом, — и видны нимфы, мало-помалу наполнявшие долину. Амур советует сатирам сделать им нечаянность... Из недр вод выходит Галатея и является среди сестер своих. Ацис, коего Амур приводит в ее объятия, завершает картину».

— Вот что, дружок, — сказал Милорадович, пользуясь паузой. Все это похвально, но я солдат, я видел кровь, и либретто мне ни к чему. Скажи-ка лучше, кто у тебя танцевать будет?

Рука Карла Людовиковича заметно задрожала, и красные пятна выступили на бледном лице.

— Ациса будет танцевать госпожа Новицкая... А Галатею — госпожа Истомина.

— Что? Кто?

— Выпускница театральной школы госпожа Истомина, — повторил Дидло. Уязвленный невниманием к своим замыслам, он как-то сразу осел, тушевался и будто меньше ростом стал.

Шаховской успокаивающе кивнул.

— Есть такая, граф. Семнадцать лет. Подает большие надежды.

— Семнадцать? — оживился Милорадович.

— Так это же, князь, прекрасно! Кстати, месье Дидло, я давно собирался у вас спросить, отчего вы бросили свою Францию?

— Нет пророка в своем отечестве, — пробормотал тот, нервно кривя губы.

Потом играли в шахматы. Дидло не играл, а,

сжавшись в кресле, наблюдал на партию с любезной улыбкой. Играли Шаховской и Милорадович.

Александр Александрович долго обдумывал создавшуюся ситуацию, решая, жертвовать ему коня или нет, но Милорадович вдруг сказал по-русски:

— Вот что, князь... Ты бы написал, голубчик, записку о том, кто шумит... Поименно. Это ведь твой театральный мир. А мы бы с генерал-губернатором разобрали. А то вызывать при государе суфлера... Это ведь намек!

— Ну какой же намек... Так, мальчишество...  
— Намек! — упрямо повторил генерал. — Мол мы, русские, без суфлера не того...

— Когда написать? — спросил Шаховской по возможности спокойно.

— Особо не торопись. Чтоб с толком было...  
— И Милорадович тут же съел своим королем несколько фигур, закричав: — Дамка!

Князь Шаховской изумленно поднял глаза свои.

— Мы ж с тобой, князь, в шашки играем! — объяснил Милорадович и захохотал...

...А когда они ушли, Дидло удалился в свой кабинет и взял со стола небольшую грифельную доску. Мелком стал подсчитывать на ней траты, которые составил ему обед: «Вино — 50 рублей, фрукты — 25 рублей, икра — 10 рублей...» И ужасаясь той сумме, которая у него получалась, Карл Людовикович шептал себе под нос:

— Дьяволы! Дьяволы!.. — и нервно стирал свои записи...

Декорации к новому балету «Ацис и Галатея» были почти готовы. Главное место в них занимали нарисованный грозный вулкан, в котором скрывался отвратительный циклоп Полифем, и безбрежное море — пристанище очаровательной нимфы Галатеи.

— Госпожа Истомина, выход, пошла! — закричал Дидло на ломаном русском.

И Галатея начала выходить из «морских пучин». На вид она выглядела моложе своих семнадцати. В прозрачной тунике, с острыми подростковыми коленями, небольшой грудью и тяжелыми темно-русскими волосами, перевязанными белой лентой, она встала на берегу, изображая «счастливый трепет» и сбрасывая с себя невидимые капли моря.

— Эпольман! — скомандовал Дидло и даже сам, машинально копируя позу, повернул голову к выдвинутому плечу.

Авдотья Ильинична сделала то же, но возбужденное лицо Карла Людовиковича заметно помрачнело.

— Тур шене! — выкрикнул он, — и па шассе...  
Истомина прыгнула вперед.

— Па шассе! Па шассе! — будто вдалбливая урок в голову неразумного ученика, закричал Карл Людовикович и прыгнул сам, догоняя в воздухе одной ногой другую.

Приземлился возле Истоминой. Глаза его метали громы и молнии.

— Плохо! К чертям!.. Снова!

Авдотья Ильинична снова стала появляться из нарисованной воды.

— Она боится! — объяснил Карл Людовикович. — И хлопочет! Циклопа боится! А хлопочет от счастья! Хочет любить вот этого! — И он показал на длинноногую и худую танцовку, наряженную пастушком.

Истомина повторила свои па, но когда дошла до проклятого прыжка, Дидло взял свою палку, и, может, от этого па шассе снова вышло неудовлетворительно.

— Довольно!.. — прохрипел он вдруг. — До первого часа ночи французские романы! Тыфу на них, тыфу! — И в своей экспансии даже плюнул по-настоящему.

— Есть хочется, Карл Людовикович, — объяснила Галатея жалобно.

— Есть вредно! Вы не готовы к репетиции! Можете убираться! Вы! — Указал он палкой на пастушка-Ациса. — Схватка с циклопом. Господин Огюста сюда!

— У господина Огюста нечаянность вышла, — доложил балетмейстеру мужик с испитым лицом и редкими, как у кота, усами. — Лихорадка!

— Ае... — взмахнул руками Карл Людовикович с такой безнадежностью, будто весь мир сговорился против него. — Я сам буду циклоп!

Предстояла тяжелая схватка. Настя Новицкая, наряженная Ацисом, была на целых девять лет старше Галатеи-Истоминой и, лишенная ее женственности, часто исполняла мужские роли. Сейчас она должна была сцепиться с самим Дидло, временно исполняющим обязанности циклопа.

...Он появился перед ней внезапно, жестокий и ревнивый тиран. Она, поначалу испугавшись, встала перед ним на кончики пальцев, подалась назад, но вдруг циклоп, вопреки балетному языку, кинулся к ней, начал обвинять да приговаривать:

— Хорошо! Хорошо! Это настоящий испуг!

И, повернувшись к Истоминой, сказал:

— Вот вам пример! Расскажите, как вы испугались?

— Вообразила, что передо мной граф Милорадович, — дерзко заявила Анастасия Новицкая, прямо глядя в лицо Дидло...

Когда они одевались, Дуня Истомина потихоньку подошла сзади к Новицкой и, коснувшись ее локтя, тихонько произнесла:

— В самом деле, сегодня вы были восхити-

тельны!

— Дуня, сколько раз тебе говорить, зови меня на «ты»! Учеба твоя кончается, так что я тебе больше не наставница, а подруга по ремеслу...

— Говорят, мне будет выдано двести рублей и восемь сажений дров, — прошептала Дуня. — Много это или мало?

— Скоро узнаешь, — глубоко вздохнув, произнесла Новицкая, — но не радуйся. Самые счастливые твои годы уже позади...

— И Бог с ними! Я хочу танцевать, хочу театра, новых ролей!

— Поклонников...

— Да, и поклонников тоже, — согласилась Дуня наивно. — Если страшный Карл не выгонит меня вон. Он думает, что я читаю французские романы... А я по-русски читаю с трудом...

— И зря. Как-нибудь обучу тебя на досуге французскому... А поклонники не заставят себя ждать. Особенно граф Милорадович... — Анастасия Семеновна нахмурилась, будто имела с ним какие-то особенные счеты.

— А я опять письмо получила, — призналась вдруг Дуня. — И опять по-французски. Что за напасть такая!

— Дунечка, милая! Ты же играешь своей честью! Сколько раз ты мне давала обещание порвать эту переписку?

— Три, — тихонько выдохнула Дуня. — Я сегодня решила — все! Порываю! Но, не читая, как-то совестно...

— В самом деле, решила?

— Да. Навек.

— Поклянись!

— Да клянусь, клянусь! Памятью покойной матери, чем хотите...

— Ладно, давай сюда письмо, переведу, — смилостивилась Анастасия Семеновна.

Она уже оделась и была в открытом платье, которое еще больше наряда пастушка подчеркивало ее худые плечи и плоскую грудь.

— «Милая, единственная, ненаглядная Авдотья Ильинична! — прочла Новицкая тускло. — На дальнем краю кладбища в сторону поля растут две липы. Под ними хочу я покоиться...» Чепуха какая-то!

— Читайте, читайте же! — воскликнула Дуня страстно.

— «Без содрогания беру я страшный холодный кубок, чтобы выпить из него смертельный хмель. Душа моя витает над гробом, кости мои крошатся, поедаемые прожорливым червем. Не позволяйте только осматривать мои карманы». Всё.

— Бедный! Бедный! — лепетала Дуня, чуть не плача. — Знать бы, как он выглядит!

— Интересно, что у него в карманах, —

задумчиво сказала Настасья. — И хуже всего, что все это я уже читала в каком-то романе...

— Дайте сюда! — Авдотья Ильинична вырвала у нее письмо и сама стала вглядываться в ровные, каллиграфические строки...

Поздним вечером Истомину поднял с постели повелительный стук в дверь. Набросив на плечи халат, с громко бьющимся сердцем отворила... Это была грозная госпожа Казасси, главная надзирательница театральной школы.

— Живо одеваться, — сказала она, желая явственными усами. — За вами пришли.

— Кто? — тихонько выдохнула Дуня.

— Адьютант его превосходительства графа Милорадовича.

Дуня чуть не потеряла сознания от страха и зашаталась.

— Дура! Тебе оказана величайшая честь! — выговаривала Казасси холодным голосом. — Дура!.. — повторила она, будто Истомина назло перебежала ей, Казасси, дорогу...

Адьютант его превосходительства графа Милорадовича оказался, как и следовало ожидать, красавцем, но красавцем каким-то неприятным. Неприятнее всего были черные и несколько выдвинутые, как у рака, глаза, в которых Истомина сразу потонула и отдалась им даже без сожаления.

— Пр-рошу! — звякнул он шпорами, пропуская трясущуюся Дуню вперед.

На улице находилась карета. Дверца была открыта. Чудовищный адъютант подал пленнице руку, и она вошла в карету... И тут... Проклятые белые ночи! Так бы она лишь почувствовала, что в карете уже кто-то есть, но не увидела бы!.. Этот некто был в черной романтической полумаске!

— Голубки! — пророкотал между тем черноглазый адъютант. — Со встречей вас, мои дорогие! — И здоровенными своими ручищами соединил их так, что оба стукнулись лбами.

Карета тронулась. Губы Авдотьи Ильиничны тряслись.

— Да сними ты маску, Вертер! — приказал адъютант, а может быть, совсем и не адъютант, а так, игрун. — Совсем запугал барышню, Лавлас ты этакий! — И с силой сорвал с незнакомца маску. — Позвольте вас представить, Авдотья Ильинична, мой лучший друг и ваш бессменный обожатель Василий Васильевич Шереметев!

Однако ж «Вертер» был, казалось, в таком же столбняке, как и Дуня. В маске он был внушительнее, чем сейчас, без нее, с еще совсем молодым лицом, с юношескими усами и румянцем, который не могли скрыть даже белые ночи.

— Так это вы... — пролепетала, наконец, Дуня,

начиная что-то понимать.

— Он, — подтвердил лжеадъютант.

— Значит, меня не к нему...

— Нет, — мотнул головой черноглазый.

— А как же? — спросила Дуня.

— Не стоит, — сказал почему-то Васенька тонким голосом и вдруг дал Авдотье Ильиничне большой пряник.

И пряник этот оказался лучшим объяснением между ними. Дуня тут же прояснилась и, встретившись с робкой улыбкой Шереметева, начала этот пряник жевать.

На седьмой версте Петергофской дороги располагался в то время ресторан не ресторан, трактир не трактир, а точнее следует сказать, — вертеп под названием «Красный кабачок». Туда и привезли Дуню ее похитители.

...Пробка от шампанского полетела в закопченный потолок.

— Я пью за тебя, Вася, за твою бессмертную любовь к ней, ну и конечно же, за вас, Авдотья Ильинична, ведь я вам есть отец. Так предоставьте же отцу, как говорят французы, его священные права! — Произнеся эту тираду, лжеадъютант насильно поцеловал Дуню в губы, потом так же присосал Шереметева и, крикнув: «Ура!» — опрокинул в себя бокал.

— Ура! — закричало тут общество на все лады и оттенки.

— ...Я счастлив, друзья мои... — бормотал Шереметев, и безумная улыбка не сходила с его уст. — Позвольте мне представить вам, Авдотья Ильинична, моего лучшего друга...

— Только без имен! — воскликнул вдруг плешивый господин в каком-то линялом и заношенном фраке.

— Хорошо, извольте, — несколько растерялся Шереметев, оборачиваясь. — Зовите его, Авдотья Ильинична, просто Чохом!

— Чох я, Чох! — подтвердил тот, кто представлялся адъютантом Милорадовича, поводя чернейшими своими глазами.

— Вы уж не обижайтесь, Авдотья Ильинична, — сказал счастливо Шереметев, — на этот шум. На самом деле мы — люди серьезные и составляем в некотором роде общество... союз... — Тут он в замешательстве посмотрел на плешивого, который просто схватился за голову от такой непростительной ошибки. — Ну что вы?! Что вы, в самом деле?! — закричал Вася расстроившись.

— Что ж, продолжай, если начал, — смирился, наконец, плешивый. — Коли уж так, Авдотья Ильинична, то мы вам откроемся. Мы общество более литературное, но... на французский манер. Враг у нас один. Назовем его... стариной, рутиной!

— Все понятно, вы — масоны, — тяжело

вдохнула Дуня смирившись.

— Масоны? Да, — ухватился за это плешивый. — Но лишь в известном смысле. Мы — люди сугубо озабоченные и называемся «Обществом хмурых», потому что только снаружи мы веселы, а внутри хмуры.

— Хмуры, — подтвердил Чох и тут же нахмурился своими густыми бровями, и все вслед за ним нахмурились, будто покойника хоронили.

— Я хочу представить вам, Авдотья Ильинична, тех людей, с которыми я... — прервал молчание Шереметев.

— ...Каверин, — опередил его представление статный гусар с веселыми и наглыми глазами, — Петр Павлович.

— Граф Александр Петрович Завадовский, — представился другой, темный, коротковолосый, в очках. Его Авдотья Ильинична сразу выделила из этой пестрой толпы из-за длинных вызывающих ногтей денди.

— ...а вот это князь Ипполит Маркелович. — И Васенька подвел к ней учтивого старика с мифистофельскими бровями. — Мы все от него учимся метафизике, чернокнижию и ворожбе. Субстанцию знает...

— ...как свою родную тетку! — выпалил Чох, и чернокнижник отчего-то смешался.

— Кого я еще не представил? — бормотал между тем Шереметев, нахмутив лоб. — Господа, позвольте... а это кто?!

Все тут разом замолкли и повернулись туда, куда был устремлен взор Васеньки. Плешивый всплеснул руками:

— Я же говорил! Я же предупреждал!..

— А вы кто, милостивый государь?! — грозно обратился Чох к низенькому вертлявому господину с черным лицом.

Тот, по-видимому, поняв, что обращаются к нему, залопотал быстро и непонятно на птичьем языке, подкрепляя свою речь энергичными жестами.

— И черт с ним! — сказал Чох. — Как явился неожиданно, так и расточится нежданно. Я хочу произнести хмурым тост. Я хочу выпить за судьбу простого русского человека, хлебопашца, который в поте лица своего добывает хлеб, а мы, господа, что греха таить, этим пользуемся!

— Вы не можете рассуждать о жизни простого человека-с, — подал голос молодец в русской рубахе, — потому что к нему не близки-с.

— Это я-то не близок? — вспылал Чох.

— Вы-с.

— Да я сам из народа! Меня всякая каналья знает!

— Если вы из народа-с, тогда скажите, как устроена русская печь?

На этот любовой вопрос Чох не нашелся что ответить. Он покраснел, выпучил от ярости глаза и затоптался в бессилии...

— Вы любите меня, Авдотья Ильинична? — прошептал Васенька пользуясь общим шумом.

— Не знаю, — честно призналась Дуня. — Я вас не чувствую. А кто этот молодец в русской рубахе?

— Это Федор, денщик нашего Чоха...

— Денщик? — удивилась Дуня. — Отчего же он с вами?

— Оттого что мы любим денщиков... И вообще черт с ним, с Федором! Согласны ли вы стать моим идеалом?

— Что ж, если вы не можете иначе, то могу...

— На всю жизнь? — испытывал ее Васенька.

— Чтобы мы умерли в один день и вместе видели бы на небе ангелов, их золотой чертог?.. Как Филимон и Бавкида!

— Вот уж нет, — неожиданно обиделась Дуня. — Мне Филимон не нужен. Мне нужны вы, Василий Васильевич!

— Спасибо, любимая моя, жизнь моя! — наконец-то задохнулся он и начал страстно целовать ее руки. — У меня есть одна книга... Вы многое поймете через нее!.. — Однако не объяснил, какое отношение имеет сия книга к описываемым событиям.

— ..да я тебя, подлеца, в Сибирь, в солдаты! — орал Чох на своего денщика, совершенно расстроившись из-за русской печи...

Князь Александр Александрович Шаховской завыл. Если бы стоял день, то вой его не так бы потряс нервы уже заснувшей гражданской жены его Ежовой, но сейчас, ночью, напугал ее до смерти.

— Сашенька!.. — начала она тормошить его за плечо.

— На-до-е-ло! — пролязгал он зубами, уткнувшись в подушку. — Солдафон! А я при нем Петрушка!..

— Да кто?

— Милорадович... Я с ним в шахматы играю, а он в шашки... Погоди! Я с тобою в следующий раз в вист сыграю шахматными фигурами!

— Успокойся, Сашенька! Ты ведь у нас генй! Нужно поберечь себя...

— ...и, главное, кто он?! Не государь, не министр... Ну герой, ну видел кровь... А я-то здесь при чем?

— Так плюнь...

— Да, плюнь... Он через год, может, губернатором станет, с его-то хваткой!..

— Тогда вырабатывай волю... Силу характера...

— С силой рождаются, а ежели Бог не дал...

— Все нет, — не согласилась жена. — Есть одно старинное средство. Если чувствуешь, что враг одолевает тебя и нервы твои на пределе, то сожми кулак изо всех сил... Вот так! — И она крепко сжала свой кулачок. — И нервы успокоятся, и полечает сразу...

Но Шаховской ее средству не поверил и долго еще выл, тихонько, жалобно, в пухлое чрево белоснежной подушки...

## ПРОДОЛЖЕНИЕ. ГОД 1817. ВЕСНА.

На заснеженную гладь обледеневшего канала, в темноте проходящей ночи вышел немолодой уже человек в нижнем белье и тихонько побежал по протоптанной дорожке к полынье.

Глубоко вздохнув, опустил в густую черноту ноги и, крепко сжимая зубы, чтобы не закричать, погрузился в жидкий лед реки.

Вынырнул. Поднялся на берег, побежал к оставленной одежде. Этим человеком был Шарль Луи Дидло.

Утро для него началось, как обычно. После купания в своем доме он долгое время разминался у палки или, как бы мы сказали сегодня, у станка.

...Потом, попивая кофий за завтраком, просматривал груды своих эскизов, на которых были изображены средневековый замок и какие-то гишпанцы с гитарами и в широкополых шляпах.

...Затем, в карете, которая везла его на репетицию в Большой Каменный театр, листал пухлый томик Бомарше. Сейчас он готовил комический балет в «гишпанском стиле» «Дон Карлос и Розальба», навеянный «Севильским цирюльником», так что Бомарше перед репетицией казался не лишним...

Дидло нервничал. Его высокий белый воротничок, достигавший ушей, придавал ему сходство с летучей мышью, руки были заложены за спину, и в них подрагивала толстая палка. Он ходил по сцене мелкими шажками, брезгливо присматривался к недорисованному замку и выглядел значительно старше своих пятидесяти лет.

— Что госпожа Истомина? — спросил он нетерпеливо.

— Еще нету, — развел руками мужик с редкими усами.

Карл Людовикович глянул на часы и прокаркал:

— Больше ждать невозможно. Дона Карлоса и Розальбу сюда. Делаем сцену со скрипкой.

Знакомая нам Анастасия Новицкая в легком

платье спросила по-французски Дидло:

— Как я буду танцевать без Авдотьи Ильиничны?

Но Карл Людовикович только рукой махнул с досады. Суть репетируемой сцены заключалась вот в чем. Любовник дон Карлос, чтобы свидеться со своей ненаглядной Розальбой, переодевается «механической куклой», вместе с Фигаро подходит к замку, в котором живет его любимая, и играет ей на скрипке. Розальба вместе с отсутствующей Сусанной начинает танцевать «легкие па», «кукла» дон Карлос сам увлекается собственной игрой, начинает подтанцовывать молоденькой госпоже и ее хитрой служанке и, наконец, так расходится, что выдает свое человеческое происхождение.

В роли Розальбы Дидло пробовал Новицкую. Ее внешность явно не подходила для этой роли, и Карл Людовикович мучился, не зная, что перевесит в его душе: техничность упорной Новицкой или собственное сомнение в ее неподходящей фактуре.

Начали репетировать. Француз, танцевавший Карлоса, не умел играть на скрипке, поэтому просто водил смычком, стараясь не задевать струн, но иногда струны звучали, и получалась какая-то какофония. Однако Анастасию Семеновну это не смущало, и она прекрасно протанцовывала свои па, тем более что за Истому ей подтанцовывал сам Дидло, шепча по привычке: «Сюиви... Па де курю... Па де бурре...»

Остановились.

— Недурно, — сказал он по-французски, по возможности уверенно. — Впрочем, как и все, что вы делаете.

Польщенная Новицкая поклонилась.

— Теперь посмотрим, что у вас, — обратился Дидло к французю. — Сначала!

Дон Карлос запикивал на скрипке и стал делать вид, что вот-вот пустится в пляс. Через минуту и в самом деле заплясал...

Когда он выполнил поворот на опорной ноге, Дидло остановил его, закричав:

— Тур лан сделан нечисто! Сначала!

Теперь он уже делал все движения с доном Карлосом вместе, но, дойдя до поворота, снова потребовал:

— Сначала!

И на этот, третий, раз он вошел в такой азарт, что танцевал уже вовсе не то, что пытался изобразить фальшивый гишпанец, летал перед ним подобно демону, перебирая в воздухе ногами, так что в конце концов дон Карлос перестал танцевать и вместе с другими актерами, затаив дыхание, смотрел на то, как импровизировал Карл Людовикович перед ними. Но сам Дидло и не заметил, что гишпанец вышел из игры, великому балетмейстеру

было сейчас не до того, он творил...

Василий Васильевич Шереметев проснулся в тот день в дурном и разобранном состоянии, впрочем, ставшем для людей его круга обычным.

Всклоченный, с темными медяками под глазами, он спустил ноги свои на пол и нашупал турецкие тапочки. Поднялся. Сделал несколько слепых шагов.

Чтобы прийти в себя, присел за столик, на котором лежали книга и пистолет. Перевернул страницы, написанные по-немецки. Прочел тихонько, переводя с листа:

— «Ах, какая пустота, какая невыносимая пустота в моей груди! Мне так много дано, но любовь к ней поглощает все, мне так много дано, что без нее не мил для меня свет...»

Со стороны кровати послышался какой-то шорох. Васенька оборотил на него свой взор и задрожал: пустая кровать зашевелилась!

Василий Васильевич был не трус, благо и пистолет лежал рядом. Схватив оружие, он навел дуло на подушку, неприятно изумляясь дрожи своей правой руки. Одеало сползло ниже, и из-под него показался призрак молоденькой девушки с перепутанными русыми волосами. Призрак вытянул две тоненькие руки потягиваясь и сладко зевнул:

— Ва-асенька!.. Ну где же наш золотой черт-от?!

Пистолет с грохотом выпал из его руки.

— Фу, Авдотья Ильинична... как же вы меня напугали!

Сонная Дуня обидчиво вытянула свои губы. — Вот вы какой... А говорили все — идеал, идеал... Разве может идеал напугать?

— Пардон, Авдотья Ильинична, — с достоинством возразил Шереметев. — Я вчера, как это сказать... был во фрамбуазном положении и запаматовал, что вы... со мною остались...

— Да, вы были пьяны, как свинья, — с удовольствием подтвердила Дуня и бросила на него просительный взгляд.

Шереметеву ничего не оставалось другого, как подняться и запечатлеть на ее губах страстный поцелуй.

— Ой, а сколько времени сейчас? — наконец-то пришла в себя она, соскочила с постели и бросилась к настольным часам. — Слава Богу, еще пяти нет... Ой, уже начало первого! — Чуть не лишилась Дуня чувств, посмотрев на большие. А на третьих, что доставали главою до потолка, было и без того половина четвертого.

— Это все проклятый Яков, — с ненавистью пробормотал Шереметев. — Яшка! — заорал он. — Черт тебя дернул!

Растерянная Дуня бросилась за ширмы и

начала быстро одеваться, а на крик Васеньки явился вскорости небритый слуга с постным и серым лицом.

— Сколько тебе говорить, чтобы ставил все часы в точности, соразмеряясь с общим временем! — накиннулся на него хозяин.

— А кто его разберет, это общее время, — возразил слуга тускло, — только собираешься часы поставить,хватишься, а время вперед ушло. Вот и ставишь стрелки, чтобы не ошибиться, все по-разному.

— Ты мне эту метафизику брось, — перебил его Шереметев. — Я тебя за метафизику сечь буду!

— Наверное, уже поздно, — переживала Дуня за ширмами. — ...Двадцать минут девятого! — ужаснулась она, поглядев на переставленные Яковом стрелки. А тот между тем перешел от настольных часов к большиим...

— А что мы будем делать сегодня вечером, Василий Васильевич? — поинтересовалась Дуня. — Опять поедем к Талону?

— Нет, не поедем, — глухо ответил Шереметев. — Я... я недоволен вами, Авдотья Ильинична!

Поставив стрелки часов на половину второго, Яков лениво удалился, а Дуня, изумленная репликой Васеньки, полуодетая вышла из-за ширм.

— Что такое? Чем же я не угодила?

— Вы... духовно не обогащаетесь! — решил Васенька высказать ей заветное, потаенное.

— Это оттого, что мне не нравится ваша книга? — промурлыкала Дуня, крепко обнимая его за голову. — Что же мне делать, если я от нее засыпаю? И Вертер ваш какой-то мямля. — Она поцеловала Шереметева в макушку.

— Вертер мямля?! — оскорбился до глубины души Васенька. — Говорите о чем угодно, но только не о Вертере!

— Так, — протянула поскуцневшая Дуня. — Ишь как вы заговорили... Значит, и к Талону сегодня не поедем, и вообще...

— Я, знаете ли, Авдотья Ильинична, поиздержался в последнее время... — Он потупился. — Поместье отцовское заложил, долгов наделал... В общем, если к концу недели я не достану хотя бы тысячу рублей, то... вপুর будет пустить пулю в лоб!

— Не надо в лоб, — попросила Дуня. — Деньги вы выиграете в карты.

— Для того чтобы играть, нужно иметь хотя бы сотню...

— Продайте свои пистолеты.

— Оставьте в покое мои пистолеты! Их изготовил сам Лепаж!

— Ну и оставайтесь со своими пистолетами!

— Это в каком смысле?

— В таком. Вы только и можете жить, что с пистолетами. А я — это не пистолет.

— Вы меня фрапируете, Дуня! Еще одно слово, и я разражусь всеми швермерами своего гнева!

— Разражайтесь, пожалуйста, — разрешила Авдотья Ильинична и снова пошла за ширмы. — Но только без меня.

Здесь Василий Васильевич понял, что разговор заходит слишком далеко, и постарался взять себя в руки.

— Вы сегодня будете на заседании нашего «Общества»?

— И не подумаю. У меня есть более интересные собеседники...

— Кто же, к примеру? — голос Шереметева задрожал.

— А хотя бы Карл Людовикович Дидло!

— Этот старый сводник?

— По мне, хоть бы и сводник. Я вообще давно собиралась вам сказать, Василий Васильевич, что меня интересуют мужчины, которые намного старше, вот так.

— Дряхлые обезьяны! — проростал он.

— О, мой идеал! — вскричала вдруг Дуня, заломив в трагедийном порыве руки над головой. — О, сияющий чертог! О, Аполлон! О, Вертер, Вертер! О, холодная могила, о, черви! — Она явно издевалась над ним. — А за своими вещами, — добавила она нормальным голосом, — я пришлю человека.

— Все! — завопил сломавшийся Шереметев.

— Так больше продолжаться не может!

Дуня, запыхавшаяся и безнадежная, влетела в театр. Дидло даже не посмотрел в ее сторону.

У француза никак не получался танец со скрипкой, и Карл Людовикович вконец загонял его, а заодно и себя, потому что танцевал вместе с ним, поднимая ногами невероятную пыль.

— ...ну ты хороша, матушка! — заметила Новицкая, когда Дуня, уже переодетая, показалась за кулисами.

— А мне теперь все равно, Настя, — пробормотала Истомина и хотела еще что-то добавить, но внезапно страшный грохот послышался со стороны сцены.

Опомнившись, они заметили только, что в клубах поднявшейся пыли испуганно бегают какие-то люди, что-то кричат, а в центре сцены лежит здоровенная люстра, как будто нарочно обвалившаяся от неистовых упражнений Дидло.

Однако, слава Богу, никто не пострадал. Карл Людовикович со вздохом махнул рукой, отпуская дона Карлоса на все четыре стороны. Присел на корточки тут же, на сцене, и рас-



стегнул белоснежную свою рубашку. Со лба его катился пот, цветной платок на шее сбился в одну серую ленту... Балетмейстеру было плохо, шалило сердце, и он изо всех сил массировал его ладонью.

— Может, отдохнете, Карл Людовикович? — с опаской спросил его мужик с редкими усами.

— Нет-нет, — прошептал старик, морщась от боли. — Госпожа Истомина на месте? Прошу ее вместе с госпожой Новицкой...

Люстру к тому времени убрали. Дуня с Анастасией Семеновной вышли на сцену. Дидло встал и, взяв в руки палку, что стояла у стены, подошел к своим ученицам. Потянув носом, принохиваясь.

— Пила?! — крикнул он Истоминой вдруг. — Пила вчера?!

— Самую малость, Карл Людовикович...

— Пила, пила! — закричал он и начал бить Дуню своей тяжелой палкой по рукам, по ногам, куда попадет.

Она не защищалась, лишь закрыла лицо руками — наиболее уязвимую общественную драгоценность... И Бог знает, до чего бы дошла эта экзекуция, если бы в темном зале не

появились бы граф Милорадович и начальник репертуарной части петербургских театров князь Шаховской.

Дидло опустил палку и поклонился желанным гостям. Вслед за ним поклонились и все актеры, присутствующие на сцене.

— Продолжайте, продолжайте, господа, — махнул рукой Шаховской. — Представьте себе, что нас нет.

Они уселись в первый ряд и начали о чем-то тихонько переговариваться.

Дидло занервничал. Он не любил, когда начальство и меценаты приходили на репетиции. Поскольку сцена с лжекуклой не получалась, он приказал:

— Будем играть танец с вазой! Розальба и дон Карлос, на выход!

— Карл Людовикович! — услышал вдруг Дидло прерывистый шепот и, оглянувшись, увидел перед собой округлившиеся от страха глаза редкоусого. — Ваза пропала!

— Чтоб была! — прошипел балетмейстер, и кровь бросилась ему в голову.

— Где же мне ее взять? — редкоусый вскрикнул. — Воровство кругом-с, мочи нет!

— А-а!.. — И страшный Карл уже поднял вверх свою тяжелую палку.

Но, вспомнив, что внизу сидят свидетели, не ударил, затоптался на месте, как резвый конь, и вдруг бросился вон из зрительного зала...

— Прелестно! — сказал Милорадович, удовлетворенный репетицией.

Поскольку главный балетмейстер покинул их столь экстравагантным способом, Михаил Андреевич решил, однако, не терять времени даром. С видом добродушного дядьки поднялся он вместе с Шаховским на сцену и поманил пальцем фигуранток, стоявших за кулисами.

— Не надоело играть греков? — выбрал Милорадович жертву, рыжеватую, с раскосыми глазами.

— Что вы, ваше превосходительство, греков мы любим больше всех, — не очень ловко ответила рыжая, приседая.

Здесь лицо генерала немного затуманилось. — Все греки, греки... — пробормотал он, обводя взглядом наряженных гишпанцев.

— Позволю себе заметить, ваше превосходительство, — влез в разговор Шаховской, ибо коснулись его любимого мозоля, — мы уже давно хотим перейти на русский репертуар.

— На русский? — удивился Милорадович. — Да где же возьмешь его, князь? Русского в России нет. — И сам обрадовался такой мудреной сентенции. Игриво спросил у Дуни Истоминой: — А откуда у тебя этот синяк, моя миля?

— Упала, ваше превосходительство, — со-



врала Авдотья Ильинична.

Граф погрозил ей толстым пальцем.

— Нехорошо меня обманывать. Я ведь все видел. А на Дидло не обижайся. Солдат ведь и тех бьют. Еще как! Порют! — Лицо его стало вдохновенным. — А-а, госпожа Новицкая... — обрадовался он, дойдя до Насти. — Наслышан об ваших успехах. Не тяжело ли вам со своей русской внешностью танцевать греков?

— Ни капельки, ваше превосходительство, тем более что сейчас мы танцуем гишпанцев, — рубанула ему в глаза с веселым спокойствием Настя, так что даже Шаховской немного присел.

— Вот как? Хм... Я что-то не заметил, — удивился Милорадович не столько этому открытию, сколько смелому тону. — Но ведь гишпанцы очень похожи на греков, иногда даже неотличимы...

— Не совсем, ваше превосходительство, — решил восстановить справедливость Шаховской. — У гишпанцев ведь гитары, а у греков — лютни.

— С таким жалованьем можно танцевать любых греков, — не унималась Анастасия Семеновна. — Вот только дров маловато дают. Греки чихают, а публика недовольна. Говорят, что греки ненатурально играют.

На это Михаил Андреевич не нашелся что сказать, только щекой дернул, будто на нее села муха.

• Карл Людовикович Дидло вне себя бежал по петербургским улицам. Многие прохожие были в шляпках и шубах, не успев приспособ-

биться к внезапно разразившейся весне, а здесь бежит человек в распахнутом сюртуке и в такой же распахнутой рубашке да еще твердит себе под нос иноземные ругательства... Нонсенс, если не сказать больше.

Добежав до Французского Эрмитажного театра, Дидло скрылся в его дверях и через минуту выскочил оттуда с китайской вазой в руках. Швейцар даже ахнуть не успел, а проворкотал только вслед: «Куда?..». Но Карл Людовикович, не слыша, побежал обратно.

...Вскоре за ним уже следовала небольшая толпа зевак.

Заворачивая за угол, Дидло чуть не налетел на человека, бывшего, как и он, в одном сюртуке и приставившего к пухлому белому лицу своему небольшой лорнет. Карл Людовикович обладал профессиональной реакцией и, несмотря на свое возбуждение, тут же затормозил и откланялся, держа вазу под мышкой. Человек, встретившийся ему, был императором всероссийским Александром Павловичем, которого мы видели в театральной ложе ранее. Он совершал свой ежедневный моцион через дворцовую набережную, Аничков мост и Невский проспект.

Государь, шедший без охраны, по-видимому, совершенно не удивился фантастическому старику и ответил на его поклон обворожительной улыбкой, которой всегда закрывался в обществе.

Пошел дальше. Зеваки, преследовавшие Дидло, поняли, что в старике нет ничего замечательного, раз сам Александр Павлович ему улыбается. Однако отправились восвояси до-

вольные тем, что и на государя посмотрели, и сумасшедшего повидали...

Карл Людовикович влетел в театр, как смерч, и, поставив вазу на постамент, хлопнул своей палкой об пол несколько раз.

Сразу же стало тихо. Милорадович и Шаховской, развалившись в креслах, отдали себя во власть волшебной силе искусства.

Сцена заключалась в том, что дон Карлос, все-таки пробравшись в замок, где живет его любимая Розальба, затевает вместе с ней любовную игру, во время которой опрокидывает вазу. Если бы служанка, которую танцевала Дуня, не подхватила бы вазу вовремя, она бы разбилась и своим шумом обнаружила присутствие дона Карлоса.

Сцена была отрепетирована в совершенстве. Актеры, подстегнутые тем, что в зале находятся «высокие гости», исполнили свои па «легко и непринужденно», так что даже суровое лицо Дидло смягчилось и просветлело.

— Как ты думаешь, князь, — говорил меж тем Милорадович на ушко Шаховскому, — которая из двух подошла бы лучше моему домашнему театру?

— Я думаю, Истомина, граф, — учтиво улыбнулся Александр Александрович и незаметно сжал кулак левой руки, как ему посоветовала жена.

— Да? А по-моему, вот эта, Новицкая...

— Госпожа Новицкая уже в летах, — напомнил Шаховской, чувствуя, что пальцы его перестали гнуться и воля слабеет.

— Это ничего не значит. А мне интересно знать, так ли она остра во всем, как остра на язык?..

Кулак бессильно разжался. И Александр Александрович с видом знатока закивал головой, давая понять, что совершенно согласен как с незначительным возрастом избранницы, так и с ее предполагаемой остротой...

...После репетиции он подошел к Дидло и сказал по-французски:

— Ваши воспитанницы делают успехи. Сообщите госпоже Новицкой, что после сегодняшнего представления ее будет ждать карета графа Милорадовича.

Карл Людовикович поклонился Шаховскому. И тот пошел со сцены вон на длинных негнувшихся ногах, держа голову высоко, как и полагается начальнику репертуарной части...

— ...Анастасия Семеновна! — обратился Дидло к своей воспитаннице, когда та уже хотела идти переодеваться.

Это сочетание было непривычным. Обычно мэр обращался по фамилии, и Настя внутренне напрягалась, однако улыбнулась, мол, я в вашем распоряжении...

Они говорили по-французски.

— Вам предоставляется большая честь, — сказал Дидло. — Этим случаем вы можете поправить свое материальное положение и вывести из нужды обширное семейство...

Новицкая все поняла.

— Передайте его превосходительству, — ответила она после небольшой паузы, — что мы не рекруты и что его домашний театр вполне может обойтись без меня.

— Что ж, я не неволю, госпожа моя, — пробормотал Дидло. — Но я надеюсь, вы хорошо обдумали свой ответ?

— Да.

— Тогда идите.

Анастасия Семеновна улыбнулась и пошла переодеваться. Дидло проводил ее долгим, задумчивым взглядом...

У театрального подъезда томила Дуня Истомина. Когда Дидло, уже одетый в шубу, вышел, чтобы ехать домой обедать, Дуня бросилась к нему со словами:

— Простите меня ради Бога, Карл Людовикович!

Он удивленно поднял брови, будто недоумевая, о чем идет речь.

— Я была не готова к репетиции... Клянусь вам, что этого больше не повторится!

Дидло смотрел на нее каким-то странным рассеянным взглядом. Сейчас черты его острого лица потеряли свою жесткость, сгладились, и глаза излучали мягкий свет, таким Истомина его еще не помнила.

— Я сделал сегодня великое открытие, Дуня, — сказал он со своим акцентом, глядя на нее и как бы не видя. — Может быть, великий Новер не похвалил бы меня за это... Вы знаете, кто такой Новер, Дуня? — И, не дождавшись ответа, продолжил: — Это мой учитель. Он учил меня, что основой нашего искусства должна быть пантомима, а танец — лишь добавление... Но я понял сегодня одну вещь. Пантомима должна быть внутри самого танца, Дуня. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Не совсем, Карл Людовикович, — честно призналась та.

Из набжавшей полупрозрачной тучки пошел редкий снег. Он падал на лицо Дидло и будто увлажнял его...

— О, это надо обдумать, — шептал он. — Надо понять...

Дуня, наконец, собралась с духом:

— Карл Людовикович... я знаю, что просьба моя может показаться ужасной... но на целом свете у меня, может быть, нет другого человека...

— Говорите медленнее, — попросил он. — У вас ко мне дело?

— Просьба, Карл Людовикович. Мне очень

нужны деньги... Тысяча рублей, — прошептала Дуня, не смея поднять глаз своих.

Дидло кивнул:

— Я небогат, но вам я дам денег.

Не помня себя от счастья, Авдотья Ильинична бросилась к нему и поцеловала руку.

— Что такое? — спросил он, брезгливо изогнув губы! — Вот этого не надо. Это... недостойно!

Опираясь на палку, пошел к своей карете, сел... Осведомился после паузы:

— А вы?

— Что? — не поняла Дуня.

— Я не ношу при себе такие суммы! — раздраженно сказал Дидло. — Извольте отправиться ко мне домой, а то у меня очень мало времени...

Василий Васильевич Шереметев приехал к своему другу Завадовскому в угнетенном состоянии духа. Александр Петрович сидел в гостиной за столиком и раскладывал перед собой колоду карт.

— Гуд морнинг, май диар, — сказал он входящему Шереметеву, поднимаясь и запахивая на груди халат.

— Здравствуй, душа моя, — со вздохом откликнулся Васенька, бросая взгляд на стол.

Откуда-то из глубины дома неслись печальные звуки слегка расстроенного фортепьяно. Кто-то играл вальс, но часто сбивался, как будто забывая, что следует играть дальше, и начинал все сначала. Поскольку гость растерянно молчал, то Александр Петрович решил сам начать разговор.

— Ну как поживаешь, май диар? Отчего невесел?

— Вот что, Саша, — вымолвил Васенька, присаживаясь за столик, — наши короткие отношения позволяют мне действовать не риторически, а, как это сказать точнее...

Завадовский рассматривал свои длинные ногти.

— В общем, Саша, скажу тебе по-простому. Еще одно дуновение Борей нашей действительности, и трепетный огонь в сияющем алтаре может того...

— Да тебе, верно, денег нужно, — зевнул Александр Петрович.

— Именно, — обрадовался Шереметев, что так быстро вышел на главную дорожку. — Что делать, Саша... Низкая материя доживает любую субстанцию, такая вот репка...

— А Дуня твоя как относится к субстанции? — рассеянно спросил Завадовский.

— Хорошо. Но ей не хватает духовного развития.

— Этого трудно требовать от танцовки. Видишь ли, милый, я живу всего на пятьдесят

тысяч, — начал объяснять свое стесненное положение Александр Петрович. — А в наше время и сто тысяч не деньги...

— Мне не нужны сто тысяч. Мне нужно ровно в сто раз меньше.

— Тысячу? Это мне тоже не по карману. — Завадовский поднялся с кресла и начал ходить взад-вперед по комнате.

Звуки фортепьяно между тем прекратились. Хлопнула крышка, будто игравший вконец разочаровался в собственной музыке.

— Ладно, — сказал вдруг хозяин. — Изволь. Шереметев так и подскочил на стуле.

— Только с одним условием. Возможно, мне понадобится некое материальное обеспечение твоей просьбы...

— Расписка? Я готов!..

— Ну что ты, дарлинг. Расписка — это для ростовщиков. Просто у меня может возникнуть одна прихоть... Собственно, тебе она ничего не будет стоить.

— Конечно, Саша, конечно! — с жаром воскликнул Васенька. — А что за прихоть?

— Об этом потом, — улыбнулся Александр Петрович.

В это время в гостиной показалось новое лицо. Это был молодой человек примерно одного возраста с Завадовским, носивший, как и он, маленькие темные очки, короткостриженный по последней английской моде, со взбитым коком. Однако по сравнению с хозяином молодой человек был более собран, не обладал той развинченностью в фигуре, которую культивировал в себе Александр Петрович, и белоснежная рубашка на вошедшем нестерпимо сияла чистотой.

— Ты прекрасно музицировал, Александр, — сказал ему Завадовский. — Что так быстро кончил?

— Решил пощадить твои уши и свои пальцы, — хмуро ответил тот.

При этих словах Шереметев машинально посмотрел на пальцы незнакомца и отметил, что они были лишены длиннющих вызывающих ногтей Завадовского.

— Вы, кажется, не знакомы? — спросил Александр Петрович. — Позволь мне представить тебе, Саша, моего друга по «Обществу» Василия Васильевича Шереметева. А это мой сосед — Александр Сергеевич Грибоедов. Мы вдвоем снимаем эту квартиру. Человек он незаурядный, в недавнем прошлом — блестящий слуга Марса, но почему-то предпочитающий дипломатическую карьеру военной...

— Чиновник, — свел Грибоедов тираду своего друга к единственному слову, — обыкновенный чиновник министерства иностранных дел.

— Но чиновник, согласитесь, не совсем обыч-

новенный...

— Теперь в России каждый чиновник — обыкновенный, — усмехнулся Грибоедов.

— Не слушай его, Шереметев, это музыкант, поэт...

— Вот-вот. Оттого все и происходит, что на месте столональника сидит какой-нибудь... поэт. Если не на бумаге, так в душе, — не сдавался Александр Сергеевич.

— А разве плохо быть поэтом в душе? — спросил Шереметев, с интересом приглядываясь к новому знакомому.

— Отчего же... Поэзия, по моему мнению, хорошая приправа не только к бургундскому, но и к деловым бумагам. Я даже думаю, что ежели бы наши деловые бумаги писались хореем, они бы во многом выиграли. Чиновники, читая их, не засыпали бы, а переписывать отдавали бы женам...

— Да, но для стихов требуется умение, — серьезно возразил Васенька, вглядываясь в желтое лицо Грибоедова.

— Лишь самое минимальное.

— Ладно уж, не прибедняйся, — улыбнулся Завадовский. — Я не пойму только, что ты находишь в этом Шаховском? Представляешь, Базиль, они вместе с Шутовским пишут какую-то комедию...

— Когда скука движет пером... Отчего же не написать комедию. Пусть даже с Шутовским, — отвечал Александр Сергеевич.

Он находился в гостиной всего несколько минут, однако же их было достаточно, чтобы Васенька ощутил какой-то тяжелый и чуточку раздражавший его свет, который исходил от этого внешне изящного, но неприступного для него человека.

— И что же ваше «Общество»? — перевел Грибоедов разговор на иную тему.

— Приходи сегодня вечером на заседание, сам все увидишь; — сказал ему Завадовский.

— Теперь множество всяких «обществ», — Грибоедов усмехнулся, — литературные, политические, уголовные... Как сойдутся несколько прапорщиков, так уже и общество... Какое же у вас?

— Литературное, — объяснил Васенька. — Но... есть у нас и политики...

— Наши политики напоминают мне черных магов. Возьмите сердце молодой львицы на первом месяце беременности, пыли с гроба мертвецов, кусочек захаренной жабы, смешайте и съешьте. И вмиг все изменится.

— Я вас не понимаю...

— Занимается ли ваше «Общество» вопросом о военных поселениях? — уже серьезно спросил Грибоедов, в упор глядя на Шереметева.

— Да что ты, Саша, — зевнул Завадовский. —

Куда нам до таких материй. Вот если суфлера вызвать или овистать кого, это мы можем.

— Значит ваше «Общество» занимается в основном актрисами, — вывел Грибоедов. — Что же актрисы? Что танцует сейчас, например, госпожа Истомина?

Завадовский не мог сдержать усмешку, поскольку его друг, сам того не желая, попал в самую точку.

— Это меня не интересует! — возбужденно ответил Васенька, и взгляд его упал на разложенную колоду карт. — Что это у тебя, брат, карты... В такую рань...

— Да вот, Александр Сергеевич показал одно старинное гадание. У тебя что, руки зачесались?

— Да, — сознался Васенька, — как вижу распечатанную колоду карт, так не могу удержаться... Может, метнем банк?

— Так у тебя же нет денег, — лениво пожал плечами Завадовский.

— Но ты же мне занял! Давай, душа моя... Немного, для бодрости!

Видя, что дело принимает совсем уже скучный оборот, Грибоедов поднялся:

— Разрешите вас оставить, господа!

Завадовский улыбнулся ему со значением, мол, сам видишь, я тут ни при чем... А Васенька вообще никак не прореагировал на его уход, потому что всецело был занят мыслями о предстоящей игре.

Грибоедов же, пойдя в свою комнату, услышал приглушенный голос Завадовского, обращенный к слуге: «Джозеф, шампанского!» и понял, что игра началась.

Сел за фортепьяно и углубился в раскрытые перед ним ноты. Заиграл вальс, который, шутя, сочинил накануне. Однако азартные возгласы Шереметева помешали ему всецело отдаться искусству.

Затворив дверь поплотнее, Александр Сергеевич снова стал наигрывать свою музыку и в этот раз окончательно разочаровался в ней. Изорвал ноты на мелкие кусочки. Рвал медленно, щурясь от заглядывавшего в окно солнца. Лег на диван ничком, заткнув уши руками.

Так пролежал, не шевелясь, несколько минут. Потом встал, подойдя к зеркалу, поправил прическу. Пошел в гостиную.

Василий Васильевич сидел совершенно бледный и покусывал губу.

— Когда я изволю получить проигранную тобой тысячу? — скучно-спросил Завадовский.

А вечером того же дня в «Красном кабачке» началось очередное заседание «Общества хмурых». Кроме лиц, знакомых нам ранее, присутствовал на нем Александр Сергеевич Грибоедов, а отсутствовали Чох с денщиком своим Федором и Каверин.

Плешивый председатель зазвонил в колокольчик, призывая общество к тишине, и скоробно начал:

— Господа! Несмотря на отсутствие многих членов, я позволю, все-таки, открыть наше заседание. В повестке дня его: выработка новых действий по борьбе с нашим общим врагом — рутиной!

Грибоедов тут же в удивлении поднял брови, а сидевший напротив Завадовский игриво подмигнул ему. Шереметев же, бывший рядом с Грибоедовым, хмурился и вообще не поднимал глаз от стола.

— Позвольте, господа, перечислить действия, которые были совершены нами в последнее время, — продолжал между тем Плешивый. — Действие первое — вызов суфлера в Каменном театре в присутствии государя и членов его фамилии...

— Суфлер, кстати, уволен с должности, — сообщил Грибоедов сухо.

— Прискорбно, — заметил Плешивый. — Но согласитесь, что мы не можем предусмотреть всех последствий совершаемых нами действий. Итак, действие второе — выкрик «Мяу» вместо «Ура!» перед государем на Марсовом поле.

— Ну это уже был не наш, — пробормотал Завадовский.

— Этот случай сообщен мне Чохом, — сказал Плешивый. — И все-таки, господа, этого мало. Нашим действиям недостает отваги и решительности. Вот если бы кто из нас...

— Я, — сказал вдруг Шереметев, поднимаясь из-за стола.

— Что такое? — не понял Плешивый.

— Я решил, господа. Поздравьте меня! — Васенька перевел дух, и по тому, как тряслись его пальцы, всем стало ясно, что дело нешуточное.

— Поздравляем, но позвольте узнать, на что вы решились? — спросил Плешивый с испугом.

— Я решил добровольно уйти из жизни. Я это сделаю сегодня, сейчас, чтобы вы все были свидетелями.

— Но вы понимаете, Василий Васильевич, что тем самым вы совершенно губите бессмертную душу? — недовольно спросил его Ипполит Маркелович.

— Бросил бы ты, Васька, эту репку, — похлопал его по плечу Завадовский. — Кто же мне долг отдаст?

— Но позвольте спросить, какой способ самоубийства вы выбрали? — осведомился князь Ипполит.

— Из пистолета, наверное, — предположил Завадовский, скупая. — Как Вертер.

Грибоедов же вообще ничего не говорил, а лишь сложил руки свои на груди, всем видом

показывая, что теперь его ничем не удивишь.

— Не лучше ли для этой цели воспользоваться ядом? — пытал Васеньку Ипполит Маркелович. — У меня есть дома яд, изготовленный по рецепту самого Медичи...

— Мы все уважаем ваши глубокие познания, Ипполит Маркелович, — прервал его Плешивый. — Но Василию Васильевичу лучше знать, каким способом уйти из жизни...

Здесь речь его оборвалась, потому что с дальнего конца стола вскочил человек с темным лицом, имени которого никто не знал, и заговорил по-иноземному, жестикулируя и неприятно гримасничая.

— Да ладно вам! — закричал на него Плешивый. — Уж сидели бы молча, пока вас не вывели отсюда!

В это время в кабачке как-то сразу потемнело, стены его наполнились шумом, возбужденными голосами, и все увидели, что явились Чох со своим денщиком и кроме них — ослепительная и румяная с мороза Авдотья Ильинична Истомина.

— Господа! — заорал Чох своим страшным голосом. — Послушайте, какую эпиграмму я вам принес на Карамзина! — И прочел:

В его истории изящность, простота  
Доказывают нам без всякого пристрастья  
Необходимость самовластья  
И прелести кнута.

Какое, господа? А автор, знаете, кто? Некто Пушкин, из лицистов!

— Лев... — бросил кто-то.

— Да не Лев! — вскипятился Чох. — А племянник его, — львенок...

— Легкомысленные стихи-с, — сказал денщик Федор, — но автор подает надежды-с...

— Не нужно нам никакого Пушкина! — отрезал Плешивый. — Потрудитесь сесть и не прерывать своим бушеванием нашей беседы! — Он подлетел к Дуне и, целуя ручки, сказал: — Позвольте вам представить, Авдотья Ильинична, нашего гостя Александра Сергеевича Грибоедова.

— Я видел вас в последнем балете, — улыбнулся тот. — Смею предположить, что через несколько лет вам не будет равных на столичной сцене.

— А я вас еще не видела, — сообщила Дуня просто. — Но смею предположить, что вы будете первым на любом поприще, которое выберете...

— Не сомневаюсь, — усмехнулся Грибоедов. — А вы что же, Авдотья Ильинична, тоже интересуетесь... политикой?

— Нисколько. Я в политике ничего не смыслю. Понимаю только: па де буре, турлан и пор

де бра... А почему вы все такие грустные?

— Потому что Василий Васильевич будет сейчас стреляться, — объяснил Завадовский, нагло пожирая ее глазами.

— Что?! — испугалась Дуня и подошла к Шереметеву. — Что вы такое придумали?

— Оставьте меня! — простонал он. — Мое решение неизменно...

— А я вам деньги достала, — тихо сказала Дуня, чтобы никто не услышал.

— Много ли? — сразу оживился Васенька.

— Как вы и говорили. Тысячу.

Лицо Василия Васильевича начало проясняться.

— Да я, собственно, не из-за денег, — сказал он. — Я решил уйти из жизни из-за того непонимания, которое возникает между нами...

— Ладно, мой друг. Поедьте лучше домой и там обо всем переговорим, — улыбнулась Дуня.

Васенька с просветленным лицом подошел к столу и произнес запинаясь:

— Друзья... Мое решение изменилось...

— Магические чары красоты! — воскликнул чувствительно Ипполит Маркелович.

— Я, друзья, жить хочу, — признался Василий Васильевич, — потому что жизнь, несмотря на ее ценность...

— Шампанского! — заорал Чох. — За жизнь, господа, за жизнь!

## ГОД 1817. ОСЕНЬ.

Балет «Дон Карлос и Розальба» шел с громадным успехом. Больше всего хлопали Авдотье Ильиничне. И сейчас, стоя перед восторженным залом, она не могла скрыть своего счастья, потому что со всех сторон неслись восторженные возгласы: «Истомина! Истомина! Фора!»

Хлопал и сам государь, одаривая, как ей казалось, только ее божественной улыбкой. И вдруг... с левой стороны партера послышалось несколько хмурых голосов:

— Суфлера! Суфлера!..

Когда занавес закрылся, Дидло, опираясь на палку, подошел к Авдотье Ильиничне и прокаркал:

— Недолго вы протянете, госпожа моя, с таким удовольствием от своего танца... А работы вы не очень усердно. Могли бы лучше!..

— Я постараюсь! — присела перед ним Авдотья Ильинична, довольная тем, что балетмейстер не пустил в ход свою палку...

А на квартире Александра Александровича Шаховского был свой балет. Состоял он из

молоденьких учащихся театральной школы, почти детей, которые в прозрачных туниках танцевали перед ним и графом Милорадовичем «легкие па». Когда они закончили, Александр Александрович подозвал их пальцем к закрытому столу и дал конфет.

После этого девушки в сопровождении старого слуги ушли. Милорадович жадно посмотрел на столик, где на доске приготовились к бою шахматные фигуры, и сказал:

— А не провести ли, князь, победоносную баталию?

— С превеликим удовольствием...

Внешне Александр Александрович не показывал того, что напряжен. Однако приступил к игре с некоторой опаской, помня, какую странную партию провел с ним последний раз Милорадович.

Генерал по традиции сделал первый шаг пешкой, и Шаховской отметил, что это был шахматный ход, следовательно, играли в шахматы.

— Хорошо, что нашим танцовкам Дидло готовит достойную смену, — говорил Михаил Андреевич, обдумывая ответ Шаховского. — Эта самая гишпанка... как ее?

— Госпожа Новицкая? — рассеянно подсказал Шаховской.

— Вот уж нет, — отрезал Милорадович. — Она стала танцевать из рук вон плохо. Мне просто неловко наблюдать за ее манерой...

— Немалые леты дают себя знать, — заметил Шаховской, делая открытие, что ладья Милорадовича совершила шашечный ход.

— Да. Но года здесь совершенно ни при чем. Просто она подобрала себе в голову большое самомнение... Некую остроту... Я удивляюсь, как это с ее неуклюжестью ей еще поручают главные роли...

— Я придерживаюсь того же мнения, граф. Думаю, что Дидло будет бесполезно знать наше мнение о теперешнем состоянии госпожи Новицкой, — согласился Александр Александрович и вдруг, собравшись с духом, «съел» по-шашечному ладью Милорадовича.

Михаил Андреевич на это тоже «съел» пешку Шаховского.

— А говоря о гишпанке, я имел в виду не Новицкую, а ту, которая была служанка...

— Госпожу Истомину...

— Истомину? Да. Говорят, они дружат между собой?

— Не думаю, — пробормотал Шаховской. — Госпожа Истомина никогда не отличалась дерзостью... — И здесь Александр Александрович прошел пешкой в дамки.

— Это что за прорыв, князь? — холодно осведомился Милорадович.

— Извольте ли видеть, дамка... — объяснил

Шаховской, обливаясь холодным потом. Под столом он начал сжимать кулак.

— Дамка? Да. Но позволю спросить, князь, откуда взяться дамке в шахматной игре?

Александр Александрович хлопнул себя по лбу правой рукой.

— Извините, князь... Какое-то затмение нашло! — кулак под столом разжался.

Рецепт жены не действовал.

— Извольте поставить фигуры в исходную позицию, — грозно приказал Милорадович. — Так я говорю об этой Истоминой... Как вы считаете, достойна она выступать в моем домашнем театре? — Здесь генерал «съел» пешку Шаховского, опять перейдя на шашечный лад.

— Вне всякого сомнения, граф... Фу! — И Шаховской схватился за сердце. — У меня сегодня не ладится игра... Наверное, виноваты протертые рябчики. Вы не будете возражать, если я вам сдамся?

— Когда противник сдается, победитель не вправе его уничтожить. — И Михаил Андреевич откинулся на спинку кресла. — Кстати, князь, вы помните наш разговор об этих самых шумных французах? Уже год пролетел с той поры, но вы...

— У меня все готово, граф, — засуетился Александр Александрович, открыл свой секретер и вытащил оттуда запечатанный конверт. — Но это публика мелкая... Вряд ли достойная вашего драгоценного внимания...

— Мелкая? Да. Но шумит хуже крупной. И не только в театре. Что происходит в нашей литературе, князь?! Какой-то погребальный стук костей, какие-то слезы о загубленной жизни...

Здесь Александр Александрович взволновался, ибо разговор коснулся уже действительно дорогих ему вещей...

— Вы совершенно правы! И что за словарь у них, право? Не русский!

— Не русский, — согласился Милорадович.

— У Карамзина это отвратительное слово «трогать»! Что такое «трогать»? Разве можно этот телесный глагол прилагать к духовной сфере?! — Александр Александрович в возбуждении забегал взад-вперед перед Милорадовичем. — Увы! Наша Россия все более становится французской!

— Но во Франции ведь тоже, князь, есть много хорошего. Водевили, другие там... Хуже всего, что души мелеют. Объявляются какие-то сочинители-мальчишки, строчащие эпиграммы... У меня целый ворох таких эпиграмм! И все вышли из-под пера какого-то Пушкина! Слышали о таком?

— Не слышал, — соврал Шаховской, тяжело дыша, как после долгого бега...

— ...держу пари, — сказал Васенька, — что назову больше французских лавок на Кузнецком, чем ты!

— На что спорим? — спросил его Завадовский.

— На пятьсот рублей.

— Нет, брат. На бутылку «клик».

— Ладно, считай. — И Васенька стал загибать свои пальцы. — Аме, Моро, Шальме, Шеню, Паномаль...

— Арман, — подсказал Завадовский, видя, что Шереметев запнулся, — Венсен, Буасель, Баб-ен, Лакомб...

Разговор их происходил в «Красном кабачке» в ожидании очередного заседания общества. Кабачок был пуст. Кроме них сидел грустный председатель и чернявый иноземец. Плешивый печально уставился на него слезливыми глазами.

— Мы что-то не то делаем, господа! — начал он, поворачиваясь к Шереметеву с Завадовским. — Занимаемся какими-то пустяками, а толку?

— ...Пермаль, — твердил Васенька, — Шото, Декор...

— ...ведь есть же дельные люди, — вздыхал меж тем Плешивый, — братья Тургеневы, например... Муравьев, Лунин... Только они не с нами, вот беда. У них там что-то свое... Почему мы все разобщены, господа?

— Ладно! — махнул рукою Завадовский. — «Клик» за мной.

— Послушай, голубчик! — взмолился Василий Васильевич. — Ты знаешь мое отчаянное положение. Может быть, вместо этой бутылки... ты дал бы мне хотя бы... рублей пятьсот... Я отдам, точно отдам.

Завадовский забарабанил своими длинными ногтями по столу.

— Ты помнишь, Шереметев, наш прошлый разговор на этот счет?

— Конечно, Саша...

— А слова мои о некоей прихоти тоже помнишь?

— Ну? — пробормотал Васенька, ожидая чего-то таинственного.

— Так вот, милый. Чтоб не было у нас с тобой никаких ссор и картелей... Я хочу провести вечер с твоей Авдотьей Ильиничной!

Васенька вздрогнул, судорожно посмотрел на Плешивого, опасаясь, что тот все слышал. Но председатель сидел на другом конце стола, весь погруженный в тяжелую думу, а вертлявый иностранец был не в счет.

— Обещаю тебе, — продолжал Завадовский, — что с моей стороны не последует каких-либо действий, выходящих за круг дружеских отношений.

— Отчего же ты хочешь с нею встретиться...

без меня? — слотнул Васенька.

— Я же сказал, что это прихоть... Отпусти ее на один вечер, дарлинг... А займы я тебе дам, так и быть...

Шереметев растерянно молчал.

— ...не то, не то... — бормотал председатель, обращаясь, как видно, к самому себе.

Карл Людовикович Дидло проверял декорации нового балета «Тезей и Арианна». Простучал твердое море палкой. Взобрался на скалу, на которой несчастная Арианна, обнаружив отсутствие своего любимого Тезея, должна была потерять сознание.

Между тем на сцену вышла Анастасия Семеновна Новицкая. Улыбаясь, спросила снизу по-французски:

— Неужели мне надо будет бросаться вниз?

— Вас должно радовать то, что утонуть вы не сможете...

Анастасия Семеновна решила взойти вслед за Дидло на искусственную скалу.

— Какая высота! — пробормотала она, осматриваясь.

Большой театр с рядами своих кресел не выглядел сверху слишком большим. Новицкая одной своей ладонью могла прикрыть весь зал. Она занесла обнаженную ногу над пропастью, почти упираясь в нарисованное небо. Какое-то мгновение казалось, что она сейчас сорвется вниз, но, сохранив равновесие, выгнула спину назад и упала здесь, на скале.

— Недурно. Но надобно прогнать больше спину...

Анастасия Семеновна встала, проделала свою пантомиму еще раз.

— Ниже голову... Ниже! — И Карл Людовикович указал своей палкой невидимую точку в пространстве, до которой должна была достать головою Новицкая. — Вот так, уже лучше...

Потом обвел взглядом декорацию и театр.

— Вас не смущает то, что опять придется танцевать греков?

Новицкая, не понимая, взглянула в глаза старика. Тот не выдержал взгляда и, как показалось Анастасии Семеновне, смутился.

— Я доверяю вашему таланту, Карл Людовикович, — сказала она, даже по-французски произнося его имя на русский лад. — Если вы выбрали Тезея и Арианну, значит следует танцевать именно это...

— А что я мог выбрать другое? — с раздражением заметил старик. — Лучше бы обучили меня читать по-русски, а то стыдно... Впрочем, и в Греции я не был. Беру ее отсюда, — он показал пальцем на свой лоб. — Так значит, вам нравится ваша роль, госпожа моя?

— Нравится, — повторила она, не понимая,

что он хочет от нее.

— Так если вам нравится ваша роль, то измените сейчас же свое поведение! — выдохнул старик в сердцах.

Она от удивления не смогла даже ответить.

— Граф Милорадович очень недоволен вами, — объяснил Дидло, вглядываясь в нарисованное облачко. — Мне стоило огромного труда, чтобы отстоять вас в роли Арианны... И то мне пришлось дать слово, что вы изменитесь...

— Вы могли бы не давать этого слова...

— Вы хотите... умереть? — спросил он.

— Не хочу. Я хочу лишь спросить, как умещается в вас, Карл Людовикович, беззаветная любовь к искусству и ... грязный расчет?

— Мне странно, — сказал Дидло совершенно спокойно, — отчего вы не понимаете вещей, которые понимают даже дети...

Он стал спускаться со скалы на сцену.

— Это понимает даже Истомина! — воскликнул он не оборачиваясь.

— Она еще глупая...

— Совсем нет. Она только ломает дурочку, на самом же деле... — Дидло не договорил. — В общем, госпожа моя, или вы измените свое поведение, или... мне трудно будет давать вам главные партии...

— Что ж... это я смогу пережить, но бесчестие...

— Вам не по карману содержать собственную честь! — прошипел Карл Людовикович, но, справившись с волнением, решил больше не продолжать разговор.

Дуня проснулась в то утро, как и во все предыдущие: с испугом оттого, что проспала. Бросив безнадежный взгляд на часы и найдя время совершенно разное, она побежала за ширмы и начала одеваться.

За этот год она стала старше. Годы ее сказывались не в том, что она подурнела. Просто легкомысленное расположение духа все чаще уступало место раздражению, а иногда даже буйству. Оттого, что жизнь ее складывалась хлопотливо и неблагоприятно, несмотря на роли, которые ей давал страшный Карл.

Выпорхнув из-за ширм, окаменела: прямо на нее смотрело дуло пистолета.

— Доброе утро, амброзия моей души, — пробормотала Истомина. — Что это вы придумали?

На это был взведен курок. Василий Васильевич стоял в ночной рубашке и с сеткой на голове, не дающей прическе смяться.

— Что у вас с Завадовским? — страшно спросил он.

— Ничего.

— Считаю до десяти: раз, два...

Чувствуя, что время безнадежно уходит,

Истомина сказала:

— Связь. Теперь можно идти?  
— Духовная ли это связь, — Васенька придвинул пистолет вплотную, — или...  
— Василий Васильевич! — сказала Дуня нежно. — Нельзя же быть таким дураком! А связь... как это... платоническая!

— Может быть, вы были с ним наедине для платонической связи?

— Была, — соврала Дуня, потому что разошлась.

— Сколько раз?  
— Раз восемь-девять. А теперь прощайте.

Она спокойно отошла от пистолета.

— Стреляю, — сообщил Шереметев.

— Промахнетесь. У вас, должно быть, рука нетвердая. — Дуня остановилась у двери, соблазная стрелять. — Только учтите, если вы не выстрелите сейчас, другой возможности вам не представится. Я ухожу из вашего чертога.

— Конечно, в другой чертог, — скрипнул зубами Шереметев.

— В другой. А в вашем... слишком холодно и бедно. Прощайте.

Открыла дверь и не спеша вышла. Рука Шереметева затряслась. В отчаянии он отбросил пистолет в угол. Заметался по комнате. Наконец, решив успокоиться, сел за немецкую книгу и прочел место, заложённое лентой для волос.

— «Мне часто непонятно, как может и смеет другой любить ее, когда я так безраздельно, так глубоко, так полно ее люблю!»

...Арианна заломила руки на искусственной скале, глубоко прогнувшись назад, потому что возлюбленный Тезей уплыл, соблазненный коварной Федрой. Видя, что его не догнать, она решается покончить с собой и заносит ногу свою над обрывом...

Но внезапно из «пучин» нарисованного моря появляется влюбленный Вахх с богом Амуром и с полуголыми девами. Они умоляют Арианну-Новицкую пощадить свою молодую жизнь, тем более что Вахх давно и безнадежно влюблен в нее. Амур в воздушном танце склоняет Арианну прийти в объятия к Вахху, и девы моря, образуя своим танцем круг, закрывающий любовников, завершают спектакль.

Занавес закрывается, и неистовый шквал аплодисментов привычно сотрясает зал.

...Авдотья Ильинична в этом балете танцевала второстепенную партию «девы моря», однако же вышла вместе с другими «на бис».

А после спектакля за кулисы поднялся Александр Александрович Шаховской и начал обходить танцорку и тансеров с лучезарной улыбкой.

— Благодарю, — говорил он, — за службу... Прелестно... А вы, Авдотья Ильинична, — выделил он особо Истомину, — даже в маленькой роли — звезда...

Новицкую он демонстративно прошел мимо. Это было тем более обидно, ибо Анастасия Семеновна стояла рядом с Истоминой и не заметить ее мог лишь слепой. Дуня крепко сжала ее руку и вдруг увидела, что глаза Новицкой полны слез.

— Настя... Что ты...

— Оставьте меня в покое! — вспыхнула та и, вырвавшись из рук Дуни, убежала.

...А Шаховской тем временем пошептался с Дидло, подал ему царственную руку, и Карл Людовикович с почтением пожал ее.

— Вас можно на минутку, госпожа моя? — отвел Дидло на сторону Авдотью Ильиничну. — Вам оказана большая честь, — сказал он, глядя поверх ее головы. — Его превосходительство граф Милорадович... приглашает вас к себе...

Дуня не поверила своим ушам.

— Как это... к себе, Карл Людовикович?

— На ужин, госпожа моя, на ужин, — едко произнес старик. — Или вы хотите брать пример со своей подруги?

— Прямо сейчас?

— Нет, завтра. После вечернего представления... Надеюсь, вы не упустите своего шанса...

— Что ж... Если вы мне советуете, то я поеду, — просто сказала Истомина. Ей вдруг стало легко и страшно.

— Я ничего не советую. Вы не девочка, чтобы я мог вам советовать. Значит, поедете? — Карл Людовикович будто сам не верил в ее ответ, будто даже хотел, чтоб она отказалась.

— Да, да!

— И славно, — сказал старик. — Славно!

Повернулся и, помахивая палочкой, пошел от нее, напевая под нос какую-то французскую песенку.

— Поеду! — еще раз сказала Истомина с вызовом, но никто ее уже не мог слышать.

— ...Авдотья Ильинична! — окликнул ее молодой человек в накинутах на плечи плаще, когда она выходила из театра. — Быстро же вы забываете старых друзей!

— Я вас помню, — улыбнулась Дуня, подавая руку. — Вас зовут Александром Сергеевичем!

— Удивительная память, — сознался Грибоедов.

— Вы не меня здесь поджидаете?

— Не вас. Однако рад передать вам привет от моего друга Завадовского.

— Спасибо. Я его не забыла. Особенно его ногти.

— Он также велел спросить при случае: когда же вы очастливите нас своим визитом?

— Когда? — задумалась Дуня. — Да хоть

сейчас. Накормите?

— Конечно, — пробормотал Грибоедов, несколько смущенный ее решительностью. Чувствовалось, что это нарушало его планы.

— Тогда идемте. — Авдотья Ильинична взяла его под руку и пошла с ним к карете.

— На Невский, — бросил Грибоедов кучеру. Карета отъехала, забрызгав грязью мундир Василия Васильевича Шереметева. Васенька, чтобы не упасть, прислонился к фонарному столбу. Пошел мелкий дождь. Городские огни дробились в глазах, и Шереметеву приходилось вытирать глаза рукою, будто хотел еще различить пропавшую из виду карету.

Истомина глядела в темное окно.

— А вы часто бываете в театре... Что, нравятся наш балет?

— Терпеть не могу, — сознался вдруг Грибоедов.

— И я не нравлюсь?

— Нравитесь. Но я бываю в театре не ради вас.

Авдотья Ильинична с интересом посмотрела на него.

— Вот как... А я думала, вы будете объясняться мне в любви.

— Нет. Этим займется Завадовский.

— Тогда отчего же вы бываете в театре, коли вам не нравится?

— Жить в России и не быть в театре — невозможно... — Грибоедов замялся.

— Ну же! — подбодрила его Истомина.

— Не знаю, будет ли вам это интересно... Но разве вы играете только на сцене, Авдотья Ильинична?

— Нет, — сказала Истомина, — не только.

Немного помолчали.

— Я... обидел вас?

— Нисколько. Я просто жду продолжения вашей мысли...

— Какое же здесь продолжение, — усмехнулся Александр Сергеевич. — Я боюсь, что и сейчас вы играете. Делаете вид, что наш разговор вам интересен, а на самом деле... думаете о дровах на зиму.

— Не угадали. Думаю о том, что вам каким-то образом многое обо мне известно. Но и мне известно об вас кое-что...

Они виделись всего второй раз в жизни, но между ними возникла вдруг странная близость, неизвестно откуда взявшаяся. Эта близость подразумевала откровенность, немислимую в светском обществе.

— Что же вам известно обо мне?

— А то, например, что вы никого не любите, — сказала Дуня.

— Не люблю? Славно. Хотя вы, наверное, правы.

— И занимаетесь вы...

— Ничем, — дополнил ее Грибоедов. — Немного мараю бумагу, а в общем-то ничем.

— Я так и думала, — созналась Авдотья Ильинична.

— Тогда я задам вам вопрос. Если вы... столь пронципательны, тогда отчего же бываете в этом дурацком «Обществе хмурых»? Ведь там...

— Я знаю, они — дураки, — подтвердила Авдотья Ильинична, — но я... Мне жить нужно. Жить...

— Не жить, а выжить. Это я могу понять.

Грибоедов замолчал. Карета мерно покачивалась.

— Александр Сергеевич, — подала голос Дуня, — когда же все это кончится?

— Никогда. Порою я чувствую в себе такую дикую усталость, будто живу уже не в первый раз. И все уже было, и все еще будет, и нет исхода...

— А вы бы написали обо всем этом трагедию и отдали бы нам...

— О чем писать, что вы...

— Ну хотя бы о нашем «Обществе»...

— Нет, «Общество» ваше — это для комедии, причем не слишком смешной. Что ж, если бы нашлись силы, написал... Да боюсь, засну на середине...

— А я вот не засыпаю, — сказала Дуня задумчиво. — С шести лет танцую, хоть и спать хочется...

— Как же вы угодили... в этот театр?

— Дядька привел. Флейщик преображенского полка. За год до этого умерла моя мать. Через два года — отец...

— А кто был ваш отец?

— Полицейский прапорщик... Я, признаться, совсем не помню его. Если бы дядька не уговаривал принять меня в Театральную школу, я бы не выжила. Но... приняли. Ножки, говорят, подошли...

— А дальше?

— Училась танцевать. Когда была маленькой, жила у Евгении Ивановны Колосовой. А потом... вы и сами знаете...

— Не знаю, — сказал Грибоедов, по-видимому, досадуя на всплеск своей откровенности, — меня вообще здесь нет.

— А где же вы?

— То, что вы видите перед собою, только оболочка, не я...

— А вы — страшный человек, — призналась Авдотья Ильинична. — Но по мне — пусть страшный, лишь бы настоящий...

— Польщен! — раздраженно воскликнул Александр Сергеевич. — Польщен, что вы произвели меня в настоящего человека... А у Завадовского вам понравится, так что вы часто станете бывать у нас!

— А я не собираюсь часто бывать у вас. Я

жить у вас стану, — объяснила свои намерения Авдотья Ильинична.

Минута откровенности прошла.

Приезд Грибоедова вместе с Истоминой застал Александра Петровича врасплох.

— Джозеф, ужин на троих, быстро! — приказал он по-английски своему слуге и, пока другой принимал вещи у Авдотьи Ильиничны, обратился к Грибоедову также на английском. — Как это тебе удалось ее умыкнуть?

— Ты бы говорил по-русски, дружок. А то получается неудобно, — ответил ему по-английски Александр Сергеевич.

— Вот еще... Тоже мне, королева... Прошу! — уже по-русски обратился Завадовский к Истоминой.

Та, взяв его, как и Грибоедова, под руку, прошла вместе с ними в столовую, где Джозеф сервировал стол.

— Можно мне сидеть у окна? — спросила Дуня.

— Конечно, Авдотья Ильинична...

Истомина очаровательно улыбнулась и вдруг легко вспрыгнула на стол. Джозеф, чопорный на английский манер, от удивления впал в столбняк. Дойдя до края стола, она спрыгнула на пол, села в кресло, заложив ногу за ногу.

Завадовский стушевался. Грибоедов же хлопал в ладоши, и Дуня поняла, что есть хоть один человек, который оценит ее сегодня.

— А на каком это странном языке говорили вы, Александр Петрович? — спросила она.

— Не все ли тебе равно, дурочка? — сказал по-английски Завадовский и дополнил по-русски: — Это английский, Авдотья Ильинична.

— А французский вы, конечно, знаете?

— Я знаю пять языков...

— Тогда, наверное, а ля сегодня вы предпочтете амбуате, а эн лер — ассамбле и кабриолу.

— Что? — не понял Завадовский.

— Я говорю, что па даксон и де пуагсон мне нравится больше, чем па де сизо и па де ша. А пуант тандю и револьтед — меньше, чем рон де жамб и сюиви...

Дуня начала веселиться. Между тем на столе появились первые блюда.

— А!.. — вдруг воспрянул Александр Петрович от спасительной мысли. — Это вы делаете небольшой тейбл ток перед ужином?

— Для кого ужин, а для кого и обед, — хищно произнесла Истомина, присматриваясь к вазе.

— Очень рекомендую, — сказал Завадовский.

— Паштет из гусиной печени. Новинка европейской кухни. Он находится в... консервированном виде. Вам положить?

— Давайте, если новинка.

— Джозеф...

Но Истомина опередила слугу и сама начала накладывать себе на тарелку все, что попало ей под руку.

— О!.. Зачем вы берете столько Лимбургского сыра? — не выдержал Александр Петрович. — Правильно... Я и не разобрала, что он в плесени...

— Это специально! Просто это очень острый сыр... Вы одна столько не скушаете...

— А я не собираюсь есть одна. У меня же много подруг: Настя Новицкая, Азарьева, Литухина, и все — голодные!

— И думаете, им хватит одной тарелки?

— Не хватит, — опечалилась Истомина. — А нет ли у вас какой-нибудь корзинки? Я бы сложила и отнесла...

Завадовский красноречиво посмотрел на Грибоедова, но тот лишь улыбнулся.

— Джозеф!.. Принесите нам какую-нибудь корзинку.

— И побольше, — попросила Дуня.

Слуга выпятил глаза, сделавшись похожим на рака, но ничего не сумел возразить, только плечами пожал и вышел.

— Вы уж извините, Александр Петрович, но они в самом деле голодные...

— Маленькое жалованье, понимаю...

Здесь Завадовский, чувствуя, что время проходит зря, решил все-таки пустить в ход свои чары.

— Кстати, Авдотья Никитична... У меня в свете есть некоторые связи. В частности, я знаю людей, имеющих довольно близкие отношения с генерал-губернатором. И я могу поговорить о прибавке к вашему жалованью...

— Это было бы неплохо, — согласилась Дуня. — А что это за шампанское?

— Это знаменитое вино кометы урожая 1811 года. Хотите попробовать?

— Что ж, давайте. Лишь бы оно не испортилось от давности...

Завадовский тихонько фыркнул. Поскольку Джозеф пошел за корзиной, ему пришлось самому откупоривать бутылку. Истомина, отпробовав, скривилась:

— Какое кислое! — И начала жадно есть то, что натаскала себе в тарелку.

Между тем появился Джозеф, весь перепачканный в пыли. В руках его находилась здоровенная корзина, с которой и по грибы не ходят.

— Мог бы выбрать и поменьше, — сказал ему Завадовский на английском.

— Меньше не нашел...

— Что же, подавай ростбиф, — грустно приказал Александр Петрович, наблюдая за тем, как Истомина утоляет свой голод.

Насытившись, Дуня сладко потянулась.

— Спать захотелось... А что мы будем делать



дальше?

- Вы хотите сделать перерыв?
- Да. А то ваш сыр аппетит отбил.

– Тогда не изволите ли осмотреть мою коллекцию трубок? – хищно спросил Завадовский, нападая на след.

Истомина посмотрела на Грибоедова. Тот внимательно разглядывал что-то на своей тарелке.

– Хорошо, – назло ему согласилась Дуня. – Пользуйтесь моей слабостью.

Встала на стол, проделала давешний путь обратно. Слава Богу, что ничего не задела. Спрыгнула на пол.

– Прошу! – галантно согнулся Завадовский, пропуская ее вперед.

Через коридор они прошли в довольно обширную комнату, в центре которой стоял бильярд, а на стенах висели различные трубки – от маленьких до огромных, составляющих гордость хозяина.

– А это зачем? – поинтересовалась Истомина, указав на большой гребень в форме лиры. Завадовский несколько смутился.

– Имею слабость, Авдотья Ильинична, к вещам, которые помогают нам в уходе за собственным телом...

За большим гребнем расположились и малые, даже микроскопические, будто предназначенные для расчесывания одного волоса. Вкупе с трубками они напоминали изощренные орудия пыток.

– Вот бы им расчесаться, – сказала Дуня, лобуясь гребнем-лирой.

- Пожалуйста. Для ваших волос он будет в

самый раз...

– Ну так расчешите! – капризно произнесла Истомина и повернулась к нему спиной.

Не веря своему счастью, Александр Петрович снял гребень со стены. Провел по волосам желанной гостью...

– А заколки?.. – пробормотала она.

Трясущимися руками Завадовский стал вынимать заколки из головы. Наконец, волосы рассыпались тяжелым густым дождем, и Александр Петрович полностью потерял над собой контроль. Начал расчесывать их гребнем, касаясь губами и тяжело дыша Истоминой в уши.

– Авдотья Ильинична! – прохрипел он. – Позвольте срезать локон... На память!

– Только небольшой, – предупредила его Дуня.

Взяв ножницы, которые также были в его коллекции, Завадовский бесшумно срезал волосы у самого уха, чем не нанес голове Дуни никакого вреда. Поцеловал срезанный локон.

– Авдотья Ильинична... Дуня! – шептал он.

– Мне как-то сказал ваш близкий друг Шереметев, что главное препятствие между вами – театр. Так знайте, что, по-моему, это не препятствие... И я вполне бы согласился быть с вами всегда, не понуждая оставить сцену...

– О чем вы? – искренне удивилась она и, чтобы сбить с него страстный порыв, спросила: – Я слышала, вы бывали в Англии?

– Два раза. Я давно хочу совершить по ней свое третье путешествие, но наши власти чинят препятствия...

– Я постараюсь вам помочь.

– Хм... Это сложно. Нужен прямой доступ к

нашему губернатору...

— Ну прямого-то у меня нет... Но можно Михаила Андреевича попросить. Они ведь с ним друзья...

Слова эти неожиданно распрямили Завадовского. Даже руки по швам опустились.

— Вы... знаете Милорадовича?!

— Конечно. Завтра я у него буду и поговорю о вас...

С лица Александра Петровича сошла вдруг вся страсть. Оно сделалось смущенно-подобострастным, будто своим поведением он допустил какую-то роковую оплошность, что могло пагубно отразиться на его карьере. Чуткая Дуня прочувствовала этот момент.

Подобрала свои волосы.

— Что это вы, как на параде?

— Я? Ничего-с.

— А можно мне срезать с вас локон?

— Да-с, режьте, — обрадовался Завадовский, наклоняя голову, как под топор.

— На память об вашем блестящем уме!.. — И Дуня нагло отхватила с его головы огромный клоч.

Это было трагедией. Стрижка Александра Петровича была и без того короткой и не могла, конечно, возместить сию потерю. Чувствуя это, он потрогал руками голову и, нащупав пробоину, побледнел...

— Это что... бильярд? — спросила, зевая, Истомина.

— Да...

— А не могли бы вы сейчас сыграть?

— Нет. Не вовремя.

— Но я хочу! — капризно притопнула ножкой Дуня. — Для меня вы должны сыграть!

— Саша!.. — позвал он Грибоедова. — Александр Сергеевич!

Через минуту появился Грибоедов и очень удивился, увидев прическу своего друга.

— Вот... Нужно в бильярд сыграть! — чуть не плача, объяснил Завадовский. — Гостья этого требует...

Александр Сергеевич пожал плечами.

— Могу...

— Вот и хорошо... Играйте же, играйте! — приказала Истомина и, дождавшись первого удара, возвратилась в столовую и начала складывать в корзину пропитание...

...Джозеф появился на пороге бильярдной, когда Грибоедов выиграл один шар.

— Ушла, — сообщил слуга. — И продовольствие с собой унесла.

— Стерва! — только и смог сказать по-русски Александр Петрович.

Театр хлопал. Как волны, набегающие на берег, долетали до сцены восторженные возгласы: «Истомину!.. Новицкую!.. Истомину...

Новицкую!..».

Дуня заученно улыбалась и отвечала на приветствия поклонами. Она отметила, что Анастасии Семеновны нет на сцене. Замечал это и зал, который все более громко требовал: «Новицкую! Новицкую!». Но тщетно. Настя не вышла.

Когда занавес закрылся, Азарьева шепнула Дуне:

— Убежала! Чудная!..

...На самом верху под театральной крышей находилась маленькая чердачная комната, в которую вела узкая винтовая лестница. Обыскав все кругом, Дуня и Азарьева поднялись на чердак, открыли дверь... В углу сидела Анастасия Семеновна, укрывшись грязной рогожей. Дрожала. Зуб на зуб не попадал.

— Они сюда не доберутся... — пробормотала, увидав подруг.

— Кто?!

— Те. Из зала. Увидят, что меня нет, и уйдут.

— ...Я возьму ее к себе! — шепнула Азарьева.

— Вставай, Настя, полно.

— А те уже ушли?

— Ушли, ушли! — Азарьева насильно подняла ее. — Ты приедешь?

— Сегодня я занята, — ответила Истомина и стыдливо потупилась...

Дуня дождалась, пока ее подруги уйдут, и вышла из театра последней. У роскошной кареты ее ждал лакей в расшитой ливрее. Открыл дверцу и подал Дуне руку.

Истомина оперлась и, входя в карету, посмотрела ему в глаза. Лакей улыбался.

В карете сидел Милорадович.

Петр Павлович Каверин застал товарищей своих — двух Александров — за утренним кофеем. Завадовский широким жестом пригласил гостя за стол, но Каверин в ответ протянул ему запечатанное письмо и остался стоять.

— Это... что такое? — в недоумении пробормотал Завадовский, читая послание.

— Это еще не все. — Каверин вынул второй конверт и протянул Грибоедову.

— Так он, пожалуй, всех перебьет, — сказал тот, невнимательно пробегая глазами вызов.

— С кем же сначала? — спросил Александр Петрович растерянно.

— С тобой. Не хочешь ли ты передать что-нибудь на словах?

— Передай ему, дураку такому, что кровь проливать из-за пустяков я считаю глупым! — воскликнул Завадовский и посмотрел на Грибоедова.

Второй участник предполагаемой дуэли со слепой улыбкой барабанил пальцами по столу.

Каверин некоторое время ждал, что скажет Грибоедов, но, так и не дождавшись, отключился...

— Вот дурак-то... — обратился Завадовский за поддержкой к другу.

Грибоедов, ничего не говоря, все так же барабанил пальцами. Потом встал и, не допив кофий, ушел в свою комнату.

Пистолет системы Лепажа заряжался так: в ствол, имевший внешний вид шестигранника, насыпали порох, заколачивая его пыжом. Затем шомполом забивали в ствол пулю.

Каверин насыпал на «полку» (стальной выступ в казенной части) мелкого пороха, который должен был вспыхнуть от удара кремнием. Пистолет для Василия Васильевича был готов.

За ночь напал крупный мокрый снег, и на Волковом поле, где они стрелялись, лежали порядочные сугробы. Стрелялись на шести шагах с общей длиной барьера в восемнадцать.

Василий Васильевич был бледен и смотрел прямо перед собой. Сейчас обычная суетливость и аффектация покинули его. Впервые он был мужествен. Завадовский на другом конце барьера ходил взад-вперед, расчищая ногою снег. Усмехался, переговаривался с секундантом. Будто на прогулку вышел. Однако вид имел какой-то жалкий, виноватый, явно сожалея, что ввязался в такую глупость.

Каверин посоветовался о чем-то с секундантом Завадовского, вернулся к Васеньке и сказал:

— Завадовский просит передать тебе, что виноват и что ежели ты...

— О чем ты, Петр Петрович? — удивился Шереметев. — Он отнял у меня всю жизнь! Да если я сейчас этого не сделаю, на что же я живу? Странная репка получается...

— Учти, он может выстрелить в воздух...

— Тогда наше дело начнем снова, — непреклонно отвечал Шереметев.

Каверин долгим взглядом посмотрел ему в глаза, будто запоминая их.

— Ладно, — сказал он и пошел к секунданту Завадовского.

...Когда был дан приказ сходить, кровь бросилась в лицо Василия Васильевича. Он пошел вперед, не отрывая своего взгляда от Завадовского. Будто хотел прочесть в фигуре своего врага испуг, смятение... Словом, то, что должен испытывать, по романтической концепции, виноватый злодей, которого настигает возмездие.

Однако Александр Петрович шел твердо, спокойно, как на прогулке. Уже дойдя до роковой отметки, он глянул в глаза Шереме-

теву и улыбнулся: мол, видишь, брат, какая чепуха вышла.

И эта улыбка взбесила Василия Васильевича. Не соображая, он выстрелил тут же, не доходя до отметки в шесть шагов...

Дым рассеялся, Завадовский в замешательстве ощупывал оторванный ворот сюртука.

— Ого... Кажется, хотя бы моей жизни, — пробормотал он по-французски, сам не веря своему выводу.

Шереметев в растерянности стоял на том месте, где выстрелил.

Завадовский крепко сжал зубы. Чувство вины оставило его. Появилась лишь жажда мести за кровавые намерения Василия Васильевича.

— К барьеру! — указал он Васеньке, напоминая, что он должен пройти оставшиеся шаги...

— Господин Завадовский!.. Ведь это убийство! — закричал Каверин.

Александр Петрович дотронулся левой рукой до края воротника, напоминая о своей обиде.

— Стреляй! — шептал Васенька, подходя на расстояние шести шагов. — Если промахнешься, я тебя все равно убью!..

Завадовский не слышал, что шептал его противник, но смысл слов чувствовал и понимал. Выстрелил, не доводя Шереметева до края барьера.

Василий Васильевич упал. Хватаясь за живот, хотел подняться, но от боли только начал нырять по снегу, как рыба...

— Вот тебе, Вася, и репка, — пробормотал Каверин.

Пал снег. Было только начало ноября, но казалось, что зима стоит уже давно, вообще не кончалась.

Авдотья Ильинична сидела в карете в роскошной шубе. Кроме того, в ушах ее блестяли бриллиантовые сережки. За один вечер Истомина перестала быть «бедняжкой Дуней», и имя ее отныне звучало только с отчеством.

Она хотела поехать к Азарьевой, но, проезжая мимо дома, в котором жил Шереметев, задумалась, припоминая, наверное, недавнее время, проведенное с ним. Остановила карету. Вышла и стала подниматься по лестнице, неузнаваемая, красивая, неприступная.

Ей открыл Яков, расстроенный и какой-то виноватый.

— Здравствуй, Василий Васильевич дома?

— Дома... — И слуга спрятал глаза свои.

Помог ей снять шубу. Однако присутствие в гостиной Каверина насторожило...

— Василий Васильевич заболел...

— Что?! Seriously?!

— Нет... Только он сейчас заснул. Не следует его будить...

— Я подожду, пока он проснется... — Истоминой вдруг перестало хватать воздуха.

Из спальни вышел доктор, вытирая мокрые руки полотенцем.

— Положение безнадежное, — пробормотал он, не замечая знаков, которые делал ему Каверин. — Потеряно много крови, раздроблено бедро... — Он замолчал, глядя на бледную Истому по верх очков.

— Пустите!.. — Авдотья Ильинична оттолкнула доктора и ворвалась в спальню.

Шторы были задвинуты. На столе перед раскрытой книгой горела свеча. У изголовья кровати сидел Чох. Увидев Истому, поднялся. Глаза его были красными. Не обращая на него внимания, Авдотья Ильинична кинулась к чему-то черному, что лежало на высоких подушках...

Остановилась... Он узнал ее не сразу. И, разомкнув веки, некоторое время смотрел бессмысленно вверх. Потом одеяло зашевелилось, и из-под него медленно выползла рука. Авдотья Ильинична припала к ней губами.

— Что с тобой? — спросил ее Вася, будто она была ранена, а не он.

— Со мной все хорошо...

— Слава Богу! — обрадовался Василий Васильевич. — А я совершил...

— Что ты совершил? Ты погубил себя и меня! — Истомина заплакала.

Он погладил ее по голове.

— Я совершил!.. Я всю жизнь играл, а теперь... по-настоящему умираю... А ты?..

Она не ответила. Некоторое время молчали. Васенька тяжело и прерывисто дышал.

— Я там сделал перевод, — сказал он вдруг. — Прочти то место... где Вертер собирается умереть...

— Не надо!.. — взмолилась Истомина, но, встретившись с его глазами, не смогла отказать.

Села за стол и открыла толстую тетрадь. Прочла:

— «...без содрогания беру я страшный ледяной кубок, чтобы выпить из него смертельный хмель...» — Истомина с опаской посмотрела на Васеньку. Тот улыбнулся, и она продолжила через силу: — «Не позволяй осматривать мои карманы... Вот этот розовый бант покоился на твоей груди. Пусть его положат со мной в могилу... Они заряжены... Да будет так!»

— Теперь дай мне эту тетрадь сюда, — тихо попросил Шереметев.

Получив из рук Авдотьи Ильиничны тетрадь, собрался с силами и зашвырнул «Вертера» в самый дальний угол.

— Гадость!.. — прохрипел он. — Это все неправда!.. Театр, игра... Книгу эту сожги... и сама!.. — он не закончил.

— Сожгу! — прошептала Истомина.

Чох плакал. Он шел по зимней улице в распахнутой шинели и ревел. Крупные слезы капали на усы и скатывались вниз, как по водосточным трубам.

Из-за угла вышел государь. Чох был не в себе, но все же сразу признал в прохожем те черты, которые волновали всех.

Государь сочувственно ему улыбнулся, и Чох понял, что все не так уж плохо.

— Добрый день, Ваше Величество! — отрапортовал он и, когда государь прошел мимо, поглядел вслед и сказал возбужденно:

— Каков умница!

## ГОД 1822.

### ИСТОМИНА В МОДЕ.

В Большом Каменном театре возвращали билеты назад. В окошке кассы красовалось объявление: «Госпожа Истомина больна».

— Хандрит, — объяснил кассир какому-то балетоману. — А Дидло заменять ее не хочет... Звезда!..

И театралы в разочаровании расходились...

В квартире Анастасии Семеновны Новицкой был бедлам. Происходил он не оттого, что личные качества балерины ему способствовали, просто вместе с нею жила ее многочисленная родня, источником пропитания которой служил труд Анастасии Семеновны.

— ...сидит, — говорил меж тем безусый молодой человек, подглядывая в замочную скважину. — ...Сейчас встала... к окну подошла!

— Мишель, дайте мне посмотреть! — умоляла его девчушка с голубым бантом.

Оба стояли перед закрытой дверью. Мишель поосторонился, и девчушка страстно припала к замочной скважине...

— Какая красивая!.. А вы видели ее на сцене?

— Два раза, — гордо уточнил молодой человек. — А вам еще рано о театрах думать...

На этом разговор их окончился. Дальше смотрели молча.

Анастасия Семеновна Новицкая, бледная, с изможденным лицом, лежала в кровати, однако глаза ее были оживлены.

— Что Карл Людовикович? — возбужденно спрашивала она. — Какие у него планы?

— Все тот же, — говорила Авдотья Ильинична, прогуливаясь у окна. — Бушует, кричит... Разве что не бьет...

— Ну теперь-то тебя не очень пошьешь, — сказала Новицкая, бросая взгляд на ее роскошное платье.

— Да уж, — усмехнулась Истомина. — Теперь я, пожалуй, побую.

Она присела на краешек кровати.

— А правда, что он хочет ставить... Пушкина?

— затаив дыхание, спросила Настя.

Авдотья Ильинична потупила глаза.

— До этого еще далеко... Может быть, и хочет, да разве его спросишь?

— Я ужасно, ужасно хочу танцевать Пушкина! — разволновалась Новицкая. — Как ты думаешь, он даст мне партию?

— Обязательно даст, — соврала Истомина. — Ты только поправляйся скорее.

— А если этот человек опять помешает мне?

— О ком ты? — внешне удивилась Авдотья Ильинична, хотя и догадалась про себя. — Помоему, нет такого человека, кто желал бы тебе зла...

— Есть. Я чувствую... — Лицо Новицкой затуманилось...

Усилием воли она прогнала тревожащую ее мысль, провела рукой по волосам Истоминой, по лбу, слегка погладила черные круги под глазами...

— Господи, какое будет счастье, если я снова смогу танцевать, как раньше, и с тобой!..

— Счастье... — бесцветно повторила ее подруга. — Только знаешь... Я больше танцевать не буду! — она вымученно улыбнулась.

— Что... Ты что это?!

— Кровь на мне, Настенька, кровь!.. — простонала Авдотья Ильинична. — Человека из-за меня убили... Да что говорить! Вот уж пять лет прошло, а он мне все снится. Пойду в церковь, поставлю свечку — перестает. А потом опять — молчаливый, незнакомый...

— Да, я слышала... Но что же теперь делать?

— Все, что я могу сделать, — это уйти из этого болота...

— Не выдумывай! Ты ведь танцорка милостью Божьей...

— Ошибаешься... Я — обыкновенная дрянь. Это ты у нас — свет.

— Я-то? — грустно спросила Новицкая. — Нет, Настенька... Я за время болезни многое передумала и теперь буду другой...

Истомина пылливо посмотрела на нее, чувствуя какую-то перемену в подруге. Сказала:

— По-моему, Настя, ты всегда жила по-правде...

— А в чем она, правда-то? — прошептала Новицкая. — Может быть, вся правда в том, чтобы мы не делали того, что делать не умеем, к чему не подготовлены, — у нее перехватило дыхание, — а делали бы то, к чему призваны... У кого призвание — борьба или, как ты сказала, — правда, тот пусть и живет по своей правде. А наша правда — это танцевать и дарить людям радость... Пускай от нас требуют

каких-то услуг, не надо отказываться, не в них главное...

— Это в тебе говорит болезнь, — вывела Авдотья Ильинична.

— ...ты сказала, что уйдешь из нашего болота, — не слыша ее, продолжала Новицкая, все более накаляясь, — а сама не знаешь, куда пойдешь, наверное, на панель...

— ...я и так на панели...

— ...это сейчас, в своем зените!.. Нам лишь бы ничего не делать! Из-за чести, из-за высоких принципов!.. Но нет!.. Я все поняла... я встану, я ведь встану, правда?

— Встанешь...

— ...и все пойдет по-другому! Ты можешь уходить, а я остаюсь! — Голос ее звенел. — Я все буду делать! Буду последней тряпкой в ногах у любого! Лишь бы танцевать... танцевать! — Из глаз ее брызнули слезы. Она в изнеможении откинулась на подушку. После паузы сказала: — Дуня, мне кажется, я не переживу эту зиму...

— Глупости! Тебе кушать надо побольше... — шептала Истомина, целуя ее заплаканное лицо. — Я тут принесла тебе...

— Нет, — ответила Новицкая, — кушать я не могу. Он у меня все съедает!..

Авдотья Ильинична внутренне сжалась. Не подавая виду, спросила по возможности спокойно:

— Он — это кто-то из родственников?..

— Граф Милорадович ко мне часто приходит, — объяснила Анастасия Семеновна. — Я-то его не вижу. Только слышны мне его шаги за дверью. А потом — чавканье.

— Ну что ты... Зачем графу приходиться сюда? — пыталась успокоить ее Истомина.

— Сама знаешь, зачем...

— Настенька! Граф не такой уж злодей, как тебе кажется...

— Он все съедает! — упрямо твердила Новицкая. — Подлец, подлец!..

— Настя! Настя!..

— У-у!..

Слова больной перешли в какой-то угрюмый вой, потом — в бормотание. Глаза сделались бессмысленными.

От неожиданности Истомина вскочила и, перепугавшись, выбежала из спальни. Туда бросилась сиделка...

И еще долго, когда Авдотья Ильинична спускалась по лестнице, в ушах ее стоял голос Новицкой: «Подлец! Подлец! У-у!!»

Истомину душило горе. Наверное, поэтому она решила не ехать домой, там слишком тоскливо и страшно... Так куда, куда же?! Да к старым друзьям! Может, они помогут...

— На Петергофскую дорогу, в «Красный кабачок!» — приказала она кучеру.

Кабачок был пуст. Все кресла, стоявшие у длинного стола, оказались затянутыми траурными лентами. Одно лишь место было занято живым человеком — плешивым «председателем». Он и молчаливый хозяин «Кабачка» только и находились здесь из людей.

— Авдотья Ильинична! — всплеснул руками Плешивый, вскакивая ей навстречу. — Какими судьбами?! — Но, по-видимому, сам испугавшись собственного голоса, сразу перешел на шепот: — Сколько лет, сколько зим... — Оглянувшись на темные углы и только после этого осмелился поцеловать руку.

— Да... Давненько я здесь не была... — Истомина окинула взглядом полутемные своды, как бы вспоминая ушедшие годы. — Где же остальные?

— Тс-с!.. — зашипел «председатель», прикладывая палец к губам. — Новый генерал-губернатор свирепствует! — Он еще раз оглянулся. — Кто перебит в дуэлях, кто взят без свидетелей... Милорадович — зверь!

— Ужасно, — согласилась Авдотья Ильинична. — А где... Завадовский?

— В Англии. Все связи пустил в ход...

— А Грибоедов где, Александр Сергеевич?

— На Кавказе! И Чох — там же...

— Здорово вас раскидало, — вздохнула Истомина. — Ну а этот Чернявый, иностранных кровей?

Тут уж Плешивый вообще перепугался до обморока.

— Сгинул! Как появился неожиданно, так и пропал!.. Только я еще держусь! — докончил он плаксиво.

Замолчал с открытым ртом. Истомина некоторое время ждала продолжения, а потом сказала:

— Позвольте мне спросить, чем же все-таки занимались ваше «Общество»?

Плешивый замахал на нее руками.

— Что вы! Разве в России можно чем-нибудь заниматься?! Тут только всяким пушкиным хорошо! — и добавил ужасным шепотом: — Азия-с!..

— Прощайте, — тяжело вздохнула Авдотья Ильинична.

— ...как это сказано, Александр Александрович? — спросил Милорадович, попыхивая трубкой. — «Настало тогда великое молчание»?

— С тех пор как вы стали генерал-губернатором, жизнь вошла в свои берега... А с отъездом господина Пушкина вообще поскучнела, — двусмысленно сказал Шаховской, глядя куда-то в потолок.

— Да? Не знаю. Не заметил. А театр? А журналы? Нет. Он был у меня, этот Пушкин. Мальчишка! Когда его привезли, я ему так и сказал:

«Мальчишка! Чего вы хотите? Соловков?» А сам-то, сам-то князь, такой жалкий... Сюртук обтрепанный, а лицо...

— Я имею честь знать господина Пушкина, — пробормотал Александр Александрович, скрепя руки на толстом животе. — Так что не трудитесь, граф, описывать его внешность...

— Вот как? Воля ваша, князь. — И Милорадович шутливо погрозил ему пальцем. — Любопытство не доведет вас до добра. Но оставим эту материю. Согласимся, что сейчас, слава Богу, двадцать второй год, и те, кто шумел, успокоились!

Шаховской учтиво кивнул. Надо заметить, что за прошедшие пять лет Александр Александрович как-то изменился. То ли фрак уже не сидел на нем мешком, то ли лицо вытянулось и заострилось, только вид его стал более собранным, да и глаза глядели решительнее.

— А что у Дидло? — перевел разговор Милорадович. — Есть ли новые звезды?

— За последний год в его труппе появилось несколько обещающих танцовщиц...

— Но уж с Истоминой никто не сравнится, — вздохнул глубоко Михаил Андреевич.

— Конечно, никто, — серьезно ответил Шаховской. — Ей ведь уступили место старшие... Госпожа Новицкая перестала танцевать.

— Новицкая? — рассеянно спросил Милорадович. — Что же с ней, годы?

— Не только, граф... Говорят, заболела нервной горячкой...

— Прискорбно. — И Милорадович выпустил изо рта кольцо дыма. — А не угодно ли, князь, принять сражение? — и он указал на расставленные шахматные фигуры.

— Если это доставит вам удовольствие... — вздохнул Александр Александрович, присаживаясь за доску.

Под столом он сразу же сжал кулак, да так энергично, что даже суставы затрещали. По традиции, он предоставил первый ход Милорадовичу.

— Каким же новым спектаклем порадует нас месье Дидло? — спросил Михаил Андреевич.

— «Кавказским пленником»... — Кулак под столом был крепок.

— Это что, Байрона?

— Это господина Пушкина сочинение, — сказал Шаховской, обдумывая ход.

Граф Милорадович в крайнем удивлении воззрился на него.

— Что я слышу, князь... Этого... мальчишки?

— Господина Пушкина, — упрямо повторил Шаховской, сжимая кулак все крепче.

— Так... — растерялся Милорадович. — Но вы-то, надеюсь, объяснили, как начальник репертуарной части...



— Господин Дидло поделился со мной своим замыслом, и я обещал ему поддержку.

— Не понимаю! — Михаил Андреевич только глазами моргал.

Шаховской оторвался от доски и прямо глянул в лицо теперешнему генерал-губернатору.

— Что вы находите в этом, граф, противогосударственного? Господин Пушкин не арестован. Поэма его дозволена цензурой и пользуется успехом в литературных кругах. Я не пойму...

— Ничего, нет, — Милорадович расстроился совершенно.

Его расстроила даже не новость, что Пушкин просочился на столичную сцену, а тот уверенный и непреклонный тон, который появился вдруг у Александра Александровича.

— Извините меня, любезный граф, — сказал Шаховской, чувствуя в себе волю. — Но я сегодня не в духе... и нашу партию придется отложить!

— Да, конечно, — пролепетал Милорадович, готовый ко всему.

— ...Господин Дидло просит принять его! — доложил слуга.

— Проси! — сказал Михаил Андреевич безнадежно. — Не помяни черта, он и не появится...

...Карл Людовикович вошел к ним, волоча

левую ногу по паркету. Поклонился. Начал по-французски:

— Извините, ваше превосходительство, что я без приглашения. Но я всего лишь на минуту...

— Отчего же, любезный господин Дидло? Присаживайтесь. Что у вас с ногой?

— Подвернул на репетиции. Я, ваше превосходительство, приехал просить за артистку Новицкую...

Милорадович поднял брови вверх.

— Она тяжело больна... Вряд ли уже вернется на сцену...

— Ну и что? Освободим от службы...

— Ей нужна пенсия. И, принимая во внимание ее обширное семейство, пенсия повышенная...

— Да, — сказал Михаил Андреевич, будто бы своим мыслям. — Что ж мы, звери какие? Похлопочу перед государем. Обещаю. Да.

— И кроме того, ваше превосходительство, — продолжал Дидло, окрыленный податливостью губернатора, — суть ее болезни такова, что только вы смогли бы ей помочь...

— Не понимаю.

— Не смею вам советовать... Но если бы вы изволили навестить ее и успокоить, то, думаю...

— Вам надобно сделать это, граф, — с улыбкой поддержал Шаховской предложение Дидло.

Милорадович тяжело дышал.

— Вот ведь как навалились! — прохрипел он.

— Ладно... Извольте! Только вот что, князь, я бы хотел вам заметить...

— Что? — спросил Шаховской.

— Ничего, — вздохнул Михаил Андреевич. — Это я так. Забыл уже...

Карл Людовикович, воодушевленный своей победой, возвращался от Милорадовича. Проезжая мимо дома, у подъезда которого толкалась молодежь, он остановил карету и отворил дверцу...

— Не приходила... — донеслось до него. — Нету...

— Да она там, там! — возразил кто-то. — Говорят, что нету, сама дома сидит...

Дидло усмехнулся. Вынул из сюртука небольшой конверт и сказал кучеру:

— Вручи лично госпоже Истоминой. Скажи, что от меня...

Кучер пошел к дому, а Дидло, блаженно потянувшись, стал ждать его возвращения.

По воскресеньям у него бывали обеды, на которые приходили многие известные иностранцы, находившиеся тогда в Петербурге. Не брезговали являться на них и представители дипломатических корпусов.

— ...кого мы ждем, господин Дидло? — поинтересовался у него французский дипломат.

— Одну госпожу, известную вам, барон... Впрочем, она настолько ветрена, что может и подвести...

— Я давно хотел у вас спросить, не тянет ли вас на родину?

— Древние говорили, где хорошо, там и родина. Здесь я могу работать, значит мне хорошо. А Франция... Там я хочу умереть.

— Вы выучили их язык?

— Не совсем, барон. Недавно мне попалась одна любопытная вещьца, писанная в стихах... Очень трудная для перевода. Но мне помогли, и я ее одолел... — Дидро запнулся, к чему-то прислушиваясь. — Извините, барон. Я оставлю вас на минуточку...

— Извольте...

И Карл Людовикович пошел встречать ту, чей приезд он так ждал. Вышел в прихожую...

— Здравствуйте, Карл Людовикович. — Истомина подала ему руку.

— Как всегда, опаздываете, — проворчал он, чтобы скрыть радость от ее приезда. — Отчего не снимаете шубы?

— Я хотела поблагодарить вас за приглашение. Собственно, для этого я и приехала... Но сейчас же уеду от вас...

— Ну да, ну да. Как это у вас называется, сплин? Не танцуете и нигде не бываете... И долго это будет продолжаться, госпожа моя?

— Может быть, всегда, — прошептала Ав-

дотья Ильинична. — Прощайте.

Хотела уйти, но, бросив взгляд на Дидло, задержалась. Вид Карла Людовиковича был страшным.

— Предательница! — вымолвил он. — Иудино семья!

— А вы бы что хотели?! — страшно спросила Истомина. — Кругом один смрад! Настя Новицкая умирает! Люди погибают ни за что... Из-за меня умер человек... Мой любимый человек! А вы бы хотели, чтобы в это время я пла и жрала? Нет уж, Карл Людовикович, увольте! — И войдя в истерический раж, продолжала: — Не получится нам сидеть за одним столом! Ведь вы сводник, Карл Людовикович. Вы же торгуете всеми нами! А кто отказывается — умирает... И это Искусство? Аполлон?! — Она сатанински рассмеялась. — Тьфу на него! К черту! К черту!...

И здесь Дидло изо всех сил ударил ее... Истомина отлетела к стене. Если бы не стена, наверное бы, упала. А перекошенный гневом Карл наклонился к ней, как колдун, как инквизитор, и страшно зашептал:

— Если бы я вас не сватал, вы бы давно передохли! Дура! Это же единственный путь, чтобы выжить...

— Свою дочь вы бы так не сватали...

— Не сравнивайте несравнимое! Моя бы дочь не была голодной. Она бы могла жить по чести!

— Значит, вы признаете, что занимались бесчестным делом... — прошептала Истомина. Из глаз ее от напряжения покатались слезы.

— Нет, нет, нет!!! Для меня важно, чтобы вы все были сыты, одеты! Чтобы после холодной сцены могли согреться! Неважно, где! Но чтоб согрелись! А свадьбы, семья и прочее... Сами должны знать, что людям вашего круга этим не согреться.

— Знаю. А честь... С честью-то как же?..

— Есть вещи поважнее вашей чести! — вымолвил страшный Карл и торжественно поднял указательный палец. — Это Великое Искусство. Когда нас не будет, оно останется! И значит, о нас будут помнить только через него!

— Не будут! — отрезала Авдотья Ильинична. — Уж скорее будут помнить о тех, кто пытался изменить эту отвратительную жизнь, кто не соглашался, чтобы ими торговали...

— Это кто ж такие? — насмешливо спросил Карл. — Революционеры, что ли?

— Может быть...

И тут Дидло захохотал. Страшно, зло...

— Да знаете ли вы, — закричал он, — что это я — единственный в мире революционер?!

И его понесло... Поскольку он потерял в запальчивости над собою контроль, то гово-

рил исключительно на французском, отчаянно жестикулируя и гримасничая:

— Я — последний живой революционер! Никто этого не понимает, ослы, идиоты! Я делаю революцию, ужасную революцию! Я меняю балет в существе своем! Я научил вас стоять на пальцах и скоро научу летать, подобно птицам! Я изгоняю пантомиму и ввожу ее в танец! А мне только чинят препятствия! Опаздывают на репетиции! Пьют по ночам со своими мальчишками! Уходят из моего дома, когда их приглашают на обед! Отчего я не Дантон? Лучше бы мне отрубили голову! Лучше бы я сдох на гильотине! Я последний революционер!..

Но чем больше он кричал на своем французском, тем спокойней, даже веселее становилась Авдотья Ильинична. Мир, который в последнее время терял для нее очертания, снова стал отчетливым и ясным. Перед ней каркал страшный Карл, обнаруживая недюжинную энергию. Значит, все в порядке. Значит, еще можно жить...

Когда он выдохся, Авдотья Ильинична тихонько попросила:

— Карл Людовикович, миленький! Я ничего не поняла! Объясните мне это по-русски!

Дидло тяжело дышал.

— По-русски... — пробормотал он, — это будет то, что мы должны быть бесстрашны. Мы, трудолюбивые дети Аполлона, должны прилагать все старания, чтобы найти новые дороги в искусстве нашем. Расширять круг его действия и усугублять усилия и ревность по мере того, как углубляются препятствия на нашем пути...

Он замолк.

— Да, — вздохнула Авдотья Ильинична. — Я все-таки ужасно люблю вас, Карл Людовикович!

— То-то! — сказал он.

Истомина была прекрасна. Щеки ее цвели румянцем, правда, та, по которой ударил Дидло, была несколько краснее. Держа Карла Людовиковича под руку, она вошла с ним с гостиную, и он представил ее:

— Авдотья Ильинична Истомина!..

И, как писали в старых романах, «все окаменели от ее красоты».

— Мы, кажется, не докончили разговора, барон, — сказал Дидло, подводя Истому к французу.

— Да, да... — Тот поцеловал руку Авдотье Ильиничне. — Вы говорили, что прочли нечто интересное на русском...

— Это сочинение господина Пушкина «Кавказский пленник». Мне принесли его в списке, и я не мог оторваться, пока не понял всего... Буду делать по нему балет. И главную партию

будет танцевать госпожа Истомина.

Барон только улыбнулся, не смея отвести взгляда от цветущего лица Авдотьи Ильиничны.

— А вам нравятся сочинения господина Пушкина? — спросил он.

— Да, — сказала Истомина. — Мне нравится все, что нравится господину Дидло...

Граф Михаил Андреевич Милорадович ехал в своей карете и напевал под нос песню, которая была любима офицерством того времени:

Чимбиряк, чимбиряк, чимбиряшечка!  
С голубыми вы глазами, мои душечки!

Что значит «чимбиряк», Михаил Андреевич не знал. Да и напевал песню скорее от нервов, потому что ехал к Анастасии Семеновне Новицкой.

У дома, где она снимала комнаты, карета остановилась. Милорадович вышел и вместе с лакеем стал подниматься по черной лестнице. Позвонил...

Дверь открыл Мишель с испуганными глазами.

— Госпожа Новицкая здесь проживает?

— Здесь...

Михаил Андреевич вошел в прихожую и сбросил шинель свою на руки лакею.

Здесь, откуда ни возьмись, появилась старуха с неприбранными седыми волосами. Увидев гостя в ленте и орденах, повалилась ему в ноги:

— Ваше превосходительство! Не оставьте нас своей милостью! Помогите! — Хотела поцеловать ему руку, но Михаил Андреевич одернул, как-то испугавшись.

— Конечно. Да... Вы поднимитесь. — Он сильно поднял плачущую старуху. — Проведите меня, матушка, к Анастасии Семеновне. Она может принять?

— Пойдемте...

Старуха пошла в спальню. Милорадович вошел вслед за ней и увидел Новицкую, бледную, с гладко зачесанными волосами. Анастасия Семеновна лежала с открытыми глазами. Еще генерал-губернатор отметил про себя, что в спальне было тихо-тихо...

— К утру остыла, — сообщила меж тем старуха.

Милорадович машинально кивнул.

— Не знаем, на какие средства хоронить!..

— Об этом не беспокойтесь, — говорил генерал, пятясь к двери. — Государь не оставит вас... Похороны я возьму на себя...

— Спасибо, ваше превосходительство! — Старуха снова бросилась ему в ноги...

Лакей набросил на плечи шинель, и Милорадович быстрым шагом ретировался из неприятной квартиры. У дверей, ведущих на улицу, от замедлил свой бег.

— Я — солдат, — объяснил он черным ступенькам. — Я — солдат, — обратился он к своей карете.

И, когда ехал назад, уже обращаясь только к себе, твердил задумчиво:

— Я — солдат, солдат!..

— Па шассе! — скомандовал Дидло.

Авдотья Ильинична прыгнула.

— Скверно, госпожа моя. Еще раз!

Истомина прыгнула еще раз.

— У-у!!! — заскрежетал Карл Людовикович и схватил свою палку.

И, прыгнув в третий раз, Авдотья Ильинична вдруг ощутила, что лишилась собственного веса.

Она летела над пустым темным залом. Она летела над нарисованными горами, изображавшими Кавказ. Над висящей люлькой с муляжем ребенка, что была прикреплена к воткнутому в сцену саблям. Над фигурантками, которые только что поступили в театр. Над самим Дидло, великим Дидло, который сам никогда не летал столь высоко и сейчас с одобрением и ревнивой завистью наблюдал снизу ее полет.

Она летела, летела. И не желала опускаться...

Аплодисментов не было. Театр молчал.

*Рисунки Анастасии Рюриковой*



# К 100-ЛЕТИЮ КИНЕМАТОГРАФА

Нам повезло: в редакцию принесли оригинальный сценарий фильма "Касабланка" с собственноручными пометками режиссера.

Это был знаменитый фильм, лауреат трех Оскаров, ставший классикой Голливуда...

6/9/42 76.

134 CONTINUED: (1)

RENAULT  
I am afraid not. I regret, M'sieur.

LASZLO  
(casually)  
Well, perhaps I shall like it in Casablanca.

STRASSER  
And Mademoiselle?

ILSA  
You need not be concerned about me.

LASZLO  
(prepares to rise)  
Is that all you wish to tell us?

STRASSER  
(smiles)  
Do not be in such a hurry. You have all the time in the world. You may be in Casablanca indefinitely...  
(suddenly leans forward, speaks intently)  
Or you may leave for Lisbon tomorrow. On one condition.

VICTOR  
And that is?

STRASSER  
(leaning forward, speaking intently)  
You know the leader of the Underground Movement in Prague, in Paris, in Amsterdam, in Brussels, in Oslo, in Belgrade, in Athens.

LASZLO  
-- even in Berlin.

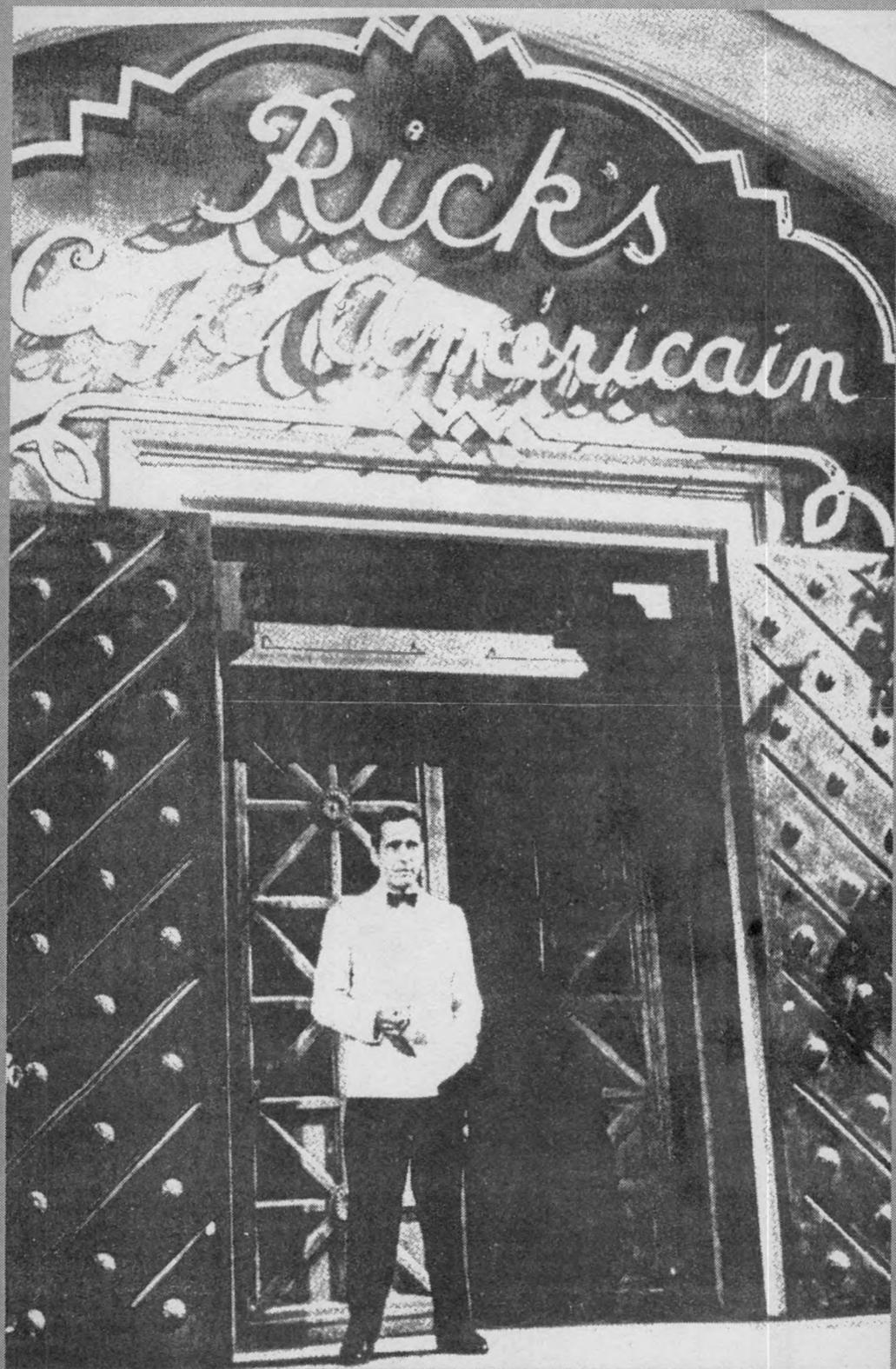
STRASSER  
Yes, even in Berlin. If you will furnish me with their names and their exact whereabouts -- you will have your visa in the morning...

RENAULT  
(tongue in cheek again)  
And the honor of having served the Third Reich!

LASZLO  
I was in a German concentration camp for a year. That is honor enough for a lifetime.

(CONTINUED)

*Handwritten notes in Russian:*  
Франсуа  
Франсуа  
РЕАССУМ  
Говорю по делу  
пытать him  
is his  
piece  
Визы  
проpositions  
тампин  
москвич  
спирит of it



Джулиус Дж. Эпстайн  
Филип Г. Эпстайн  
Говард Коч

# КАСАБЛАНКА

(По пьесе Мюррея Бернетта и Джоан Элисон "К Рику приходят все")

Режиссер: Майкл Кертис

Продюсер: Хэл Уоллис

Из затемнения: вращающийся глобус.

Глобус оживает: со всех концов Европы ручейками стекаются к одной точке на севере Африки толпы крохотных человечков.

На этом изображении возникает голос рассказчика.

**Рассказчик** : Беженцы... Изю всех уголков Европы устремились они в Новый Свет, к свободе. Все взоры обращены в сторону Лиссабона: это - порт отправления. Но попасть в Лиссабон прямым путем удается не каждому. И тропа беглецов свернула от Парижа к Марселю... (Ожившая карта иллюстрирует маршрут, о котором говорит рассказчик.) Пересекла Средиземное море... От Орана по краешку Африки надо добираться - поездом, автомобилем, а то и пешком - до Касабланки, во Французском Марокко.

Рельефный план Касабланки. По одну сторону океан, по другую - пустыня. За кадром голос рассказчика.

**Рассказчик**: Здесь счастливики получают выездные визы - кто за деньги, кто благодаря связям, а кому и просто повезет - и сразу в Лиссабон, а оттуда в Америку. А невезучие останутся ждать в Касабланке... и будут ждать... ждать... ждать...

Старая мавританская часть города.

Сначала видны только башенки и крыши на фоне раскаленного неба. Даль в дымке. Камера панорамирует вниз по фасадам мавританских домов, и мы видим узенькую кривую улочку туземного квартала, кишашую кривонозычным людом. Палящее солнце пустыни создает ощущение покоя и неги: никто никуда не торопится, звуки приглушены... И вдруг вой сирены взрывает тишину. С криками разбегаются в поисках укрытия женщины. Уличные торговцы, нищие и беспризорники прячутся за дверями домов... На полной скорости в кадр въезжает полицейская машина. Останавливается возле допотопной мавританской гостиницы - точнее сказать, ночлежки.

Туземные полицейские во французской форме взбегают по лестнице, врываются в номера и вытаскивают оттуда перепуганных беженцев...

Полицейский распахивает настежь одну из дверей. Видит на стене тень повесившегося на люстре мужчины - и захлопывает дверь...

На перекрестке двое других полицейских остановили европейца в гражданской одежде и беседуют с ним.

**1-й полицейский:** Ваши документы, пожалуйста.

**Европеец (нервничает):** У меня... С собой у меня их нет.

**1-й полицейский:** В таком случае вам придется пройти с нами.

**Европеец (щупает свои карманы):** Скорей всего, я их... А, вот же они!

Достает документы. **2-й полицейский** проверяет их.

**2-й полицейский:** Ваши документы просрочены. На целых три недели. Придётся вам...

Внезапно задержанный вырывается и кидается бежать. Слышен крик полицейского: "Стой!" Но беглец только прибавляет ходу. Выстрел. Европеец падает.

Прижавшись друг к другу, стоят в дверях Ян и Аннина — испуганные, ничего не понимающие свидетели чужой трагедии. Это муж и жена — очень молодые и привлекательные. Обстоятельства вырвали их из привычной среды и швырнули в этот незнакомый сумасшедший мир. Аннина судорожно сжимает локоть мужа. Оба смотрят, как полицейские обыскивают убитого.

Полицейская машина проносится мимо них. Ян берет жену за руку.

**Ян:** Наверно, префектура там.

Они направляются в ту сторону, куда поехали полицейские.

"LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE" вырезано по мрамору на фронте здания.

Козырек над парадной дверью; на нем надпись: "Palais de Justice".

Длинный хвост тянется по ступенькам до входа: просители всех возрастов и всех национальностей. В многоязычном говоре можно разобрать только отдельные слова: "виза", "месье ле префект", "Португалия", "сто франков" и т.п. Внезапно внимание всей очереди обращается на улицу.

Ко входу в префектуру только что подкатил полицейский фургон. На задней стенке — решетчатая дверь. Полицейский выпускает наружу пеструю кучку беженцев.

Уличное кафе на тротуаре. Англичане — пожилая супружеская пара — привстали со своих мест, чтобы лучше разглядеть толчею у входа в префектуру. Чуть поодаль, прислонившись к фонарному столбу, курит чернявый европеец. Английская чета интересуется его больше, чем происходящее на

улице.

**Англичанка:** Что там такое случилось?

**Чернявый (подходит к супругам):** Пardon, мадам. Неужели вы не слышали?

**Англичанка:** Мы мало что слышим... А понимаем и того меньше.

**Чернявый:** В пустыне обнаружены два убитых немецких курьера. (С иронической улыбкой.) В неоккупированной пустыне.

Перед "Palais de Justice" беженцев выгружают из полицейского фургона.

**Голос Чернявого (за кадром):** А это обычная облава на беженцев, на либералов, на... (Последней из фургона вылезает молоденькая блондинка; её гонят к префектуре вместе со всеми.) Ну, конечно. Красивая девушка — это для месье Рено, префекта полиции.

**Англичанка (озадаченно):** Не понимаю.

**Чернявый:** Как правило, беженцев и либералов через пару часиков отпускают. (Чуть улыбнувшись.) А девушку выпускают попозже.

**Англичанка (очень немолодая, с лошадиным лицом):** Выходит, женщина не может чувствовать себя в безопасности?

**Чернявый (пожав плечами):** Говорят, чтобы уехать из Касабланки надо заплатить два доллара за визу и двести — префекту. Если только вы не красивая молодая девица... Богатые и красивые улетают в Лиссабон. А бедные остаются у нас.

**Англичанка:** Какой ужас!

**Чернявый:** К сожалению, вместе с этими несчастными беженцами сюда из Европы понаехала всяческая мразь. Из них многие ждут визу годами. (Заботливо приобнял англичанина.) Месье, заклинаю вас: будьте осторожны! Держите ухо востро! Берегитесь!

**Англичанин (тронутый и смущенный этим внезапным проявлением заботы):** Э... Э... Спасибо. Большое спасибо!

**Чернявый:** Не за что. (Приподнимает шляпу) Бон жур, мадам! Бон жур, месье!

Он отходит. Англичанин, еще не оправившись от смущения, вытирает лоб носовым платком.

**Англичанин (засовывает платок в верхний кармашек):** Приятный парень, правда?

Почувствовав, что чего-то не хватает, расстегивает пиджак и проверяет внутренний карман.

**Англичанин:** Как глупо...



**Англичанка:** Что такое, дорогой?

**Англичанин:** Бумажник забыл в отеле!

Застёгивая пиджак, провожает глазами удаляющуюся фигуру своего чернявого собеседника — и по лицу пробегает облачко сомнения. Но в этот момент раздаётся рокот мотора идущего на посадку самолета. Все головы вскидываются вверх. Все глаза провожают самолет. Самолет — символ надежды.

К хвосту очереди пристраиваются Ян и Аннина. Они тоже провожают взглядом рокочущий в небе самолет.

**Аннина:** Может быть, завтра и мы полетим.

Ян грустно улыбается: он не так оптимистичен.

Снижаясь, самолет пролетает мимо неоновой надписи на здании возле аэропорта. Это вывеска кафе: “У Рика”.

Аэропорт. Капитан Луи Рено, назначенный правительством ВИШИ на должность префекта полиции в Касабланке, болтает с другими офицерами. Капитан — красивый француз средних лет, приветливый и жизнерадостный. Но палец в рот ему не клади — откусит. Возле него германский консул герр Хайнце, молодой итальянский офицер капитан Тонелли и адъютант префекта лейтенант

Кассель. В сторонке — отряд туземных солдат французской армии. Приземлившийся самолет подруливает к встречающим. Немец и итальянец отделяются от группы и направляются к самолету. Итальянец с трудом поспевает за энергичным немецким коллегой.

Дверка, украшенная свастикой, открывается. Первым на трап ступает высоченный немец. На нем очки в тяжелой роговой оправе, лицо непроницаемое: застывшую на губах полуулыбку легче объяснить повреждением лицевого нерва, чем добрым расположением духа. Если же майору Штрассеру кто-то осмеливается противоречить, улыбка исчезает, и лицо превращается в стальную маску. Герр Хайнце приближается к майору с поднятой в приветствии рукой.

**Хайнце:** Хайль Гитлер!

**Штрассер** (небрежно приподняв руку): Хайль Гитлер!

Они обмениваются рукопожатием.

**Хайнце** (по-немецки): Приятно снова встретиться с вами, майор Штрассер.

**Штрассер** (по-немецки): Спасибо, спасибо.

Штрассер отворачивается, чтобы поздороваться с Рено и Касселем. Герр Хайнце знакомит их.

**Хайнце** (по-английски): Разрешите

представить вам капитана Рено, префекта здешней полиции... Майор Штрассер.

Капитан и майор жмут друг другу руки.

**Рено** (вежливо, с почти неуловимой насмешкой): Неокупированная Франция приветствует вас на земле Касабланки.

**Штрассер** (на очень хорошем английском, лучась доброжелательством): Благодарю вас, капитан. Я буду рад погостить у вас.

**Тонелли:** Капитан Тонелли. Направлен в ваше распоряжение в составе итальянского персонала.

**Штрассер:** Очень любезно с вашей стороны.

**Тонелли:** Готовы всячески содействовать!

**Рено:** Майор, позвольте представить вам моего адъютанта, лейтенанта Касселя.

Кассель не протягивает немцу руки. Берет под козырек и ограничивается полупоклоном.

Рено ведет Штрассера к машинам, ожидающим на краю летного поля. Следом идут Хайнце и Кассель; шествие замыкает капитан итальянец.

**Рено** (опять с двусмысленным смешком): Возможно, майор, вам покажется, что тут, в Касабланке, жарковато.

**Штрассер:** О, нам, немцам, пора привыкать к любому климату — от России до Африки. (Внезапно улыбка исчезает, глаза становятся жесткими.) Но может быть, вы не климат имели в виду?

**Рено** (с невинной улыбкой): Не климат? А что, дорогой майор?

**Штрассер** (прежним ровным тоном): Кстати... Насчет убийства наших курьеров. Какие шаги предприняты?

**Рено:** Учитывая всю серьезность этого дела, мои люди провели облаву. Подозреваемых задержано вдвое больше обычного.

Взгляд Штрассера снова стал жестким.

**Хайнце:** Капитан Рено хотел сказать, что облава — это для маскировки. Кто убил, нам уже известно.

**Штрассер:** Отлично. Убийца арестован?

**Рено:** Торопиться ни к чему. Сегодня вечером он придет к Рикю. (Указывает на кафе возле аэропорта.) Все приходят к Рикю.

Хайнце пожимает плечами: этот Рено все делает по-своему!

**Штрассер:** Я уже слышал про это кафе. И про самого месье Рика слышал.

Они подходят к автомобилю.

Светящаяся вывеска "У Рика". Ночь.

Посетители проходят в кафе через вращающуюся дверь. Изнутри доносятся звуки музыки, смех.

"У Рика" — это ночной клуб, шикарный и дорогой. Играет оркестрик из четырех музыкантов. Пианино цвета семги маленькое, на колесиках. На вращающемся табурете сидит негр в ярко-синих брюках и спортивной рубашке. Он поет, сопровождая себя.

Крутом невнятный гомон и смех. Публика самая разная: тут и европейцы в смокингах, и их увешанные драгоценностями дамы в красивых платьях; тут и марокканцы в шелковых одеяниях, и турки в фесках, и левантинцы, и морские офицеры. Есть тут и воики из Иностранного Легиона: их легко отличить по плоским кепи.

Во всю ширину задней стены тянется стойка грандиозного бара.

Панорама по лицам посетителей — крупные планы.

...**Мужчина:** Ждем, ждем... Да никогда отсюда не выберется! Я так и подохну в этой Касабланке.

...**Плачущая женщина:** Я больше не могу!..

...**Мужчина:** Ну, ну, ну...

...Очень хорошо одетая дама разговаривает с мавром. Из драгоценностей на ней только браслет.

**Дама:** Вы не прибавите немножко?.. Ну, пожалуйста!

**Мавр:** Извините, мадам. Рынок просто завален бриллиантами. Все продают бриллианты! Куда ни глянешь — всюду бриллианты!.. Две тысячи четыреста.

**Дама** (подавленно): Ладно.

Мавр отсчитывает деньги, она отдает ему браслет.

...Разговаривают двое подпольщиков.

**Первый:** Грузовики уже ждут, люди готовы...

...За столиком двое мужчин.

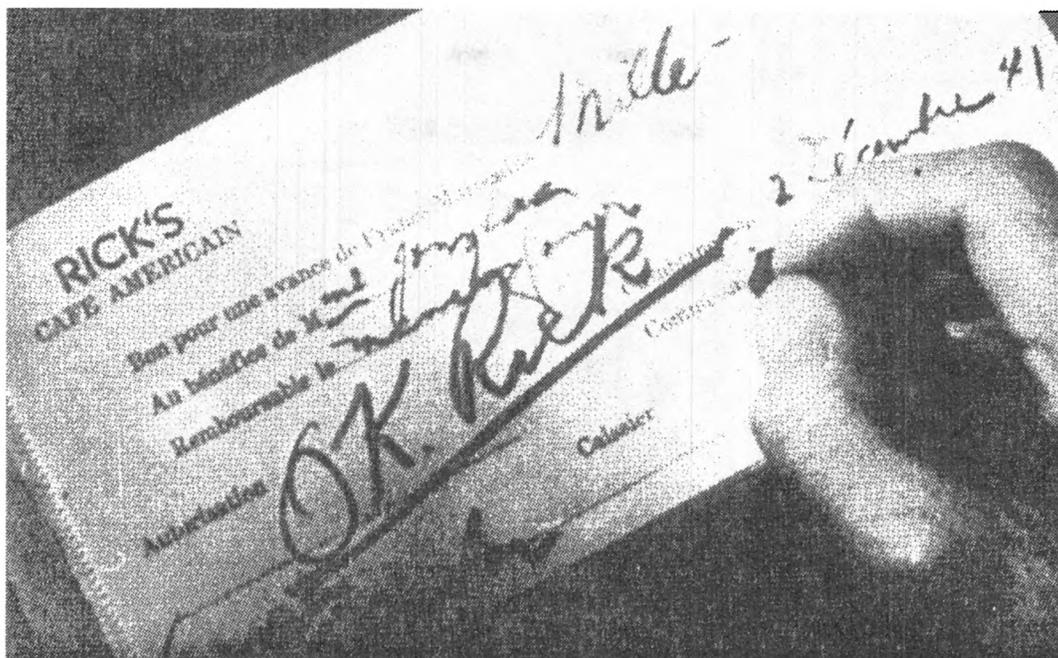
**Мужчина:** Рыбачий бот "Сантьяго". Отплываем завтра в час ночи, с причала Ла Медина. Лодка — третья с краю.

**Беженец:** Спасибо, огромное спасибо.

**Мужчина:** И захватите с собой пятнадцать тысяч франков наличными. Не забудьте — наличными!

Камера едет к бару мимо столиков. Слышна разноязычная речь. Тут и там можно уловить английское словечко или обрывок фразы. И вот мы у бара.

Бармен Саша — русский. Это рослый



жизнерадостный мужчина в шелковом пиджаке. Он наливает клиенту виски, приговаривая по-русски: "Пей до дна!" Потом окликает идущего мимо официанта:

— Карл!

Официант поворачивается кругом, идет к бару. Карл - маленький тихий человек в очках. Саша ставит на поднос несколько фужеров, показывает Карлу, куда отнести.

С подносом в руке Карл подходит к двери, которую охраняет здоровенный верзила.

**Карл** (верзиле): Открой, Абдул.

**Абдул** (открывая дверь, почтительно): Пожалуйста, герр профессор.

Карл проходит внутрь. Это игорный зал.

Карточный стол. Женщина дает крупье чек. Он поворачивается и передает чек старшему. Тот смотрит на чек, смотрит на женщину.

**Старший** (женщине): Одну минуточку.

Идет к другому столу, к Рикку.

Рик — американец неопределенного возраста. Он один за столиком. Разглядывает фужер в своей руке. Глаза ничего не выражают — как и лицо, абсолютно бесстрастное.

Поглядев на сомнительный чек, Рик пишет карандашом на обороте "О'кей. Рик".

Другой столик. Две женщины и мужчина. Карл готовит им кофе по-турецки. Женщины с интересом смотрят на Рика.

**Женщина** (Карлу): Спросите у Рика, не

хочет ли он выпить с нами?

**Карл**: Мадам, Рик никогда не пьет с посетителями. Разве только сам пригласит за свой столик.

**2-ая женщина** (глянув на Рика; разочарованно): С чего это трактирщики стали такими снобами?

**Мужчина** (протягивает Карлу деньги): А если сказать ему, что в Амстердаме я управлял вторым по значению банком?

**Карл** (покачав головой): Это на него не подействует. Главный амстердамский банкир работает у нас кондитером, а его отец швейцаром.

Рик смотрит в сторону открывшейся двери и знаком показывает: не впускать! У входа скандал. Слышно, как кто-то кричит с немецким акцентом:

— Какое нахальство! За кого вы меня...

Рик встает и с тем же бесстрастным видом направляется к двери.

Раскрасневшийся немец кричит на Абдула.

**Немец**: Я знаю, что у вас идет игра! Об этом знают все! По какому праву меня не пускают?!

**Рик** (холодно): Да? О чем спор?

**Саша**: Э-э... Этот господин...

**Немец** (размахивая кредитной карточкой): Я играл во всех казино от Гонулулу до Берлина. И если вы воображаете, что ваш кабачок лучше всех, то вы очень ошибаетесь!



В кафе заходит Угарте, тощий суетливый человек. Будь он американцем - типичный ипподромный жучок из Чикаго! Угарте с интересом наблюдает за Риком и немцем.

**Угарте** (протискиваясь между спин): Э-э... Извините, пожалуйста... Привет, Рик.

Рик спокойно смотрит на немца, берет его кредитную карточку и рвет на куски.

**Рик** (немцу): В баре будете платить наличными.

**Немец**: Что? Да вы знаете, кто я?!

**Рик** (холодно): Знаю. Скажите спасибо, что вас пускают в бар.

**Немец**: Это возмутительно! Я буду жаловаться!

Рик отворачивается от брызжущего слюной немца. Ловит на себе взгляд Сэма: негр, не переставая играть, следит за происходящим. Он подмигивает Рикю, и тот отвечает - не совсем улыбкой, но чем-то похожим; по-другому Рик улыбаться не умеет. Нетрудно понять, что к негру у Рика особое отношение.

Рик возвращается в бар. К нему подсаживается Угарте. Никого из посторонних рядом нет.

**Угарте** (льстиво): Ха! Я видел, как вы разделились с Дойче Банком. Знаете, Рик, можно подумать, что вы этим занимались всю жизнь.

**Рик** (слегка напрягшись): А кто тебе сказал, что это не так?

**Угарте**: Никто. Но когда вы приехали в Касабланку, я подумал...

**Рик** (холодно): Подумал что?

**Угарте** (боится обидеть Рика; со смешком): А правда: кто дал мне право что-то думать?... (Спешит переменить тему.) Слыхали про этих германских курьеров? Какой кошмар, а?

**Рик** (равнодушно): Им повезло. Вчера - никому не известные почталыоны, сегодня - герои, павшие за фатерлянд.

**Угарте** (покачивая головой): Простите за откровенность, мсье Рик, но вы ужасный циник.

**Рик**: Прощаю.

Бармен ставит перед Риком и Угарте по фужеру.

**Угарте**: О, спасибо... Вы не согласитесь выпить со мной?

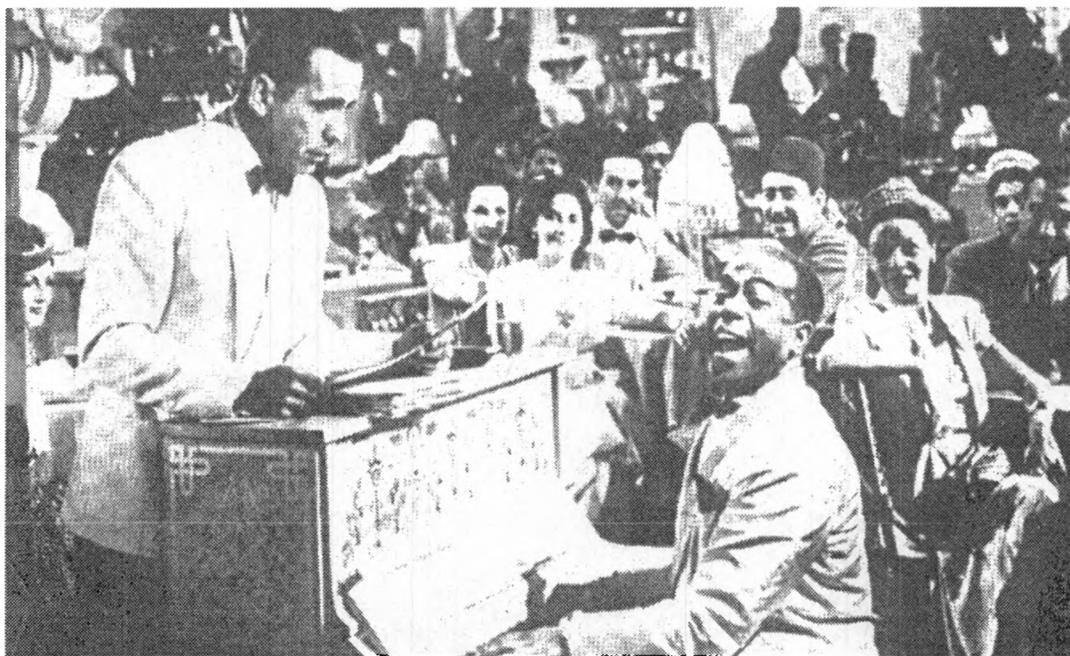
**Рик**: Нет.

**Угарте** (грустно): Вы меня презираете, да?

**Рик**: Было б у меня время подумать о тебе - вероятно, презирал бы.

**Угарте**: Вам не нравится моё занятие. Но подумайте про несчастных беженцев. Они бы гнили и гнили в этой дыре, если б не я. Неужели так ужасно, что я достаю для них выездные визы?

**Рик** (глядя в свой фужер): Не бесплатно, Угарте, не бесплатно.



**Угарте** : Но у этих бедняг нет таких денег, какие дерет с них Рено. Я беру вдвое меньше. И за это вы считаете меня паразитом?

**Рик** (поворачивается к Угарте): Я не против паразитов. Не люблю только паразитов-благодетелей.

**Угарте** : Вообще-то, я завязываю с этим делом. Рик, я покидаю Касабланку.

**Рик** : Кому же ты дал взятку, чтобы получить визу? Рено или себе?

**Угарте** (с усмешкой): Себе. Со мной оказалось легче договориться. (Достает из кармана пакет, подбрасывает на ладони.) Знаете, что здесь? Такого и вы никогда не видели. (Понизив голос.) Это транзитные пропуска за подписью маршала Вейгана. Они действительны на предъявителя и не подлежат проверке.

Рик смотрит на Угарте, потом протягивает руку за конвертом.

**Угарте** : Секунду!.. Сегодня я их продам за такие деньги, которые мне и не снились. И тогда — адью, Касабланка! Рик, у меня в Касабланке много друзей, но вы меня презираете, и поэтому вы единственный, кому я доверяю. Можете поддержать эти пропуска у себя?

**Рик** : Сколько времени?

**Угарте** : Может, час, может, подольше.

**Рик** (берет пакет): Чтобы к утру их здесь не было.

**Угарте** : Не беспокойтесь. Пожалуйста, поддержите их пока. Спасибо. Я знал, что на вас можно положиться.

Мимо идет официант.

**Угарте** : Официант!.. Я жду одного человека... Если меня спросят - я здесь.

Кивнув, официант отходит. Угарте поворачивается к Рику.

**Угарте** : Рик, теперь, надеюсь, вы изменили обо мне мнение?.. Если позволите, пойду поделюсь своей удачей с вашей рулеткой.

Он двинулся к игорным столам.

**Рик** : Постой. Не спеши.

Угарте останавливается, Рик подходит к нему вплотную.

**Рик** (тихо-тихо): Я слышал, эти германские курьеры везли с собой транзитные пропуска.

**Угарте** (медлит с ответом): Да, я тоже слышал... Бедняги.

Рик пристально смотрит на него.

**Рик** (медленно): Ты прав Угарте. Я несколько изменил свое мнение.

Улыбнувшись, Угарте бодрым шагом направляется к рулетке. Рик выходит в кафе.

Аккомпанируя себе, Сэм в сопровождении оркестра поет "Постучи по дереву". В кафе полумрак. Луч прожектора направлен на Сэма, но каждый раз, когда доходит до припева -

“постучи...” - световое пятно перемещается на оркестр.

Рик идет от дверей игорного зала к пианисту.

Пока луч прожектора задерживается на оркестре, он незаметно сует пакет с транзитными пропусками под крышку пианино. Затем отходит к бару.

Феррари, сидевший в одиночестве за маленьким столиком, увидел Рика у стойки, двинулся к нему.

**Феррари** : Привет, Рик.

**Рик** : Привет, Феррари. Как идут дела в “Голубом Попугае”?

**Феррари** : Замечательно. Но я хотел бы купить ваше кафе.

**Рик** : Не продается.

**Феррари** : Вы же не слышали мою цену.

**Рик** : Не продается ни за какие деньги.

**Феррари** : А сколько вы бы взяли за Сэма?

**Рик** : Я не торгую людьми.

**Феррари** : Очень жаль. Это в Касабланке самый ходовой товар. На одних беженцах мы бы сколотили целое состояние - если бы работали вместе на черном рынке.

**Рик** : Давайте так: я занимаюсь своим делом, вы — своим.

**Феррари** : Давайте так: спросим Сэма. Может быть, он не возражал бы против перемены.

**Рик** : Давайте так.

Негр за пианино. Номер только что кончился. Подходят Рик и Феррари.

**Рик** : Сэм, Феррари хочет, чтобы ты работал у него в “Голубом попугае”.

**Сэм** : Мне и тут хорошо.

**Рик** : Будешь получать вдвое больше, чем у меня.

**Сэм** : А я и этого не успеваю истратить.

**Рик** (с улыбкой) : Уж извините, Феррари...

Подмигивает Сэму.

Феррари отходит.

У длинной стойки бара Ивонна, сидя на высоком табурете, пьет коньяк. Саша наполняет бокал, глядя на нее влюбленными глазами.

**Саша** (с сильным русским акцентом) : Ивонна, это из личных запасов босса. Потому что я тебя люблю.

**Ивонна** (мрачно) : Ой, заткнись.

**Саша** (ласково) : Из любви к тебе заткнусь.

Подходит Рик, небрежно опирается на

стойку рядом с Ивонной. На нее он не обращает внимания. Она обиженно смотрит на Рика, но молчит.

**Саша** : А, мсье Рик... Какие-то немцы - бум, бум, бум! - расплатились этим чеком. Он годится?

Рик разглядывает чек.

Сэм исполняет очередной номер.

Прожектор освещает только пианиста, Рик и Ивонна стоят в полумраке. Она долго смотрит на него в упор. Наконец, её прорывает:

— Где это ты был прошлой ночью?

**Рик** : Не помню. Это было так давно.

**Ивонна** : Сегодня увидимся?

**Рик** (лениво) : Так далеко вперед я не загадываю.

Ивонна оборачивается к Саше и протягивает ему пустой бокал. Бармен уже собирается налить, но Рик жестом останавливает его.

**Ивонна** (Саше) : Налей мне!

**Рик** : Саша, ей хватит.

**Ивонна** : Саша, не слушай его! Наливай!

Саша неуверенно смотрит на Рика.

**Саша** (отставив бутылку) : Ивонна, я люблю тебя, но платит мне он.

Ивонна с пьяной яростью обрушивается на Рика:

— Рик, ты, кажется, меня доведешь!..

**Рик** : Саша, вызови такси.

**Саша** : Понял, босс.

Идет к выходу.

**Рик** (берет Ивонну за руку) : Пошли, возьмешь свое пальто.

**Ивонна** : Отпусти руку!..

Рик тащит ее к двери.

**Рик** : Поезжай домой. Ты перебрала.

Улица перед кафе Рика. Саша сигнализирует проезжающим машинам. Наконец, одна останавливается.

Из кафе выходят Рик и Ивонна. Он накидывает ей на плечи пальто. Женщина отчаянно сопротивляется.

**Ивонна** : Раскомандовался!.. Дура я была, что влюбилась в такого...

**Рик** (Саше) : Поезжай с ней, Саша, проследи, чтобы она попала домой.

**Саша** (радостно) : Понял, босс!

За руки они подтаскивают Ивонну к такси, усаживают. Саша садится рядом.

**Рик** : Саша! (Тот выглядывает из окошка.) Сразу же возвращайся.



**Саша** (скиснув): Понял, босс.  
Такси отъезжает.

**Рик** возвращается в кафе. Закуривает сигарету.

**Голос Рено** : Привет, Рик.

**Рик** : Привет, Рено.

**Рено** : Как вы расточительны! Так разбрасываться женщинами. В один прекрасный день спохватитесь - а их уже нет.

**Рено** потягивает коньяк за столиком на террасе. Инцидент его позабыл.

**Рено** : Я даже подумал - а не заглянуть ли мне к Ивонне? Может, с горя согласилась бы?

**Рик** (присаживаясь за столик): Когда дело касается женщин - тут вы истинный демократ.

Засмеявшись, Рено наливает Риду коньяку. С аэродрома по соседству доносится гуденье: это прогревают мотор перед взлетом. Рик смотрит в ту сторону; смотрит и Рено.

В ослепительном свете прожекторов на взлетной полосе стоит, ревя моторами, самолет, готовый оторваться от земли.

**Рик** не спускает с него глаз.

**Рено** : Самолет на Лиссабон. Хотели бы полететь?

**Рик** (сдержанно): Зачем? Что хорошего в Лиссабоне?

**Рено** : Рейсы в Америку.

**Рик** не отвечает. Смотрит на готовый к

взлету самолет, и глаза у него не веселые.

**Рено** : Иногда я пробовал угадать, почему вы не возвращаетесь в свою Америку. Обокрали церковную кассу? Сбежали с женой сенатора?.. Я бы предпочел думать, что вы кого-то убили... Так романтичной.

**Рик** (по-прежнему глядя на самолет; с сардонической усмешкой): Там была комбинация из этих трех преступлений.

**Рено** : Но объясните, бога ради, как вас занесло в Касабланку?

**Звук авиамотора** всё громче.

**Рик** : Я приехал на воды. Лечиться.

**Рено** : На воды? Какие воды? Мы же в пустыне!

**Рик** : Меня неверно информировали.

**Рено** качает головой.

Самолет с ревом несется по взлётной полосе. На лицах Рика и Рено отблеск его огней. Рик не сводит с самолета глаз: тот оторвался от земли, летит почти над их головами. Рик провожает его взглядом, пока огни не скрываются вдаль.

Подходит Эмиль, крупье. Над его глазами зеленый козырек.

**ЭМИЛЬ** : Извините, мсье Рик, но там один джентльмен выиграл двадцать тысяч франков. В кассе не хватило денег.

**РИК** (невозмутимо): Сейчас возьму из сейфа.

**Эмиль** : Мне очень стыдно, месье Рик. Просто не понимаю, как это вышло.

**Рик** : Все нормально, Эмиль. Такие ошибки у всех случаются.

**Эмиль** : Я очень виноват...

Рик и Рено поднимаются.

**Рено** : Рик, сегодня тут будет шумно. Мы собираемся произвести у вас в кафе арест.

**Рик** (ничуть не встревоженный) : Что, опять?

**Рено** : Это не обычный арест. Мы задержим убийцу.

Рик невольно оборачивается в сторону игорного зала.

**Рено** (он перехватил взгляд Рика) : Если вы собираетесь предупредить его — не рискуйте понапрасну. Ему от нас не уйти.

**Рик** (поднимаясь на приступку) : Я не суюсь не в свои дела.

**Рено** : Очень мудрая внешняя политика.

С бокалом в руке он идет за Риком.

**Рено** : Понимаете, Рик, мы могли бы арестовать его пару часов назад в “Голубом Попугае”...

Рик проходит в свой кабинет, Эмиль и Рено тоже входят.

**Рено** (продолжает) : Но из чувства глубокого уважения к вам я решил сделать это здесь. Чтобы развлечь ваших посетителей.

**Рик** (открыв дверь в стене) : Им и так хватает развлечений.

Дверь ведет из кабинета в темную каморку, где хранится сейф. Пройдя внутрь, Рик открывает сейф. Рено, по-прежнему с бокалом в руке, прислоняется к дверному косяку.

**Рено** : Рик, сегодня к вам зайвится важный гость. Сам майор Штрассер из Третьего Рейха. Мы хотим, чтобы он присутствовал при аресте. Так сказать, маленькая демонстрация моих деловых качеств.

**Рик** : Понятно. А что он делает в Касабланке? Не поедет же Штрассер в такую даль только затем, чтобы присутствовать при демонстрации ваших деловых качеств.

**Рено** : Возможно, вы правы.

**Рик** (Эмилю) : Вот вам деньги.

**Эмиль** : Больше это не повторится, мсье!..

**Рик** : Все нормально. (Рено.) Луи, вы чего-то не договариваете. Ну-ка, выкладывайте.

**Рено** (с восхищением) : Вы очень наблюдательны... Вообще-то я действительно хотел дать вам совет.

**Рик** : Вот как?.. Выпейте.

**Рено** : Спасибо, Рик... У вас в кафе торгуют выездными визами, но нам известно, что сами вы этим никогда не занимались. Именно поэтому я до сих пор не прикрыл ваше кафе.

**Рик** : А я-то думал, это потому, что здесь вам дают выигрывать в рулетку.

**Рено** : Э-э... Ну, и поэтому тоже... Так вот, в Касабланку прибыл человек, которому надо попасть в Америку. Тому, кто добудет для него выездную визу, он готов заплатить любые деньги.

**Рик** : Да? А как его зовут?

**Рено** : Виктор Ласло.

**Рик** : Виктор Ласло?!

**Рено** (наблюдает за реакцией собеседника) : Рик, первый раз вижу вас взволнованным.

**Рик** : Так ведь за него волнуется половина человечества.

**Рено** : Моя обязанность проследить, чтобы он не стал волновать вторую половину. (Отбросив шутливый тон.) Рик, Ласло не попадет в Америку. Он останется здесь.

**Рик** : Интересно будет поглядеть, как у него получится.

**Рено** : Получится что?

**Рик** : Побег.

**Рено** : Но я же сказал вам...

**Рик** : Бросьте. Он сбежал из концлагеря, и наци гонялись за ним по всей Европе.

**Рено** (мрачно) : Здесь погоня кончилась.

**Рик** : Спорю на двадцать тысяч франков, что не кончилась.

**Рено** : Вы серьезно?

**Рик** : Только что я потерял двадцать тысяч. Хочу отыграться.

**Рено** : Сбавьте до десяти. Я всего лишь бедный коррумпированный чиновник. (Рик кивает.) По рукам. При всех его талантах, Ласло не обойтись без выездной визы — а точнее сказать, без двух.

Они выходят из кабинета, спускаются по ступенькам.

**Рик** : Почему без двух?

**Рено** : Он путешествует с дамой.

**Рик** : Согласится и на одну визу.

**Рено** : Не думаю. Я эту даму видел. И если он не оставил ее ни в Марселе, ни в Оране, не оставит и здесь.

**Рик** : Может, он не так романтичен, как вы.

**Рено** : Все равно. Визу Ласло не получит.

**Рик** : Луи, а с чего вы взяли, что я захотел

бы ему помочь?

**Рено** : А я подозреваю, дорогой мой Рикки, что под вашей циничной оболочкой прячется сентиментальное нутро. (Рик рассмеялся.) Смейтесь сколько угодно. Но я знаком с вашей биографией. Позвольте напомнить два момента. Вы воевали в Эфиопии против итальянцев и рисковали жизнью в Испании на стороне республиканцев.

**Рик** : И в обоих случаях мне хорошо платили.

**Рено** : Победившая сторона заплатила бы гораздо больше.

**Рик** : Допускаю. (Торопится переменить тему.) Так вы, судя по всему, твердо решили не выпускать Ласло?

**Рено** : Таков приказ.

**Рик** : А, понимаю. Гестапо надаёт по попе.

Они уже спустились с приступки. Продолжая разговор, Рено поворачивается лицом к огромному зеркалу на стене бара.

**Рено** : Вы переоцениваете влияние гестапо, Рикки. Я не вмешиваюсь в их дела, они не вмешиваются в мои. В Касабланке я сам распоряжаюсь своей судьбой. Я капитан нашей...

Замолкает на полуслове, потому что видит в зеркало своего адъютанта.

**Адъютант** : Майор Штрассер прибыл, начальник.

**Рик** : Да, так вы говорили?..

**Рено** (торопливо) : Прошу прощения.

Спешит навстречу Штрассеру. Рик, насмешливо улынувшись, отходит.

**Рено** (на ходу - Карлу) : Карл, проследите, чтобы герра Штрассера посадили за хороший столик. Поближе к дамам.

**Карл** : Уже посадили — за самый лучший, месье. (Грустно.) Попробовал бы я предложить немцу плохой!

Рено подзывает жестом офицера-туземца. Тот подходит, берет под козырек.

**Рено** (понижив голос) : Брать будем без шума. На всех дверях поставь по паре охранников.

**Офицер** : Есть! У нас все готово, начальник.

Офицер отходит к двери игорного зала. Рено пересекает зал, направляясь к столику, за которым сидят Штрассер и Хайнце. За соседним столиком тоже немецкие офицеры. Штрассер встречает Рено приветливой улыбкой.

**Рено** : Добрый вечер, господа!

**Штрассер** : Добрый вечер, капитан.

**Хайнце** : Не присоединитесь ли к нам?

**Рено** (усаживаясь) : Благодарю. Приятно видеть вас здесь, майор.

**Штрассер** : Э-э... Шампанского и баночку икры.

**Рено** : Рекомендую "Вдову Клико 26". Хорошее французское вино.

**Штрассер** : Спасибо.

**Официант** : Слушаюся.

**Штрассер** : Очень интересный клуб.

**Рено** : Сегодня особенно интересный, майор. (Понижив голос.) Ровно через минуту вы увидите, как арестуют человека, который убил ваших курьеров.

**Штрассер** : Я не сомневался в вас, капитан.

Угарте в игорном зале у рулетки. Перед ним целая куча фишек: пришла полоса везенья. Глаза Угарте лихорадочно блестят. Он следит за шариком, скачущим по колесу рулетки. Шарик остановился на цифре 13. В возбуждении Угарте сгребает фишки, которые подвинул ему крупье. Но в тот же миг чья-то рука берет Угарте за локоть... Ужас искажает его лицо.

**Офицер-туземец** : Пройдемте со мной, месье Угарте.

**Угарте** (упавшим голосом) : Разрешите мне обменять фишки.

Кивнув, офицер идет вместе с Угарте к кассе.

Кассир обменивает фишки на деньги.

Угарте сует свой выигрыш во внутренний карман пиджака. А когда вынимает руку, в ней оказывается маленький револьвер, направленный на офицера. Тот кидается на Угарте, раздается выстрел, и офицер хватается за раненое плечо. Испуганно кричит какая-то женщина, бросаются враспынную игроки, а Угарте мчится к выходу.

Рик, шедший к себе, обернулся в сторону игорного зала...

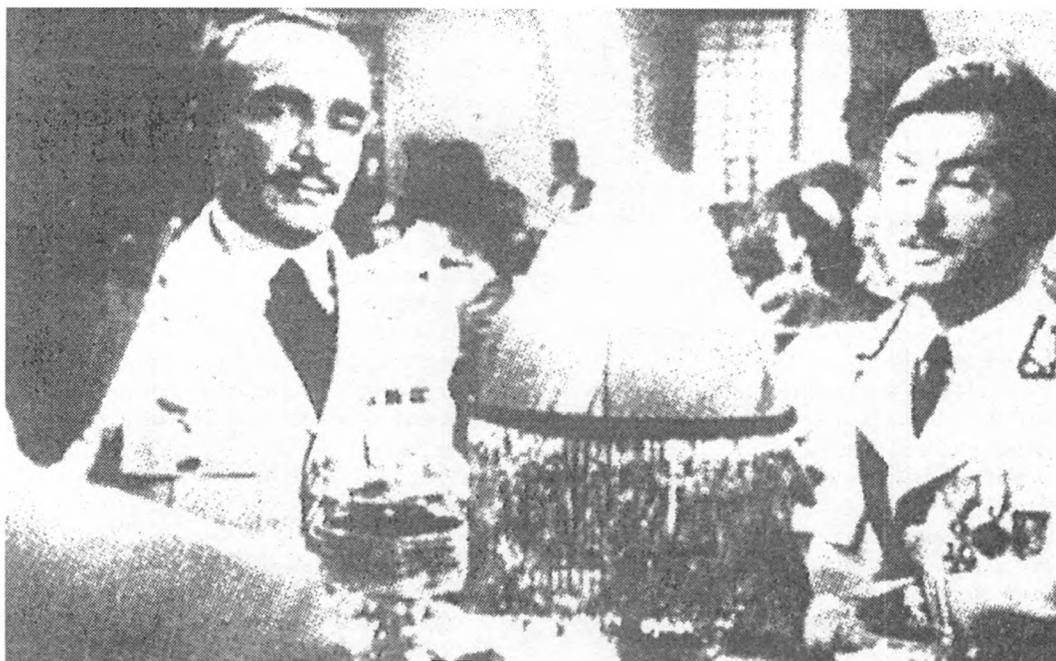
Вскочила с места дама, смотрит, где стреляют...

Мужчина в баре, не допив, ставит фужер на стойку...

Умолкла музыка: пальцы Сэма замерли на клавишах...

Карл из-за стойки выжидающе смотрит на Штрассера...

Рено, Штрассер и Хайнце вскакивают на



ноги.

В кафе вбегает Угарте.

**Угарте:** Рик! Рик, помогите мне!

**Рик** (тихо): Не глупи. Тебе не убежать.

**Угарте:** Спрячьте меня. Придумайте что-нибудь. Рик, вы должны помочь... Сделайте что-нибудь!!!

**Рик:** Помолчи.

Не успевает он договорить, как подбегают Рено, Штрассер и Хайнце. Из игорного зала выскакивают полицейские и хватают Угарте. Рик молча пробирается через толпу.

**Штрассер:** Превосходно, капитан.

**Какой-то мужчина** (не то шутя, не то всерьёз): Рик, а когда придут за мной - поможешь? Или тоже так?

**Рик:** Я не суюсь не в свои дела.

Рик выходит на середину зала. Атмосфера тревожного ожидания; кое-кто из посетителей уже собрался уходить.

**Рик:** Друзья, извините за маленькую неприятность. Всё уже улажено, всё в порядке. Оставляйтесь на местах, веселитесь. Радуйтесь жизни! (Смотрит на пианиста.) Давай, Сэм!

Сэм, кивнув, ударяет по клавишам.

**Сэм:** О-кей, босс. (Поет.) "Что устроил старый Ной?" (Кричит слушателям.) Подноём, ребята!.. "Что устроил старый Ной?"

Повторяет проигрыш, ждет, подхватят ли. Слушатели неуверенно, вразнобой

подпевают: "Что устроил старый Ной?"

**Сэм** (ухмыляется, колотит по клавишам, всё убыстряя темп): Молодцы... "Зоопарк передвижной!" Ну?!

За столиками подхватывают: "Зоопарк передвижной!" Сэм сумел завести их. Мрак понемногу рассеивается. Пока звучит песенка, камера обводит панорамой столики: кого только за ними нет!

...Песенка кончилась; все тихо и спокойно. Рено, Штрассер и Хайнце уже вернулись на свои места.

**Рено** (подзывает Рика): О, Рик!..

Рик подходит.

**Рено:** Рик, это майор Генрих Штрассер из Третьего Рейха.

**Штрассер:** Здравствуйте, мистер Рик.

**Рик:** Здравствуйте.

**Рено:** А с герром Хайнце из Третьего Рейха вы уже знакомы.

Рик кивком здоровается с обоими немцами.

**Штрассер:** Посидите, пожалуйста, с нами, мистер Рик.

Рик садится рядом с Хайнце, лицом к Рено и Штрассеру.

**Рено:** Рик, нам выпала большая честь. Третий Рейх обязан своей славой майору Штрассеру и таким, как он.

**Штрассер** (с улыбкой): Вы всё время повторяете - Третий Рейх, Третий Рейх. Как будто может быть и четвертый.

**Рено:** Лично я, майор, готов к любым неожиданностям.

Пока они беседуют, вернувшийся официант откупоривает бутылки, разливает вино по бокалам.

**Штрассер (Рику):** Не возражаете, если я задам вам несколько вопросов? Неофициально, разумеется.

**Рик (пожав плечами):** А хоть бы и официально.

**Штрассер:** Кто вы по национальности?

**Рик (после паузы - без тени улыбки):** Я? Пьяница.

Штрассер пристально смотрит на него.

**Рено:** Из чего следует, что Рик гражданин Вселенной.

**Рик:** Родился я в Нью-Йорке — если это может вам помочь.

**Штрассер (вполне дружелюбно):** Если не ошибаюсь, сюда вы приехали из Парижа во время оккупации?

**Рик:** Не делаю из этого секрета.

**Штрассер:** Вы не из тех, кто просто не мог представить себе немцев на улицах своего любимого Парижа?

**Рик:** Париж не мой любимый город.

**Хайнце (со смешком):** А на улицах Лондона? Можете нас представить?

**Рик:** Будете в Лондоне - тогда и поговорим.

**Штрассер (запустив ложечку в икру):** А как насчет Нью-Йорка?

**Рик:** В Нью-Йорке есть такие кварталы, куда я вам, майор, не советовал бы вторгаться.

**Штрассер:** Как думаете, кто выиграет войну?

**Рик:** Не имею ни малейшего понятия.

**Рено:** Рик держит строгий нейтралитет во всех делах. Даже в отношениях с женщинами.

Штрассер достает из кармана черную записную книжку, листает.

**Штрассер (Рику):** Ну, не всегда вы хранили нейтралитет. У нас имеется полное досье на вас. (Читает.) Ричард Блейн, американец, возраст - тридцать семь лет. На родину вернуться не может... (Смотрит на Рика.) По какой причине - не совсем ясно. Нам известно также, чем вы занимались в Париже. (Рено, сгорая от любопытства, пытается заглянуть в книжку через плечо Штрассера.) Почему вы уехали из Парижа, тоже знаем, мистер Блейн.

Рик протягивает руку, берет у Штрассера

записную книжку.

**Штрассер:** Не тревожьтесь, мы не собираемся разглашать эти сведения.

**Рик (заглянув в книжку):** Разве глаза у меня карие?

**Штрассер:** Вы должны извинить меня за любопытство, мистер Блейн. Дело в том, что в Касабланку прибыл опасный враг Рейха, и мы проверяем всех, кто мог бы оказать содействие...

**Рик:** Уедет Виктор Ласло или здесь останется, интерес к этому... (глянув на Рено) у меня чисто спортивный.

**Штрассер:** В данном случае вы не сочувствуете лисице?

**Рик:** Не особенно. Гончей тоже можно посочувствовать.

**Штрассер:** Виктор Ласло публиковал мерзкие клеветнические статьи в пражских газетах, пока мы не вошли в Чехословакию. И даже после этого издавал в подполье скандальные листовки.

**Рено:** Надо признать это человек большого мужества.

**Штрассер:** Я могу признать, что он умен и изворотлив. Трижды он ускользал от нас - меж пальцев. Он и в Париже продолжал нелегальную деятельность... Мы намерены положить этому конец.

**Рик (чуть улыбнувшись):** Прошу прощения, джентльмены. Ваш бизнес - политика, мой бизнес - кафе.

**Штрассер:** До свиданья, мистер Блейн.

Рик направляется в игорный зал.

**Рено:** Как видите, насчет Рика можно не беспокоиться.

**Штрассер (проводя Рика взглядом):** Может быть, может быть.

За другим столиком чернявый иностранец, которого мы видели в первых кадрах фильма, беседует с мужчиной средних лет, судя по виду - человеком состоятельным.

**Чернявый:** Заклинаю вас, друг мой! (Для убедительности он обнял собеседника за талию.) Будьте очень, очень осторожны! Очень осмотрительны! Все время нужно быть начеку!

Сэм у пианино. Он наигрывает сентиментальную мелодию. Разговоры за столиками поутихли. Сэм поглядывает по сторонам — и вдруг, увидев кого-то, сбивается с такта, а потом и вовсе перестает играть.

Мы видим, на кого уставился Сэм: в кафе только что вошла пара, Виктор Ласло со



спутницей. На даме простое белое платье. А сама она так красива, что люди оборачиваются ей вслед.

К ним спешит метрдотель.

**Метрдотель:** Слушаю, месье?

**Ласло** (негромко, ровным голосом): Я заказывал столик... Виктор Ласло.

Спутница Ласло осматривается, замечает Сэма, и лицо ее на мгновение застывает.

**Метрдотель:** Да, месье. Сюда, пожалуйста.

Сэм видит, что дама смотрит на него. Он отворачивается, снова начинает наигрывать прерванную мелодию.

Проходя мимо пианино, дама (это Ильза Лунд) в упор смотрит на Сэма. Но тот нарочно не отрывает глаз от клавиш. Она едва заметно улыбулась.

Когда Ильза отходит, Сэм позволяет себе украдкой поглядеть ей вслед.

Метрдотель усаживает Ильзу за столик. Ласло садится напротив. Оглядывает зал.

**Ласло:** Два куантро, пожалуйста.

**Метрдотель:** Сейчас, месье.

**Ласло** (Ильзе): Не вижу никого, похожего по описанию на Угарте.

**Ильза:** Виктор, мне кажется... у меня такое чувство, что не надо нам оставаться здесь.

**Ласло:** Если мы сразу уйдем, это только привлечет внимание... Может быть, Угарте где-то в другом конце зала?

**Мужской голос** (за кадром): Извините, но вы похожи на людей, которые собрались в Америку.

В кадр входит Бергер, невысокий блондинчик.

**Ласло:** И что?

Бергер достает из жилетного кармана кольцо с большим камнем-аквамаринном.

**Бергер:** Там вы легко сможете продать этот перстень. Обстоятельства вынуждают меня расстаться с ним.

**Ласло:** Спасибо, но боюсь, что я...

**Бергер:** Может, ваша дама посмотрит? Это перстень уникальный.

Показывая кольцо, Бергер вывинчивает из гнезда камень.

Под камнем, на дне гнезда, по золоту выгравирован "лотарингский крест" генерала де Голля.

**Голос Ласло:** Да, это очень интересно. (Понизив голос.) Ваше имя?..

**Бергер:** Бергер. Я в вашем распоряжении, сэр.

**Ильза** (увидев кого-то): Виктор!

**Ласло** (поняв сигнал, еще больше понижает голос): Через несколько минут встретимся в баре. (Громко.) Боюсь, этот перстень мы не купим. Но спасибо, что показали.

**Бергер** (подхватывает игру): Жаль. Такая выгодная покупка! Но если вы так решили...

**Ласло:** Решил. Извините.

Поклонившись, Бергер отходит. По дороге

он задевает локтем капитана Рено, который направляется к столику Ласло. Неприязненно поглядев на Бергера, Рено продолжает свой путь.

**Рено** (с любезной улыбкой): Месье Ласло, если не ошибаюсь?

**Ласло**: Да.

**Рено**: Я капитан Рено, префект полиции.

**Ласло**: Да. Что вам угодно?

**Рено** (приветливо): Просто хочу пожелать вам приятного пребывания в Касабланке. Не каждый день у нас гостят такие знаменитости.

**Ласло**: Благодарю. Но должен сказать, капитан, что нынешние французские власти не всегда так доброжелательны. Позвольте познакомить вас с мисс Ильзой Лунд.

**Рено** (с поклоном): Мне уже говорили, что таких красивых женщин в Касабланке еще не было. Но действительность превзошла все мои ожидания.

**Ильза**: Вы очень любезны.

Ильза держится с достоинством; голос у нее низкий, приятного тембра.

**Ласло** (показывает на свободный стул): Не присядете ли?

**Рено**: С вашего позволения... (Окликает официанта.) Эмиль!

**Эмиль**: Да, капитан?

**Рено**: Бутылку самого лучшего шампанского. И припишите к моему счету.

**Эмиль**: Хорошо, капитан.

**Ласло**: Нет, нет, капитан! Разрешите мне...

**Рено** (кивком отослав официанта): Это у нас такая игра. Он припишет к моему счету, я этот счет порву. И всем хорошо.

Ильза смеется. Поглядела в сторону Сэма.

**Ильза**: Капитан! Этот парень, пианист... Где-то я его видела.

**Рено**: Сэм?

**Ильза**: Да.

**Рено**: Он приехал из Парижа вместе с Риком.

**Ильза**: С Риком? А кто такой Рик?

**Рено** (с улыбкой): Мадемуазель, вы сейчас в гостях у Рика. А Рик — это...

**Ильза**: Это — что?

**Рено**: Это, мадемуазель, такой мужчина, что если б я был женщиной... А меня (похлопал себя по груди) не было бы рядом, я бы сразу влюбился в Рика... Но как это глупо с моей стороны — хвалить красивой женщине другого мужчину!..

Оглянувшись, Рено вскакивает со стула: к ним приближается Штрассер.

**Рено**: Э-э... Прошу прощения. (Знакомит немца с Ильзой и Ласло.) Мадемуазель Ильза Лунд! Месье Ласло! Разрешите представить вам майора Генриха Штрассера.

Штрассер кланяется, любезно улыбается.

**Штрассер**: Добрый вечер. Давно ждал этого счастливого случая.

Ильза и Ласло не реагируют на галантность майора. Он ждет приглашения присесть к ним.

**Ласло**: Извините, что не отвечаю вам любезностью, но видите ли, майор Штрассер, я чехословак и мне...

**Штрассер** (перебивает): Вы были чехословаком. А теперь вы подданный германского Рейха.

**Ласло**: Этой привилегией я никогда не пользовался. А сейчас мы на французской земле.

**Штрассер**: Хотелось бы как раз обсудить некоторые проблемы, связанные с вашим пребыванием на французской земле.

**Ласло**: Вы выбрали не самое подходящее место и время.

**Штрассер** (жестко): Тогда найдем другое место и время. Завтра в десять в кабинете префекта — с мадемуазель Лунд.

**Ласло** (французу): Капитан Рено, здесь я подчиняюсь вам. Это ваш приказ - явиться в префектуру?

**Рено** (примирительно): Скажем так: это моя просьба. Звучит гораздо лучше.

**Ласло**: Хорошо.

Рено и Штрассер встают, прощаются - с Ласло коротким кивком, с Ильзой вежливым поклоном.

Идут к своему столику.

**Рено**: Очень успешное тактическое отступление.

Штрассер с подозрением смотрит на него, но ничего кроме невинной улыбки на лице капитана не обнаруживает.

Ласло провожает их взглядом. Усмехнувшись, оборачивается к Ильзе.

**Ласло**: На этот раз они всерьез решили не выпускать меня.

**Ильза**: Виктор, я за тебя боюсь.

**Ласло**: Бывали мы и не в таких передрыгах. Правда ведь?

Ладонью он накрывает её руку. Ильза улыбается ему, но в её глазах прежняя тревога.

Сэм встаёт со своего табурета, поднимает руку, требуя тишины. Появляется Корина.



Гаснут огни и начинается её номер.

Сэм, колотя по клавишам, поглядывает на Ильзу.

А она наблюдает за ним.

Ласло с деланной небрежностью осматривается. Решив, что в темноте его не увидят, поднимается на ноги.

Ласло: Надо выяснить, что удалось разузнать Бергеру.

Ильза: Будь осторожен.

Ласло: Обещаю. Не тревожся.

Ильза кивает. Следит за Ласло, пересекающим затемненный зал.

Поет Корина, Сэм аккомпанирует на пианино. Он с тревогой поглядывает в сторону Ильзы.

У стойки бара Бергер потягивает виски.

Подходит Ласло, устраивается рядом с Бергером.

Ласло: Месье Бергер, тот перстень... Можно на него взглянуть?

Бергер: Конечно, месье.

Ласло (Саше): Коктейль с шампанским, пожалуйста.

Саша отходит в глубину бара. А Ласло достает сигарету. Бергер наклоняется к нему, циркает зажигалкой.

Бергер (тихо): Месье Ласло, я узнал вас по фотографиям в газетах.

Ласло: В концлагере сбрасываешь лишний

вес.

Бергер: Пять раз мы читали, что вас убили — каждый раз в каком-нибудь новом месте.

Ласло (с иронической улыбкой): Как видите, все пять раз они писали правду... Бергер, вас мне Бог послал. Я ищу человека по фамилии Угарте. Он может помочь мне.

Бергер (покачивая головой): Месье Ласло, Угарте уже и себе не сможет помочь. Он арестован по обвинению в убийстве. Его взяли здесь.

Ласло (принимает удар не дрогнув): Понятно.

Бергер (с решимостью): Но мы-то пока еще на свободе и сделаем все, что в наших силах. Здесь тоже есть подпольная организация — как везде. Завтра у нас сходка, и если бы вы смогли прийти...

Он замолкает, увидев Сашу, который несет Виктору Ласло его коктейль.

Ильза за столиком.

Ильза (официанту): Будьте добры, попросите пианиста подойти сюда.

Официант: Сейчас, мадемуазель.

К Бергеру и Ласло подходит Рено.

Рено: Как дела на ювелирном фронте, Бергер?

Бергер: Э-э... Так себе. (Саше.) Счет, пожалуйста.

**Рено:** Что бы вам прийти чуть пораньше, мсье Ласло. Тут сегодня такое было! Правда, Бергер?

**Бергер:** Э-э... Да. Извините, джентльмены.

**Ласло (Саше):** Мне счет.

**Рено:** Нет, нет. Два коктейля с шампанским, пожалуйста.

**Саша:** Слушаюсь.

Официант что-то шепчет Сэму. Тот удивленно поднимает глаза. Ильза жестом просит его подойти. Он колеблется. Потом подкатывает свое маленькое пианино к столику Ильзы.

На его лице странное выражение — почти испуг. По правде говоря, Ильза тоже совсем не так хорошо владеет собой, как ей хочется показать. Чувствуется, что между ними существует какая-то таинственная связь.

**Ильза:** Хелло, Сэм.

**Сэм:** Хелло, мисс Ильза. Вот уж не думал, что снова увижу вас.

**Ильза:** Как давно это было!..

**Сэм:** Да, мисс Ильза. Много воды утекло. Он садится на свой табурет, приготовившись играть.

**Ильза:** Какую-нибудь из тех старых песенок, Сэм.

**Сэм:** Да, мэм.

Начинает играть. Он нервничает, заранее зная, что сейчас будет сказано. И все-таки вздрагивает, услышав вопрос.

**Ильза:** Где Рик?

**Сэм (неохотно):** Не знаю. Не видел его сегодня.

Ильза смотрит на него со снисходительной улыбкой. Ему очень не по себе.

**Ильза:** Когда он вернется?

**Сэм:** Сегодня уже не вернется... Домой пошел.

**Ильза:** Он что, всегда так рано уходит?

**Сэм:** Он никогда... То есть... (С решимостью отчаянья.) У него есть девушка в "Голубом Попугае", он всё время туда ходит.

**Ильза:** Сэм, ты разучился врать. Раньше у тебя лучше получалось.

**Сэм:** Оставьте его в покое, мисс Ильза. Вы ему несчастье приносите.

**Ильза (тихо):** Сэм, сыграй мне — ты знаешь что.

**Сэм:** Не знаю я ничего, мисс Ильза!

**Ильза:** Сыграй, сыграй, Сэм. Сыграй "As time goes by".

**Сэм:** Мисс Ильза, я не помню. Забыл.

(Конечно же, он не забыл — просто не хочет играть эту песенку. Он испуган и растерян.)

**Ильза:** Я тебе напою.

Без слов напевает мелодию. Он начинает играть — совсем тихо.

**Ильза:** Спой, Сэм.

**Сэм (поет):**

"You must remember this,

A kiss is still a kiss,

A sigh is just a sigh..." и т.д.

Рик выходит из игорного зала, разъяренный до предела: он услышал пение.

**Рик:** Сэм, я, кажется, ясно сказал: никогда не играй эту...

Не договорив, он замирает на месте.

Оглянувшись через плечо на Рика, Сэм перестает играть. Ильза поняла, почему — поняла даже раньше, чем обернулась: она знает, кого сейчас увидит.

Ильза поворачивается — медленно-медленно.

У Рика перехватило дыхание. Он ждал чего угодно, только не этого. Молча стоит и смотрит на Ильзу — но и без слов понятно, о чем он думает. Наконец Рик делает шаг вперед; взгляд его прикован к Ильзе.

И она тоже не спускает с него глаз. А Сэм просто в панике. Он ставит свой табурет на крышку пианино и поспешно отходит от столика. Ильза этого даже не заметила: она смотрит только на Рика.

Рено возвращается из бара под руку с Ласло.

**Рено (Ильзе):** Вы интересовались Риком. Вот он, собственной персоной.

Подходит Рик.

**Рено:** Мадемуазель, разрешите представить вам...

**Рик:** Привет, Ильза.

**Ильза (чуть слышно):** Привет, Рик.

Протягивает руку, он пожимает её.

**Рено:** О, так вы знакомы с Риком? (Ни тот, ни другая не отвечают.) Тогда, может быть, и...

**Ильза:** Это мистер Ласло.

**Ласло:** Добрый вечер.

**Рик:** Добрый вечер.

Фамилию "Ласло" Ильзе произнести нелегко: она и боится назвать её, и не хочет, чтобы это сделал кто-то другой. Смерив Ласло взглядом, Рик посмотрел на Ильзу и улыбнулся — ей кажется, что насмешливо.



**Ласло:** В Касабланке все говорят про Рика.

**Рик:** А про Виктора Ласло говорят везде.

**Ласло:** Не выпьете ли с нами?

**Рено (засмеявшись):** О, нет!.. Рик никогда...

**Рик:** Спасибо, выпью.

**Рено:** Так. Традиция нарушена... Э-э, Эмиль!

**Ласло (просто чтобы что-нибудь сказать):** Очень интересное у вас кафе. Поздравляю.

**Рик:** А я поздравляю вас.

**Ласло:** С чем?

**Рик:** О, с вашей работой. (Но смотрит он на Ильзу.)

**Ласло:** Спасибо. Стараюсь, как могу.

**Рик:** Мы все стараемся... У вас получается.

**Рено:** Что-то я вас обоих не пойму... Она расспрашивала меня про вас, Рик, — да так, что я даже заревновал.

**Ильза (Рику):** Я не была уверена, что вы тот самый. Сейчас соображу: последний раз мы виделись...

**Рик:** В "La belle Aurore".

**Ильза:** Как приятно, что вы помните. Ну, да, ведь это было в день, когда немцы вошли в Париж.

**Рик:** Такой день трудно забыть. Нет?

**Ильза:** Трудно.

**Рик:** Я запомнил каждую мелочь. Немцы

были в сером, вы — в голубом.

**Ильза:** Да. Я отложила то платье. Надену, когда немцы уйдут.

**Рено:** Рик, а в вас появилось что-то человеческое. За это надо сказать спасибо вам, мадемуазель.

**Ласло:** Ильза, как ни досадно, приходится напомнить: уже поздно.

**Рено** (поглядев на часы): Да, верно. А в Касабланке введен комендантский час. Если начальника полиции застукают за распитием спиртных напитков в неположенное время, ему придется самого себя општрафовать. Это никуда не годится!

**Ласло** (жестом подзывая официанта): Надеюсь, мы не злоупотребили гостеприимством?

**Рик:** Нисколько.

**Официант** (Виктору Ласло): Вот ваш счет, сэр.

**Рик** (забирает счет): Нет-нет. Я угощаю.

**Рено:** Еще одна традиция нарушена. На редкость интересный вечер!.. Я вызову для вас такси.

Все встают из-за стола.

**Ласло:** Мы еще придем.

**Рик:** Всегда пожалуйста.

**Ильза** (протягивает ему руку): Попрощайтесь за меня с Сэмом, ладно?

**Рик:** Ладно.

**Ильза:** Никто на свете так не играет "As time goes by", как Сэм.

**Рик:** Он давно этого не делал.

Пауза. Ильза улыбнулась.

**Ильза:** Спокойной ночи.

**Ласло:** Спокойной ночи.

**Рик:** Спокойной ночи.

Рик и Ласло обменялись кивками. Ласло с Ильзой направляются к выходу, Рено идет за ними.

Рик смотрит им вслед. Слышен скрип вращающейся двери...

Все трое вышли на улицу. Рено свистит в полицейский свисток, подзывая такси.

**Ласло** (закуривая, небрежным тоном): Загадочная фигура, этот Рик. Что он собой представляет?

Ильза делает большие усилия, чтобы голос не дрожал.

**Ильза** (отводя глаза): Не берусь сказать. Хотя в Париже мы виделись довольно часто.

Подъехало такси. На прощанье Рено напоминает:

— Завтра в десять, в кабинете префекта.

**Ласло:** Мы придем.

**Рено:** Спокойной ночи.

Над дверью кафе вывеска "У Рика" уже не горит, время от времени ее освещает блуждающий луч прожектора. В самом кафе уже пусто. Посетители разошлись, свет в зале выключен.

За столиком один Рик. Перед ним стаканчик виски и начатая бутылка. Напротив, перед свободным стулом, другой стаканчик, пустой. Рик сидит, уставившись на свой стакан. Лицо его не выражает ровным счетом ничего. Входит Сэм, неуверенно останавливается.

**Сэм:** Босс... (Рик не реагирует.) Босс!

**Рик** (не глядя на Сэма): Да?

**Сэм:** Ложиться будете, босс?

**Рик** (наливает себе): Не сейчас.

По лицу Рика Сэм видит: босс не в настроении.

**Сэм** (пытаясь растормошить его): А в ближайшем будущем? Ляжете?

**Рик:** Нет.

**Сэм:** Вообще не ляжете? Никогда?

**Рик:** Нет.

**Сэм** (не оставляя попыток): Мне тоже не спится.

**Рик:** Отлично. Выпей.

**Сэм:** Я? Нет уж!

**Рик:** Отлично. Не пей.

**Сэм:** Босс, пошли отсюда.

**Рик** (с напором): Нет, сэр! Я жду одну даму.

**Сэм:** Пойдемте, босс. Пожалуйста! Добра не будет.

**Рик:** Она вернется. Я знаю - вернется.

**Сэм:** Босс, давайте возьмем машину и будем кататься всю ночь. Напьемся... Поедем на рыбалку и не воротимся, пока она не уедет.

**Рик:** Заткнись и отправляйся домой. Понял?

**Сэм** (упрямо): Нет, сэр. Никуда я не пойду.

Присаживается к пианино, начинает тихо наигрывать. И вдруг Рика прорывает (он уже здорово пьян).

**Рик:** Только забрали Угарте — и сразу является она! Так и положено. Один туда, другой сюда. (Пауза. Рик напряженно думает.) Сэм!

**Сэм:** Что, босс?

**Рик:** Сэм, если здесь в Касабланке декабрь,



то что в Нью-Йорке?

**Сэм:** Мои часы остановились.

**Рик** (с пьяной ностальгией): Ручаюсь, в Нью-Йорке спят. Ручаюсь, вся Америка спит... (С неожиданно прорвавшейся страстью.) Надо же! Столько городов на свете, столько кабаков — так нет, она заваливается сюда, ко мне... (Раздраженно.) Что ты там играешь?

**Сэм** (он импровизировал): Так... Свое.

**Рик:** Вот и кончай. Ты знаешь, что я хочу послушать.

**Сэм:** Нет. Не знаю.

**Рик:** Для нее играл - сыграешь и для меня.

**Сэм:** Да я не вспомню, наверно...

**Рик:** Если она может слушать, и ничего — я тоже могу! Играй!

**Сэм:** Хорошо, босс.

Играет "As time goes by". А Рик наливает себе еще стакачик. По лицу видно, что он думает о прошлом...

...Возникают на экране ретроспекция, напыльями сменяя одна другую.

...Париж, Елисейские Поля. Рик за рулем маленького открытого автомобиля. Прижавшись к нему и обвив рукой его руку, сидит Ильза...

...Прогулочный катер. Оркестрик играет какую-то французскую мелодию. Рик с Ильзой в стороне ото всех облокотились на бортовые перила. Просто сказка: ночь, музыка, они

вдвоем!..

...Парижская квартира Рика. Ильза расставляет на подоконнике цветы, а Рик откупоривает шампанское. Она идет к нему.

**Рик:** Скажи — кто ты? Кем ты была? Что делала? Что думала?

**Ильза:** Мы уже договорились: вопросов не задавать!

**Ильза** (поднимая бокал): За тебя, малыш!..

...Шикарное парижское кафе. Рик с Ильзой танцуют.

**Ильза:** Даю франк за твои мысли.

**Рик:** У нас в Америке говорят по-другому: пенни за твои мысли... Мои-то больше пенни и не стоят.

**Ильза:** А я согласна переплатить. Нет, правда: о чем ты думаешь?

**Рик:** Пытаюсь понять.

**Ильза:** Что?

**Рик:** Почему мне так повезло. Я нашел тебя, а ты — ты как будто только меня и ждала.

**Ильза:** То есть — почему в моей жизни нет другого мужчины? (Рик кивает.) Все очень просто. Был другой мужчина, был... Он умер.

**Рик:** Прости, что спросил. Я забыл про наш уговор.

**Ильза** (целует его): Вот ответ на все вопросы...

...Парижская улица. Люди в ужасе смотрят из окон на автофургон с громкоговорителем.

Лающий голос оповещает о том, что немцы на подходе к Парижу, и инструктирует парижан, как им вести себя, когда победители войдут в город.

**Рик:** Теперь их не остановить. В среду, самое позднее в четверг, они будут здесь.

**Ильза** (с испугом): Ричард, они узнают твою историю... Тебе нельзя оставаться в Париже.

**Рик** (улыбнувшись): А я давно у них в черном списке. В их книге почета.

...Вывеска над входом в кафе: "La belle Aurore". В кафе Сэм играет на пианино "As time goes by" под негромкий аккомпанемент оркестра. Он весело смотрит на Ильзу, которая слушает, опершись на пианино. В зале кроме них, никого — все высыпали на улицу, чтобы лучше слышать громкоговоритель. Ильза в подавленном настроении. Что-то гнетет ее — и это связано не только с войной. Подходит Рик с бутылкой шампанского.

**Рик:** Анри хочет, чтобы мы прикончили эту и еще три бутылки (наливает). Говорит, я лучше свой огород буду поливать шампанским, чем оставлю немцам хоть каплю.

Протягивает бокалы Ильзе и Сэму.

**Сэм:** Э, так и оккупация не страшной покажется, а, мистер Рик?

**Рик:** Точно. (Ильзе.) За тебя, малыш!

С улицы донеслись крики. Переглянувшись, Ильза с Риком бросаются к открытому окну. Громкоговоритель на улице выкрикивает что-то по немецки.

**Рик:** Я по-немецки ни бум-бум.

**Ильза:** Это гестапо. Говорит, что завтра они будут в Париже, и объясняет нам, как себя вести.

Невеселое молчание.

**Ильза** (со слабой улыбкой): Мир рассыпается на куски, а нас угораздило влюбиться — именно теперь!

**Рик** (хохотнув): Да. Времецко неподходящее... Где ты была десять лет назад?

**Ильза:** Десять лет назад? Сейчас подумаю... А, да. Мне тогда шину надели на зубы, чтоб выровнять. А ты что делал?

**Рик:** Искал работу.

Пауза. Ильза с нежностью смотрит на него. Он сжимает ее в объятиях, жадно целует. Слышатся звуки канонады. Рик отпускает Ильзу.

**Ильза** (стараясь не показать испуга): Пушки? Или это так стучит мое сердце?

**Рик** (угрюмо): Новые немецкие семидесятипятидюймовки. И судя по звуку, милях в тридцати пяти отсюда. (Снова канонада.) С каждым разом все ближе!.. Давай! Давай, допей. А то не успеем выпить остальные три.

Подходит Сэм.

**Сэм:** Эти немцы, они вот-вот будут здесь. И станут вас искать: за вашу голову назначена цена.

Ильза с беспокойством смотрит на Рика.

**Рик** (сухо): У себя на квартире я оставил записку. Чтобы знали, где меня найти.

Безнадежно пожав плечами, Сэм отходит.

**Ильза:** Странное дело, Рик. Я ведь так мало знаю про тебя.

**Рик:** И я про тебя. Знаю только, что тебе выравнивали зубы.

**Ильза:** Перестань шутить, миленький. Тут опасно, тебе надо уезжать из Парижа.

**Рик:** Нет. Не так. Нам надо уезжать.

**Ильза** (избегая его взгляда): Да, конечно... Нам.

**Рик:** Поезд на Марсель отходит в пять. В четыре тридцать я заеду за тобой в отель.

**Ильза** (торопливо): Нет, не нужно в отель. Мне до отъезда еще надо кое-что сделать в городе. Встретимся на вокзале, ладно?

**Рик:** Хорошо. Без четверти пять. (Его осенила мысль.) Слушай — а почему бы нам не пожениться в Марселе?

**Ильза** (уклончиво): Так далеко я не загадываю.

**Рик** (в радостном возбуждении от того, что поедут вместе): Согласен, не надо так далеко. Пускай машинист нас обвенчает — прямо в поезде.

**Ильза** (с нервным смешком): Ну что ты, милый.

**Рик:** А почему нет? Имеет же право капитан венчать пассажиров на корабле. Значит и машинист должен!..

Ильза вдруг беззвучно заплакала.

**Рик:** Эй, эй, малыш! Что такое?

**Ильза** (берет себя в руки): Я так тебя люблю! И так ненавижу эту войну!.. Ох, Рик... Мир сошел с ума, всякое может случиться. Если тебе не удастся уехать... Если что-нибудь помешает нам встретиться... Куда бы они тебя ни загнали... Куда бы меня ни забросило, хочу, чтобы ты знал: я...

Не в силах продолжать, она приближает к нему лицо. Он берет его в ладони, нежно целует.

**Ильза:** Поцелуй меня. Поцелуй так, словно в последний раз.

Заглянув Ильзе в глаза, Рик целует ее - так, словно в последний раз. За кадром Сэм наигрывает "As time goes by".

...Толпа отъезжающих на вокзале Гар-де-Леон. Испуганные, взволнованные лица; из Парижа уходит последний поезд. Камера задерживается на Рике. Он смотрит на свои часы, потом на вокзальные: до отправления поезда осталось две минуты. Идет дождь, Рик вымок с ног до головы, но, похоже, не замечает этого. Подбегает Сэм, в руке у него конверт.

**Рик:** Где ж она? Ты ее видел?

**Сэм:** Нет, мистер Ричард. Не нашел. Но вот тут письмо. Только вы уехали - принесли этот конверт.

Рик хватается конверт, хочет распечатать, но от волнения у него не получается. Тем временем поезд подошел к перрону, толпа засуетилась.

Наконец Рiku удается вскрыть конверт. Он читает записку:

"Ричард, я не могу поехать с тобой. Мы никогда не увидимся. Не надо спрашивать - почему. Просто верь, что я люблю тебя. Уезжай, миленький, и да хранит тебя Господь! ИЛЬЗА".

**Голос Сэма:** Босс, последний звонок! Босс, вы слышите? Пошли, мистер Ричард! Надо ехать! Пошли, мистер Ричард!

Капли дождя падают на записку; строчки расплываются. Длинный тоскливый гудок паровоза...

Наплывом: песочные часы, потом стакан с виски.

Рик по-прежнему сидит, уставившись на полный стакан. Мертвая тишина: музыки нет, Сэм ушел домой. Луч прожектора блуждает по залу. Высвечивает лицо Рика, уходит к двери. Рик провожает его глазами и вдруг видит: на пороге - Ильза... Потом луч уходит в сторону, снова темнота. Может, Рiku просто показалось, что Ильза здесь?

Опять свет падает на лицо Рика: оно словно окаменело.

**Ильза:** Рик!

Она шагнула к нему из темноты. В ее глазах - тревога и мольба. Рик привстал со стула.

**Ильза:** Рик, нам нужно поговорить.

Она держится не совсем уверенно, пробует найти верный тон - но за этой неуверенностью чувствуется внутренняя решимость.

**Рик:** Ага. Я ждал, не хотел начинать без тебя. (Тянется за бутылкой.) Выпьем.

**Ильза:** Нет. Нет, Рик, не сегодня.

Она садится напротив него перед пустым стаканом. Пытается прочитать что-нибудь по лицу Рика - холодному и бесстрастному. Рик опускается на стул, берет свой стакан.

**Рик:** Именно сегодня.

Пьет до дна, снова наливает себе. Ильза предпочла бы, чтобы и он сегодня воздержался.

**Ильза:** Не пей. Пожалуйста!

**Рик:** Зачем тебя понесло в Касабланку? Как будто нет других городов.

**Ильза:** Я бы не приехала, если б знала, что ты здесь. Честно, Рик. Я не знала.

**Рик:** Забавно. Твой голос совсем не изменился. Я и сейчас слышу: "Рик, миленький, я поеду за тобой куда хочешь. Вместе сядем на поезд - и будем ехать, ехать - без остановок".

**Ильза:** Не надо, Рик. Прошу тебя, не надо! (Смотрит, как он пьет.) Могу понять, что ты сейчас чувствуешь.

**Рик:** Можешь понять, что я чувствую... Сколько времени это у нас продолжалось, детка?

**Ильза:** Я не считала дни.

**Рик:** А я вот считал. Особенно последний мне запомнился... Классный финал! Стоит на перроне под дождем парень, и лицо у него такое смешное!.. Потому что из него вышибли все потроха.

**Ильза (после паузы):** Рик, можно я расскажу тебе одну историю?

**Рик:** С классным финалом?

**Ильза:** Какой будет финал, еще не знаю.

**Рик:** Ну валий, рассказывай. Может, по ходу и финал придумаешь.

**Ильза:** Это про одну девушку, которая только-только приехала в Париж из своего Осло. У знакомых в гостях она встретила человека, про которого слышала всю свою жизнь. Замечательного человека, очень смелого. Он открыл перед ней целый мир... новых мыслей, новых идеалов. Это он научил ее всему, что она знает. Она смотрела на него, как на бога, - и думала, что это любовь...

**Рик (грубо обрывает ее):** Да-да, очень мило. Когда-то я это уже слышал. В свое время я много таких историй выслушал. И всегда под звуки расстроенного пианино, которое



внизу, в зальчике. “Мистер, когда я была совсем девчонка, я встретила одного человека...” Так все эти рассказы начинались.

Ильзу передернуло. Она встает, идет к выходу.

**Рик** (ей вслед): Ха! И твоя история и моя — они какие-то не смешные... Лучше расскажи, на кого ты меня променяла? На Ласло? Или до него были еще другие? Что, неохота рассказывать?

Ильза остановилась на пороге. Глаза у нее полны слез. Оглянулась на Рика — и ушла.

А его голова тяжело упала на стол, туловище обмякло. Опрокинулся стакан, виски разливается по скатерти. Затемнение.

День. В кабинете Рено — капитан и Штрассер.

**Штрассер**: У меня сильное подозрение, что Угарте оставил транзитные пропуска у герра Блейна. Я бы посоветовал немедленно — и очень тщательно — обыскать кафе.

**Рено**: Если пропуска у Рика, не станет он держать их там, где легко найти. Он не так глуп.

**Штрассер**: И не так умен, как вам кажется. Мое впечатление: обыкновенный нахал-американец.

**Рено**: Именно так. Только не стоит недооценивать американское нахальство. (Невинным тоном.) Я ведь был с ними в

девятьсот девятнадцатом году, когда они нахально вошли в Берлин.

**Штрассер** (неприязненно поглядев на капитана): Что касается Ласло, он должен находиться под круглосуточным надзором.

**Рено**: Если вас интересует, что он делает в настоящий момент, могу сказать: идет сюда.

Толпа у входа в префектуру. Ласло с Ильзой проталкиваются к дверям.

Офицер-туземец впускает их.

Рено и Штрассер встают навстречу вошедшим. Капитан протягивает Ильзе руку.

**Рено**: Счастлив видеть вас обоих.

Ласло здоровается коротким кивком, а от рукопожатия воздерживается. Ильза садится в придвинутое капитаном кресло.

**Рено**: Как отдохнули?

**Ласло**: Я спал очень хорошо.

**Рено** (засмеявшись): Это странно. В Касабланке никому не спится хорошо.

**Ласло** (холодно): Не приступить ли к делу?

**Штрассер** (так же холодно): Отлично, месье Ласло, не будем толочь воду в ступе. Вы — беглый государственный преступник. До сих пор вам везло, вы от нас ускользали. Вам удалось добраться до Касабланки — а теперь моя обязанность не выпустить вас отсюда.

**Ласло**: Удастся ли это вам — вот в чем проблема.

**Штрассер:** Отнюдь. На всех выездных визах должна быть подпись капитана Рено. (Поворачивается к Рено). Капитан, как вам кажется: есть у мсье Ласло шансы на получение визы?

**Рено:** Боюсь, что нет. Весьма сожалею, мсье.

**Ласло (небрежно):** А может, мне поправится в Касабланке.

**Штрассер:** А мадемуазель?

**Ильза:** О, обо мне не беспокойтесь.

**Ласло (приготовившись встать):** Это все, что вы хотели сообщить?

**Штрассер (с улыбкой):** Не спешите так. У вас масса времени. Возможно, вы останетесь в Касабланке до скончания века. (Внезапно перегибается через стол к Ласло). А может быть, улетите в Лиссабон завтра же. При одном условии.

**Ласло:** Каком именно?

**Штрассер (подчеркивая каждое слово):** Вы знаете руководителей подполья в Праге, в Париже, в Амстердаме, в Брюсселе, в Осло, в Белграде, в Афинах...

**Ласло:** Даже в Берлине.

**Штрассер:** Да, даже в Берлине. Если вы сообщите нам их имена и точное местонахождение, утром у вас будут визы.

**Рено (со скрытой иронией):** И заслуга перед Третьим Рейхом.

**Ласло:** Я просидел в немецком концлагере целый год. Этой заслуги хватит на всю жизнь.

**Штрассер:** Ну? Назовите имена?

**Ласло:** Если я не назвал их в лагере, где у вас были более эффективные средства убеждения, то сейчас и подавно не назову. (С убежденностью и страстью борца за правое дело.) Допустим, вы выследите этих людей и убьете их. Допустим, вы убьете нас всех... Со всех концов Европы придут на смену нам другие - сотни! Тысячи!.. Даже нацистам не перебить такое количество народу!

**Штрассер:** Мсье Ласло, у вас репутация прекрасного оратора — вполне заслуженная, как я теперь убедился. Но вы ошибаетесь в одном. Вы сказали, что вместо одних врагов Рейха появятся другие. Однако, есть исключение. Лично вас не сможет заменить никто — в случае, если... э-э... с вами приключится что-нибудь при попытке к бегству.

**Ласло:** Вы побойтесь связываться со мной здесь. Это пока что территория неоккупированной Франции. За нарушение

нейтралитета отвечать придется капитану Рено.

**Рено:** Мсье, в пределах моих полномочий я, конечно...

**Ласло:** Благодарю.

**Рено:** Кстати. Вчера вы интересовались неким сеньором Угарте.

**Ласло:** Да.

**Рено:** У вас, надо полагать, есть к нему дело?

**Ласло:** Ничего особенно важного. А нельзя ли побеседовать с ним сейчас?

**Штрассер (саркастически):** Беседа была бы несколько односторонней. (Помолчав). Сеньор Угарте умер.

**Ласло переглядывается с Ильзой.**

**Ильза:** О!..

**Рено (ворошит бумаги на столе):** Я как раз составляю донесение. Мы еще не решили: самоубийство или убит при попытке к бегству.

**Ласло (после паузы):** К нам у вас все?

**Штрассер:** Пока все.

**Ласло:** Всего доброго.

Они выходят, разминувшись в дверях с молоденьким офицером. Дождавшись, пока за Ласло и Ильзой закроется дверь, Рено обращается к вошедшему.

**Рено:** Теперь вся их надежда на черный рынок, это ясно.

**Офицер:** Прошу прощения, капитан. Там еще одна пришла хлопотать о визе.

**Рено (поглядевшись в зеркало, радостно):** Давай ее сюда.

**Офицер:** Слушаюсь.

Шумная торговая улица в арабском квартале. Лавчонки, киоски, лотки торговцев всякой всячиной. Над прилавками — матерчатые навесы. Под ними стараются укрыться от палящего солнца покупатели и продавцы всех рас и возрастов. Все — и мужчины и женщины — одеты очень легко. В этой безобидной на первый взгляд толчее обделяются и темные делишки. Черный рынок процветает.

Камера движется вдоль торговых рядов в сторону неказистого здания в начале улицы. Над входом выцветшая вывеска: "Кафе "Голубой Попугай". Откуда-то доносятся усыпляющие звуки флейты. По пути камера фиксирует отдельные сценки:

...Американец неумело торгуется с продавцом фруктов.

...Торговец коврами пытается всучить

персидский коврик английской супружеской паре.

**Англичанка** (с сомнением): Но вы уверены — это законно?

**Торговец:** Мадам, в моей лавке все ковры — вполне законная контрабанда. Понимаете, с таможенниками всегда можно...

...Араб, понизив голос, объясняет французам:

**Араб:** Месье, тут придется договориться с полицией. Этим занимается сеньор Феррари.

**Француз:** Феррари?

**Араб:** Познакомьтесь с сеньором Феррари, это очень полезно! На черном рынке у него, можно сказать, монополия.

Из кафе "Голубой Попугай" выходит сеньор Феррари. Нетерпеливо оглядывается.

**Араб:** Вы его найдете вон там, в "Голубом Попугае".

**Француз.** Мерси.

Феррари уже собрался вернуться в кафе, когда к нему подходят Аннина с Яном.

**Ян:** Простите, вы не сеньор Феррари?

**Феррари:** Слушаю вас.

**Ян:** Нам сказали, что вы могли бы нам помочь.

Прежде чем ответить, Феррари долго разглядывает Яна.

**Феррари:** Заходите.

Все трое входят в кафе.

Кабинет Феррари. Массивная туша хозяина трясется от хохота.

**Феррари:** Пятьсот франков! Пятьсот франков за выездную визу!

Аннина и Ян замерли перед ним как испуганные дети.

**Аннина:** Но это все, что у нас осталось, сеньор Феррари. Что же нам делать?

**Феррари** (пожимает плечами): Возможно, если бы вы поговорили с капитаном Рено...

**Аннина** (поджав губы): Мы уже поговорили с ним.

Берет мужа под руку, готовясь откланяться.

**Феррари:** Извините, но это все, что я могу посоветовать.

Молодые люди идут к дверям.

Кафе "Голубой Попугай" гораздо скромней, чем "У Рика". В баре народ есть, но за столиками почти никого.

Входит Рик, он направляется к Феррари. На лице — всегдашнее непроницаемое выражение.

Дверь кабинета открывается, Феррари провожает удрученных до крайности Аннину и Яна.

**Феррари** (треплет Аннину по плечу): Ну. Не надо так расстраиваться. Может быть, с капитаном Рено сумеете еще договориться.

**Ян** (сухо): Большое спасибо, сеньор.

Он уводит Аннину. Проводит их глазами, Рик поворачивается к Феррари.

**Рик:** Привет, Феррари.

**Феррари** (явно рад видеть Рика): С добрым утром, Рик.

**Рик:** Я вижу, грузовик уже здесь? Могу сразу забрать свое.

**Феррари:** Куда спешить? Я сам доставлю... Давайте-ка выпьем.

**Рик:** По утрам не пью. А когда вы сами доставляете товар, там всегда чего-нибудь не хватает.

**Феррари** (хихикнув): Транспортные издержки, друг мой, транспортные издержки. (Придвигает стул.) Присядьте. Есть о чем потолковать.

Рик садится, а Феррари подзывает официанта.

**Феррари:** Бурбон-виски. (Рику — со вздохом.) Я очень расстроился из-за Угарте.

**Рик:** Лицемерная свинья. Вы о нем грустите не больше, чем я.

**Феррари:** Конечно. (Пристально смотрит на Рика.) Меня другое расстроило: Угарте умер, а где транзитные пропуска, никто не знает.

**Рик:** Практически никто.

**Феррари:** А попади эти пропуска ко мне в руки, я бы на них целое состояние сделал.

**Рик:** Я тоже. Мне бы деньги пригодились.

**Феррари:** Кто бы ни нашел эти пропуска — у меня к нему предложение. Я бы провернул всю операцию, всё оформил, взял бы весь риск на себя — за небольшой процент.

**Рик:** Плюс транспортные издержки.

**Феррари** (улыбнувшись): Естественно. Непредвиденные маленькие расходы. (Глядя Рику в глаза.) Вот такое предложение я делаю тому, у кого окажутся пропуска.

**Рик** (сухо): Когда он объявится, скажу ему.

**Феррари:** Рик, я кладу карты на стол. Мне кажется, что вы знаете, где эти бумаги.

**Рик** (пожав плечами): Ну, вы в хорошей



компании. Штрассеру и Рено тоже так кажется. Я и пошел-то к вам, чтобы они могли сделать у меня обыск.

**Феррари:** Рик, не глупите. Доверьтесь мне, вам нужен партнер.

Но Рик уже не слушает. Сквозь распахнутую дверь он видит Ильзу и Ласло. Они идут вдоль торговых рядов, направляясь к “Голубому Попугаю”.

**Рик** (прервав Феррари): Извините, я скоро вернусь.

Кивнув, Феррари принимается за виски.

Рик идет к выходу. В дверях он сталкивается с Ласло, тот вежливо останавливается.

**Ласло:** С добрым утром.

**Рик** (не задерживаясь, кивком головы показывает): Вон тот толстяк за столиком — это сеньор Феррари.

Он выходит из кафе. Ласло недоуменно смотрит ему вслед.

Ильза задержалась возле прилавка уличного торговца. Тот пытается всучить ей набор салфеток. На прилавке ценник: “700 франков”. Ильза видит приближающегося Рика, но притворяется, будто всецело поглощена покупкой: ей хочется избежать неприятной встречи.

**Араб:** Такую прелесть, мадемуазель, вы во всем Марокко не найдете. И всего семьсот франков.

**Рик** (подойдя): Тебя надуют.

Ильза оборачивается к нему. Ей хватило доли секунды, чтобы взять себя в руки.

**Ильза** (сухо): Спасибо, это несущественно.

**Араб:** О, дама знакома с Риком? Для друзей Рика мы делаем скидку. Я сказал, семьсот? Вам отдаю за двести.

Пошарив под прилавком, он достает другой ценник — “200 фр.” и убирает “700 фр.”

**Рик:** Хочу извиниться. Вчера вечером, когда ты пришла, я был сильно не в форме.

**Ильза:** Это не существенно.

**Араб:** О! Для больших друзей Рика — большая скидка!

Он еще раз меняет ценник: “100 фр.”

**Рик:** На меня плохо подействовал твой рассказ. А может, виски.

**Араб:** У меня есть скатерти, есть салфетки...

**Ильза:** Спасибо, мне не нужно.

**Араб:** Одну минуточку! Прошу вас!

Он куда-то убегает. Ильза делает вид, что разглядывает товары на прилавке. Короткая пауза.

**Рик:** Зачем ты приходила? Чтобы рассказать, почему убежала от меня на вокзале?

**Ильза** (спокойно): Да.

**Рик:** Так расскажи сейчас. Я относительно трезв.

**Ильза:** Мне как-то расхотелось.

**Рик:** Почему? В конце концов, у меня же пропал второй билет. Я имею право узнать, по какой причине.

**Ильза** (медленно): Вчера вечером я увидела, во что ты превратился. Рик, которого я знала в Париже — тому Рик у я бы могла объяснить, он бы понял. Но Рик у, который смотрел на меня с такой ненавистью... (Тряхнув волосами.) Я скоро уеду и больше мы никогда не увидимся. В Париже, когда у нас была любовь, мы мало что знали друг про друга. Пусть так и остаётся — чтоб мы могли вспоминать те дни, а не Касабланку... не вчерашний вечер.

**Рик** (тихо, но с напором): Ты ушла от меня, потому что не могла вынести такой жизни? Потому что знала, как это тяжело — вечно быть в бегах, прятаться от полиции?..

**Ильза:** Считай так, если тебе хочется.

**Рик:** Но теперь-то я не в бегах. Веду оседлый образ жизни — правда, на втором этаже своего кафе. (С усмешкой.) Поднимись туда. Я буду ждать.

Ильза отрицательно качнула головой.

**Рик:** Все равно, в один прекрасный день ты наврешь что-нибудь своему Ласло и придешь!

**Ильза** (почти не разжимая губ): Нет, Рик. Видишь ли, Виктор Ласло мой муж.

Рик уставился на нее, не желая верить.

**Ильза:** И был моим мужем... Когда мы с тобой познакомились в Париже.

Она поворачивается и идет в кафе к Ласло и Феррари. Рик провожает ее долгим взглядом.

Подбегает торговец-араб: он вернулся с ворохом скатертей и салфеток. Горестно озирается, потом кладет свой товар на прилавок; покачав головой, убирает ценник “100 фр.” и ставит на место прежний — “700 фр.”

В кафе Феррари усаживает Ильзу в кресло.

**Феррари:** Я только что объяснил мсье



Ласло, что к сожалению ничем не могу помочь.

**Ильза:** О-о...

**Ласло:** Понимаешь, милая, про нас уже знают.

**Феррари (Ильзе):** В Касабланке все нелегальные операции проходят через мои руки, я человек влиятельный и уважаемый. Но даже я ничего не могу сделать для месье Ласло. Вот для вас — это другое дело.

**Ласло:** Феррари думает, что для тебя выездную визу он бы устроил.

**Ильза:** Чтоб я уехала одна, так?

**Феррари:** Именно так.

**Ласло:** А я пока останусь, и постараюсь что-нибудь придумать. Возможно, через несколько дней я тоже...

**Феррари:** Давайте говорить начистоту, месье. Только чудо поможет вам уехать из Касабланки. Но чудеса объявлены немцами вне закона.

**Ильза:** Нам нужны две визы, сеньор.

**Ласло:** Ильза, прошу тебя. Рассуди спокойно.

**Ильза (твердо):** Нет, Виктор.

**Феррари:** Вам лучше обсудить это вдвоём. (Встаёт.) Извините. Если что — я в баре.

Откланявшись, он удаляется.

**Ласло:** Нет, Ильза, нет. Тебе нельзя задерживаться. Надо лететь в Америку. И поверь — не знаю, как, но я отсюда выберусь. Догоню тебя.

**Ильза (не дает ему договорить):** Виктор, а если бы дело обстояло иначе. Если бы я вынуждена была остаться, а у тебя была бы виза — ты бы уехал?

**Ласло (не очень уверенно):** Я?.. Да, я бы уехал.

Ильза грустно улыбнулась.

**Ильза:** Понятно... А когда я не смогла уехать из Лилля, почему ты остался со мной? Когда в Марселе я заболела и задержала тебя на две недели, и каждую минуту ты рисковал головой — почему ты не бросил меня?

**Ласло (усмехнувшись):** Я хотел. Но всякий раз что-то мешало. (Перегнувшись через столик, накрывает ладонью ее руку.) Ильза, я очень люблю тебя.

**Ильза (с улыбкой):** Никому не выдам этот твой секрет. (Поднимаясь.) Феррари ждет ответа.

Они подходят к стойке; Феррари как раз заканчивает разговор с барменом.

**Феррари:** Но никак не дороже пятидесяти франков.

**Ласло:** Мы решили, сеньор Феррари. Будем думать, как раздобыть две визы. А вам большое спасибо.

**Феррари (безнадежно разводя руками):** Что же, желаю удачи. Но будьте осторожны. (Чуть заметным движением глаз показывает на улицу.) Вы заметили, что за вами следят?

**Ласло (не оборачиваясь):** Конечно,

заметил. Это уже инстинкт.

**Феррари** (глядя на Ильзу): Вижу, что в одном отношении вам очень повезло... Месье, я сочту за честь дать вам совет. Хотя, честно сказать... Я-то с этого ничего иметь не буду, но... Скажите, вы слышали про сеньора Угарте и про транзитные пропуска?

**Ласло**: Кое-что слышал.

**Феррари**: Когда Угарте арестовали, пропусков при нем не было.

**Ласло** (помолчав): Вы знаете, у кого они?

**Феррари**: Ручаться не могу, но сильно подозреваю, что Угарте оставил их у месье Рика.

Ильза помрачнела — это не ускользнуло от внимания Ласло.

**Ласло**: У Рика?

**Феррари**: С ним нелегко иметь дело, с этим Риком. Никогда не угадаешь, что он скажет и как поступит. Но ведь попытка не пытка?

**Ласло**: Еще раз большое спасибо. Всего доброго.

**Ильза**: До свиданья. Спасибо за прекрасный кофе. Будет что вспомнить, когда мы улетим из Касабланки.

**Феррари**: Вы очень любезны, рад, что угодили. Всего хорошего, мадемуазель.

Феррари возвращается в кафе, а Ильза с Ласло выходит на улицу. Краем глаза Ласло наблюдает за женой.

Вечер. В кафе "У Рика" играет музыка: Корина поет, Сэм аккомпанирует.

У стойки бара чернявый европеец обнимает за талию хорошо одетого туриста.

**Чернявый**: За ваше здоровье, сэр!

**Турист**: Э-э... Желая удачи.

**Чернявый**: Я, пожалуй, пойду.

**Турист** (бармену): Мне счет, пожалуйста.

**Чернявый**: Должен предостеречь вас, сэр... Просто заклинаю!..

**Турист**: Да?

**Чернявый**: Это очень опасное место. Здесь полно стервятников. Стервятники на каждом шагу!..

**Турист**: Да?

**Чернявый**: Да. Спасибо за все.

**Турист** (с пьяным смехом): До свиданья, сэр, до свиданья.

**Чернявый**: Приятно было познакомиться... Виноват!

Он удаляется. В кафе входит Штрассер со своей свитой.

Рик сидит один за столиком. Карл принес ему бутылку коньяку и бокал.

**Карл**: Месье Рик, вы становитесь самым выгодным своим клиентом.

Карл отходит, а к столу приближается Рено.

**Рено**: Рикки, вы меня радуете. Начинаете вести себя, как истинный француз.

**Рик** (наливая себе): Ваши люди устроили здесь такой кавардак! К открытию мы еле-еле закончили уборку.

**Рено**: Я говорил Штрассеру, что мы тут ничего не найдем. Но своим ребятам я велел перевернуть все вверх дном. Вы же знаете, как это нравится немцам. (Наливает себе.) Рик, эти транзитные пропуска у вас?

Несколько секунд Рик внимательно смотрит на Рено.

**Рик** (ровным голосом): Луи! Вы за вишистов или за Свободную Францию?

**Рено** (поспешно): Так мне и надо: не задавай прямых вопросов!.. Тема закрыта.

**Рик**: Похоже, вы немного опоздали.

**Рено**: С чем?

Рик кивком показывает на Ивонну: она идет в бар с каким-то немецким офицером.

**Рик**: Видите? Ивонна перешла на сторону противника.

**Рено**: Как знать! Может, она собирается открыть второй фронт — в единственном числе... Надо пойти, наговорить приятностей майору Штрассеру. До скорого, Рик!

Ивонна и немец у стойки.

**Ивонна**: Саша!

**Немецкий офицер** (требовательно): Французский коктейль!

Ивонна уже сильно под хмельком.

**Ивонна**: Давай, Саша, не жалей! (Проводит рукой по стойке.) Ставь целую батарею — от края до края!

**Немецкий офицер** (перебивает): Для начала два.

Неподалеку у стойки расположилась группа французских офицеров. Один из них обращается к Ивонне — по-французски.

**Французский офицер**: Ты французенка или кто? С немцами гуляешь?

**Ивонна**: А вам-то что?

**Французский офицер**: А то, что...

**Ивонна** (перебивает): Не лезьте не в свое дело!

**Немецкий офицер** (по-французски): Минуточку, минуточку! (Переходит на английский.) Что вы ей сказали? Будьте добры

повторить!

**Французский офицер:** Что я сказал, вас не касается.

**Немецкий офицер:** Сейчас коснется!

Он замахивается, француз увертывается, становится в защитную стойку. Шум, крики.

**Ивонна:** Перестаньте! Я прошу, перестаньте! Прекратите!

Подоспевший Рик решительно вдвигается между драчунами.

**Рик (немцу):** Скандалов я не люблю. Одно из двух: или кончайте с политикой, или выметайтесь.

**Французский офицер (по-французски):** Паршивый бош!.. Придет время, мы с ними рассчитаемся.

Рено, Штрассер и другие немцы, повскакавшие было с мест, снова усаживаются.

**Штрассер:** Как видите, капитан, ситуация вышла из-под вашего контроля.

**Рено:** Мой дорогой майор, мы стараемся сотрудничать с вашим правительством. Но чувства наших людей мы контролировать не можем.

**Штрассер (пристально смотрит на него):** Капитан Рено, а вы точно знаете, на чьей вы стороне?

**Рено:** Честно сказать, убеждений у меня нет. Держу нос по ветру, а ветер сейчас дует из Виши.

**Штрассер:** А если бы ветер переменялся?

**Рено (улыбнувшись):** Неужели Рейх допускает такую возможность?! Уверен, что нет.

**Штрассер:** Нас беспокоит не только Касабланка. Мы знаем, что все французские провинции в Африке кишат предателями, которые только и ждут подходящего момента. Может быть, ждут, пока появится лидер.

**Рено (закуривает, небрежно):** Такой, как Ласло?

**Штрассер (кивнув):** Угу. Я о нем думал. Слишком опасно — дать ему уехать. Но и оставлять в Касабланке тоже опасно.

**Рено (задумчиво):** Я понял вашу мысль.

За одним из столиков — пожилая супружеская пара, герр и фрау Лойхтаг. Подходит Карл.

**Карл:** Я принес вам самый лучший коньяк. У нас такой пьют только свои сотрудники.

**Лойхтаг (по-немецки):** Спасибо, Карл.

**Карл:** Это для фрау Лойхтаг.

**Лойхтаг:** Огромное спасибо. (Переходит на английский.) Присядьте, Карл. Выпейте с нами рюмочку.

**Фрау Лойхтаг (сияя):** Завтра мы летим в Америку. Выпьем за это!

**Карл (наливая):** Благодарю вас. Я знал, что вы предложите выпить. Поэтому и принес этот хороший коньяк и лишнюю рюмку.

**Фрау Лойхтаг:** Летим! Наконец-то дождался!

**Лойхтаг:** Мы с фрау Лойхтаг решили говорить только по-английски.

**Фрау Лойхтаг:** Чтобы чувствовать себя в Америке, как дома.

**Карл:** Очень умно.

**Лойхтаг:** За Америку! (Супруги чокаются и пьют). За Америку!.. Свитнесс харт, ват вотч?

**Фрау Лойхтаг (поглядев на часы):** Тен вотч.

**Лойхтаг (удивлен):** Сач мач?

**Карл:** О, вам в Америке будет легко.

Игорный зал. Аннина выгребает все деньги из сумочки, отдает кассиру.

**Аннина:** Фишек на двести франков, пожалуйста.

Получив фишки, она идет к столу, где Ян играет в рулетку. Аннина становится за его спиной. Смотрит, затаив дыхание, на крутящееся колесо. Колесо останавливается — и крупье подгребает к себе все фишки. Проигрыш... Ян вытирает взмокший лоб.

**Ян:** Опять черное!

**Аннина (отдает ему новые фишки):** Это все, что у нас осталось. Может, не стоит?..

**Ян (с горечью):** Двести франков или ничего — какая разница?

Уже без надежды он раскидывает фишки по разным номерам. Некоторое время Аннина наблюдает за ним, потом, решившись, выходит из зала. На выходе она сталкивается с капитаном Рено.

**Рено:** Ну, улыбнулась вам фортуна?.. Вижу, вижу. Очень жаль. (Кивком показывает на Рика.) Он сидит вон там.

Аннина замерла в нерешительности. Затем, сделав над собой усилие, пошла к Рику.

**Аннина:** Мсье Рик...

**Рик:** Да?

**Аннина:** Можно с вами поговорить?

**Рик (разглядывая ее):** Кто вас впустил? Вы же несовершеннолетняя.

**Аннина:** Меня провел капитан Рено.

**Рик** (с циничной усмешкой): А-а... Можно было догадаться.

**Аннина:** Мой муж тоже здесь.

**Рик:** Вот как? (Поглядев на Рено, усевшегося за стол.) Капитан Рено избавляется от последних предрассудков. Присядьте. Хотите выпить?

**Аннина:** Спасибо, нет.

**Рик:** Естественно. А если я выпью — не возражаете?

**Аннина:** Нет.

**Рик** наливает себе, пьет.

**Аннина** (она очень нервничает): Месье Рик... Что за человек капитан Рено?

**Рик** (пожав плечами): Мужчина. Такой же, как все... Даже немного больше.

**Аннина:** Я хотела сказать: можно ему доверять? Верить его слову?

**Рик:** Минуточку. Кто вам посоветовал спросить об этом меня?

**Аннина:** Он сам. Капитан Рено.

**Рик:** Я так и думал. (Пауза.) Где ваш муж?

**Аннина** (невесело): Играет в рулетку. Хочет выиграть, чтоб было, чем заплатить за выездные визы. И, конечно, проигрывает.

**Рик** изучающе смотрит на нее.

**Рик:** Вы давно женаты?

**Аннина** (просто): Восемь недель. (Рик кивает.) Мы из Болгарии. Там сейчас плохо, месье Рик, форменный ад. Так что мы с Яном... мы не хотим, чтобы наши дети росли в такой стране.

**Рик:** И поэтому решили ехать в Америку.

**Аннина:** Да. Но денег у нас совсем мало, а путешествовать — это так трудно и так дорого! Проезд до Касабланки нам обошелся дороже, чем мы думали... Здесь мы познакомились с капитаном Рено. Он был очень любезен, он хочет помочь.

**Рик:** Нет сомнений.

**Аннина:** Он сказал, что может сделать нам визы, но... (Она запнулась.) У нас нечем платить.

**Рик:** А он об этом знает?

**Аннина:** О, да.

**Рик:** И все равно хочет сделать визы?

**Аннина:** Да, месье.

Некоторое время Рик внимательно изучает свой стакан.

**Рик:** Так вы хотите узнать...

**Аннина:** Сдержит ли он свое слово, месье.

**Рик** (не отрывая глаз от стакана виски):

Всегда держал.

Молчание. Аннина смущена и взволнована.

**Аннина:** Месье, вы мужчина... Вот если бы вас кто-то любил очень сильно, так сильно, что ничего на свете ей не надо, только чтобы вы были счастливы. И ради этого она решилась на очень плохой поступок. Вы смогли бы простить?

**Рик:** Меня так сильно никто не любил.

**Аннина:** Но, месье, если он никогда-никогда не узнает, если этот плохой поступок, эта тайна останется в ее сердце — тогда можно? Или все равно нельзя?

**Рик** (резко): Вам нужен мой совет?

**Аннина:** Да, пожалуйста.

**Рик:** Возвращайтесь в Болгарию.

**Аннина:** Если б вы только знали, как нам нужно уехать из Европы!.. В Америку. (Пауза.) Но не дай Бог, Ян догадается... Он еще совсем мальчишка. Во многих делах я... Я старше его.

**Рик:** Мда... В Касабланке у каждого своя проблема. Вашу, пожалуй, можно еще решить... (Встает.) Прошу прощения.

**Аннина:** Спасибо, месье.

Она остается сидеть, разглядывая скатерть. Губы у нее дрожат.

Лавируя между столиками, Рик идет по залу. Вращающаяся дверь пропустила в кафе Ильзу и Ласло.

**Рик** (двинулся навстречу): Добрый вечер.

**Ласло:** Вечер добрый. Как видите, мы снова здесь.

**Рик:** Это делает честь Сэму. (Ильзе.) Мне кажется, что для вас Сэм — это Париж... э-э... более радостных дней.

**Ильза** (спокойно): Да, это так... Найдете нам столик поближе к Сэму?

**Ласло** (окинув взглядом зал): И подальше от майора Штрассера.

**Рик:** Попробуем разобраться с географией. (Щелкнув пальцами, подзывает метрдотеля.) Поль! Тридцатый стол.

**Метрдотель** (Виктору Ласло): Прошу вас, сэр. Сюда, пожалуйста.

**Рик** (Ильзе): Я скажу Сэму, чтоб сыграл "As time goes by". Это ведь ваша любимая песенка?

**Ильза** (с вежливой улыбкой): Благодарю вас.

Метрдотель ведет гостей к столику.

**Ласло:** Два коньяка, пожалуйста.



**Рик** подошел к Сэму, что-то шепчет ему на ухо.

Покачав головой, Сэм берет первые аккорды.

А Рик направляется в игровой зал.

Аннина встает из-за столика, идет следом.

У стола с рулеткой — Ян. На лице трагическое выражение, в руке — последние три фишки. Вошедший Рик слышит его разговор с крупье.

**Крупье:** Хотите еще разок поставить?

**Ян:** Нет, нет. (Подкидывает на ладони фишки.) Не хочу.

Рик с безразличным видом останавливается за его спиной.

**Рик:** На двадцать второй ставили?

Попробуйте. На двадцать второй.

Ян смотрит на Рика, потом на оставшиеся фишки — и ставит их на двадцать второй. Крупье обменялся с Риком взглядом, понял, что от него требуется, и запустил колесо.

**Крупье:** Ставки сделаны!

Издали с интересом следит за игрой Карл. Колесо останавливается.

**Крупье** (выкликает): Номер двадцать два!

Он придвигает целую кучу фишек. Ян протянул было руку за ними, но Рик останавливает его.

**Рик** (не глядя на Яна): Оставьте там же.

Аннина не спускает с Рика глаз. После секундного колебания Ян убирает руку. Карл подходит ближе. Теперь колесо запускает сам Рик. Пока оно вертится, никто не произносит ни слова. Наконец, колесо остановилось.



**Крупье:** Номер двадцать два!

У Карла отвисла челюсть. А крупье пододвигает все фишки к Яну.

**Рик (Яну):** Идите, получайте деньги. И не возвращайтесь.

Двое посетителей наблюдали за игрой.. Один из них с подозрением спрашивает у Карла:

— Слушайте, а тут не жульничают?

**Карл (с негодованием):** Жульничают?! Да никогда в жизни!

Рик поворачивается к крупье.

**Рик:** Ну, как сегодня?

**Крупье (сухо):** Как, как... Тысячи на две меньше, чем я рассчитывал.

Усмехнувшись, Рик отходит от стола.

Вместе с Карлом Рик возвращается в кафе.

За ними бежит и Аннина.

**Аннина (целует Рика):** Месье Рик... У меня просто...

**Рик:** Просто он у вас везучий парень.

**Карл:** Чашечку кофе, месье Рик?

**Рик:** Нет, спасибо, Карл.

В углу бара, у стойки, Ян пыгается всучить капитану Рено пачку денег.

**Ян:** Капитан Рено, разрешите...

**Рено:** Нет, нет, не сейчас. Утром придете ко мне в кабинет и сделаем все, как полагается.

**Ян:** Мы будем у вас в шесть.

**Рено:** Я буду в восемь. (Широко, но не очень искренне улыбается.) Как я рад за вас обоих! Но все-таки — это очень странно, что вам так повезло. (Краем глаза увидел Рика.)

А может быть, не так уж странно... Жду вас утром.

**Аннина:** Большое спасибо, капитан Рено. Совершенно счастливые, они с Яном уходят. Рено провожает девушку грустным взглядом.

Карл шепчет что-то на ухо Саше.

**Саша:** Ну да? (Подбежал к Рику, расцеловал). Босс, вы поступили очень красиво!

**Рик:** Отстань, сумасшедший русский.

Тайком Рик поглядывает в сторону Ильзы. К нему подходит Рено.

**Рено:** Как я и подозревал, вы жутко сентиментальны.

**Рик:** Даже так?

**Рено (укоризненно):** Зачем вы вмешиваетесь в мои амурные дела?

**Рик:** Считайте, что это был любовный порыв.

**Рено (добродушно):** На этот раз прощаю. Но завтра я приведу играть такую брюнеточку — закачаешься! И если она проиграется в пух и прах, я буду очень, очень рад. Вот так.

Улыбнувшись на прощанье, он удаляется. Подходит Ласло.

**Ласло:** Месье Блейн, можно поговорить с вами?

**Рик:** Говорите.

**Ласло:** А нет ли другого места? Это разговор конфиденциальный.

**Рик:** Пойдемте в мой кабинет.

В кабинете Рик усаживается за письменный стол.

**Рик:** Не будем ходить вокруг да около. Вас интересуют эти транзитные пропуска, так ведь?

**Ласло:** Так.

**Рик:** Похоже, вся Касабланка уверена, что пропуска у меня.

**Ласло (глядя ему в глаза):** Они у вас?

**Рик:** Не говорю ни да, ни нет.

Пауза.

**Ласло:** Давайте исходить из предположения, что пропуска у вас.

**Рик (пожав плечами):** Давайте.

**Ласло:** Прекрасно. Вы, конечно, знаете, что мне просто необходимо выбраться из Касабланки. (Без всякого пафоса.) Мне выпала честь быть одним из руководителей подпольного движения. Чем я занимался, вам

известно. Нетрудно понять, что от успеха моей работы — если я продолжу ее в Америке — будет зависеть жизнь и судьба тысяч и тысяч других людей.

**Рик:** Я не интересуюсь политикой. Мировые проблемы — это не по моей части. Я — владелец кафе и только.

**Ласло:** Мои товарищи по подполью говорят, что у вас очень интересная биография. Вы доставляли оружие в Эфиопию. Вы воевали против фашистов в Испании.

**Рик:** Ну и что?

**Ласло:** Разве не странно, что всегда вы оказывались на стороне слабых?

На мгновение Рик задумался. Потом встал и вышел из-за стола.

**Рик:** Да. И понял, что это очень дорогое хобби. Беда в том, что мне всегда не хватало деловой хватки.

**Ласло:** А хватит у вас деловой хватки, чтобы оценить такое предложение: сто тысяч франков?

**Рик:** Оценил. Но не принял.

Он прислушивается к пению, доносящемуся из кафе.

**Ласло:** Готов поднять цену до двухсот тысяч.

**Рик:** Дружище, поднимайте хоть до миллиона, хоть до трех — ответ будет тот же.

**Ласло:** Наверное, есть серьезная причина, почему вы не хотите продать мне эти пропуска.

**Рик:** Причина есть. Советую спросить у вашей жены.

**Ласло (озадачен):** Простите, не понял?..

**Рик:** Я говорю, спросите у своей жены.

**Ласло:** У моей жены?

**Рик:** Да.

Он выходит из кабинета, оставив Ласло в полном недоумении.

Вернувшись в зал, Рик видит: два немецких офицера стоят возле пианино с пивными кружками в руках и поют "Wacht am Rhein". Сэм аккомпанирует; ему очень не по себе. Все, кто есть в кафе, смотрят на поющих.

Вдруг Сэм перестал играть. Выругавшись по-немецки, один из офицеров стаскивает его с табурета. И продолжает петь.

Какой-то французский офицер кинулся было к поющим, но Саша, молча перегнувшись через стойку, придержал его за плечо.

На лице Рика — никаких эмоций. В дверях игорного зала остановился Рено. По нему тоже не скажешь, как он относится к

происходящему .

Песню не подхватил никто, кроме чернявого европейца — и Штрассера. Майор поет стоя, вытянувшись во весь рост.

Из кабинета Рика выходит Ласло. Плотнo сжав губы, он пересекает зал и наклоняется к Сэму.

**Ласло:** Играйте “Марсельезу”. Играйте!

Сэм вопросительно смотрит на Рика. Тот незаметно кивнул; Сэм берет несколько первых аккордов.

Ивонна, сидевшая за столиком со своим компаньоном-немцем, вскакивает на ноги и во весь голос запекает “Марсельезу”.

**Ивонна:** Allons, enfants de la patrie...

Вместе с ней поет Ласло. В глубине зала к ним присоединился еще кто-то; “Марсельезу” подхватил и женский голос.

Какой-то офицер-француз встал с вызывающим видом рядом с Ласло и тоже запел. Один за другим посетители кафе встают с мест и присоединяются к хору. Поют официанты, поют бармены, поют туземцы—полицейские.

Дружный хор почти заглушил пение немцев. Сколько-то времени “Wacht am Rhein” пыгается состязаться с “Марсельезой”, но безуспешно.

И немцы сдаются, умолкают — только смотрят негодующе на поющих французов. А чернявый перебрался на другое место, подальше от немцев, и поет теперь французский гимн с таким же энтузиазмом, с каким пел немецкий.

Лицо Рика по-прежнему ничего не выражает. На губах Рено полуулыбка — но что за ней прячется, угадать непросто.

За своим столиком Ильза поет “Марсельезу”, не сводя с Ласло глаз; она явно гордится им.

Наконец музыка обрывается на звонкой торжествующей ноте. Ивонна с вызовом поворачивается к немцам.

**Ивонна:** Vive la France! Vive la democratie!

Несколько французских офицеров, окружив Ласло, угощают его вином. Крики: “Vive la France! Vive la democratie!”

Выражение лица Штрассера не предвещает ничего хорошего. Решительным шагом он пересекает зал, направляясь к Рено.

**Штрассер** (сквозь зубы): Теперь вам понятно, что я имел в виду? Одним своим появлением Ласло сумел спровоцировать эту



крайне нежелательную демонстрацию. Что же будет дальше, если он останется в Касабланке?.. А это кафе я рекомендую немедленно закрыть.

**Рено** (невинным тоном): Но посетителям было здесь так хорошо!

**Штрассер:** Слишком хорошо. Сейчас же закрыть кафе.

**Рено:** Но у меня нет подходящего предложения.

**Штрассер** (рывкнул): Так найдите!

Подумав секунду, Рено достает полицейский свисток.

Пронзительный свист. Кафе притихло, все головы повернулись к Рено.

**Рено** (громко): Всем покинуть зал! Кафе закрывается до особого распоряжения!

Недовольный ропот.

Быстрыми шагами подходит Рик.

**Рик:** Как это закрывается? На каких основаниях?

**Рено** (драматическим жестом показывает на дверь игорного зала): Я шокирован! Просто шокирован! Здесь, оказывается, процветают азартные игры!

Такого нахальства Рик не ожидал даже от Рено. Из игорного зала выходит крупье, вручает капитану пачку купюр.

**Крупье:** Ваш выигрыш, сэр.

**Рено** (пряча деньги в карман): Благодарю вас... (Снова поворачивается к залу.) Все, все



на выход!

Кафе постепенно пустеет. К Ильзе, по-прежнему сидящей за столиком, подходит Штрассер.

**Штрассер** (участливо): Мадемуазель, после этого инцидента Виктору Ласло оставаться в Касабланке небезопасно.

Ильза кивком предлагает ему присесть. Поклонившись, Штрассер садится напротив нее.

**Ильза** (смотрит на него испытующе): Утром вы дали ему понять, что небезопасно пытаться куда-нибудь уехать.

**Штрассер**: Это тоже опасно. За одним исключением. (Наклоняется к Ильзе.) Он может уехать обратно в оккупированную Францию.

**Ильза**: В оккупированную?!

**Штрассер**: Угу. С охранной грамотой от меня.

**Ильза**: А гарантии? Вспомните, чего стоили все прежние немецкие гарантии.

**Штрассер**: Остаются еще два варианта.

**Ильза**: Какие же?

**Штрассер**: Не исключено, что местные власти сочтут целесообразным интернировать его, поместить в концлагерь.

**Ильза**: А второй вариант?

**Штрассер**: Дражайшая Ильза, вы, по моему, уже имели случай убедиться, что

человеческая жизнь стоит в Касабланке дешево.

Намек понятен. Увидев приближающегося Ласло, немец откланивается.

**Штрассер**: Спокойной ночи, мадемуазель. В вестибюле Ласло подает Ильзе плащ.

**Ильза**: Как получилось с Риком?

**Ласло**: Обсудим это потом.

Бар. Посетители торопливо допивают кто что заказывал и спешат к выходу. К Саше обращается немецкий офицер.

**Офицер**: Выпью, пожалуй, посшок на дорожку. Что это у вас в шейкере?

**Саша** (сверившись с бумажкой): Какой-то новый коктейль.

**Офицер**: Попробуем.

Берет стакан, выпивает до дна и, бросив несколько монет на стойку, отходит. Но не успевает немец пройти и трех шагов, как глаза его стекленеют. Он судорожно хватается за живот и опрометью бросается к выходу.

Хлопнула дверь: это Ильза и Ласло вернулись к себе в отель. Ласло зажигает свет, помогает Ильзе снять плащ и сразу идет к окну. Раздвинув шторы, он выглядывает на улицу.

На другой стороне, в подъезде, маячит какой-то субъект.

**Ласло** (задергивая штору): Наш верный



друг все еще там.

Ильза подходит, становится рядом с мужем.

Ильза: Виктор, прошу: не ходи ты к этим подпольщикам.

Ласло: Меня ждут. (Улыбнувшись.) А потом, не так уж часто выпадает случай показать жене, какой ты герой.

Ильза: Не надо шутить. После разговора со Штрассером я стала бояться.

Ласло (с той же улыбкой): Сказать по правде, милая, я и сам боюсь. Но что лучше: отсиживаться в отеле или пытаться хоть что-то сделать?

Ильза: Как бы я не ответила, отсиживаться ты не станешь... Виктор, почему ты ничего не рассказал про Рика? Что удалось выяснить?

Ласло: По-видимому, транзитные пропуски у него.

Ильза: Да?

Отворачивается, чтобы скрыть волнение, садится на край кровати. Ласло испытующе смотрит на нее, но в его взгляде нет и тени враждебности.

Ласло: Продавать их он не желает. А казался бы, для человека лишенного сантиментов, деньги — убедительный аргумент.

Ильза (пытаясь скрыть дрожь в голосе): Он объяснил, почему?

Ласло: Посоветовал спросить об этом тебя.

Ильза: Спросить меня?

Ласло: Так и сказал: спросите у своей жены. Почему он так сказал, я не знаю.

Не выдержав его взгляда, Ильза отворачивается. Ласло выключает свет.

Ласло: Пускай наш друг на улице подумает, что мы легли спать. Минут через пять я пойду.

Он присаживается на кровать рядом с женой. Тягостное молчание. Его прерывает Ласло.

Ласло (спокойно): Ильза, я...

Ильза: Что?

Ласло (после паузы): Ильза, пока я сидел в концлагере, тебе в Париже одиноко было?

Ильза: Да, Виктор. Очень одиноко.

Ласло (с участием): Я-то знаю, что такое одиночество. (Помолчав, не меняя тона.) Ты ничего не хочешь рассказать мне?

Ильза: Нет, Виктор. Ничего.

Губы ее дрожат: Ильзе нелегко держать себя в руках. Снова молчание. В темноте слышен голос Ласло.

Ласло: Я очень тебя люблю, милая.

Ильза (каждое слово дается ей с трудом): Да. Да, я знаю... Виктор, что бы я ни сделала, ты будешь верить, что я... что мне...

Ласло: Не надо спрашивать. Буду верить, буду. (Он встает; наклонившись, целует ее в щеку.) Спокойной ночи, дорогая.

Ильза: Спокойной ночи.

Ласло идет к двери. И вдруг она вскакивает, бежит за ним.

**Ильза** (изменившись в лице): Виктор!

**Ласло**: Что, милая?

Ильза колеблется. И, наконец, говорит совсем не то, что решила было сказать.

**Ильза**: Будь осторожен.

**Ласло**: Конечно.

Целует ее в лоб и выходит из номера. Ильза идет к окну.

В подъезде напротив — никого. Филёр покинул пост.

Ильза следит за идущим по узкой улочке мужем, пока он не скрывается в темноте.

Тогда, после недолгого колебания, она надевает плащ и идет к двери.

В кабинете Рик и Карл проверяют конторские книги.

**Карл**: Герр Рик, дела обстоят совсем неплохо.

**Рик**: Сколько еще дней мы можем не открывать кафе?

**Карл**: Недели две-три.

**Рик**: Может, и раньше откроемся. Взятка — великая сила. А пока что за всеми вами сохраняется жалованье.

**Карл**: О, спасибо, герр Рик. Это особенно обрадует Сапу: я ему задолжал.

**Рик**: Запрешь двери, ладно, Карл?

**Карл**: Запру и пойду на сходку к ...

**Рик** (обрывает его): Не говори мне, к кому.

**Карл**: Не буду. Доброй ночи, месье Рик.

**Рик**: Доброй ночи.

По наружной галерее Рик переходит в свою квартиру. Открывает дверь и видит в темной комнате женскую фигуру. Рик зажигает лампу и застывает в изумлении: это Ильза.

**Рик**: Как ты вошла?

**Ильза**: Поднялась по наружной лестнице.

**Рик**: Я говорил утром: еще придешь. Но ты даже опережаешь график. (С изысканной любезностью.) Не присядешь ли?

**Ильза** (усаживаясь): Ричард, мне необходимо было увидеться с тобой.

**Рик**: Я уже снова Ричард? Мы снова в Париже?

**Ильза**: Не надо, прошу тебя.

**Рик** (закурив): Твой неожиданный визит не связан ли случайно с транзитными пропусками? (Ильза молчит.) Похоже, что

пока эти пропуска у меня, соскучиться мне не дадут.

**Ильза** (глядя на него в упор): Ричард, назначь любую цену, но отдай мне пропуска.

**Рик**: Мы уже обсудили этот вопрос с твоим мужем... Не пойдет.

**Ильза**: Я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Но прошу тебя: отбрось чувства, есть вещи поважнее.

**Рик**: Опять я должен слушать про то, какой великий человек твой муж и за какое великое дело он сражается?

**Ильза**: Когда-то это было и твое дело. Ты тоже воевал за него — по-своему.

**Рик**: Я больше ни за кого не воюю, разве только за себя. Единственное дело, которое меня интересует, — это я сам.

Пауза. Ильза пробует зайти с другой стороны.

**Ильза**: Рик, мы с тобой любили друг друга. Если те дни хоть что-нибудь для тебя значат...

**Рик** (резко): Я бы на твоём месте не напоминал о Париже. Плохая коммерция.

**Ильза**: Пожалуйста, пожалуйста, выслушай меня. Если б ты знал, что на самом деле произошло... Если бы знал правду...

**Рик** (не дает договорить): Я тебе все равно не поверил бы. Ты сейчас что угодно скажешь, чтобы добиться своего.

**Ильза** (вспыхнув): Тебе нравится жалеть себя, да? (Презрительно.) Тут вопрос жизни и смерти, а ты способен думать только о своих оскорбленных чувствах. Женщина обидела тебя, так надо выместить обиду на всем человечестве? Ты трус, ты слабак!.. (Запал вдруг кончился.) Нет... Прости, Ричард, прости меня. Но у нас вся надежда на тебя. Если не поможешь, Виктор Ласло так и умрет в этой Касабланке.

**Рик**: Подумаешь! Я и сам приготовился умереть в Касабланке. Самое подходящее место для этого. Так что, если ты...

Он осекая, увидев, что в руке у Ильзы появился маленький револьвер.

**Ильза**: Хватит. Я все испробовала, я хотела по-хорошему... Давай сюда пропуска! В глазах у Рика мелькнуло что-то вроде восхищения.

**Ильза**: Слышал?.. Или раздобудь их!

**Рик**: Да вот они у меня.

Он достает из внутреннего кармана конверт с пропусками.

**Ильза**: Клади на стол.

**Рик:** Нет.

**Ильза:** Последний раз говорю: положи их на стол!

**Рик:** Если Ласло и его великое дело так много значат для тебя, ты ни перед чем не остановишься. Ладно, облегчу тебе задачу: стреляй! Ты окажешь мне большую услугу.

Держа Рика под прицелом, Ильза поднимается со стула. Палец на спусковом крючке дрожит: она собирает все свое мужество, чтобы нажать на спуск. И не выдерживает. Пистолет падает на стол, а Ильза, зарывав, закрывает лицо ладонями. Рик подходит к ней вплотную. И вдруг она кидается к нему на грудь.

**Ильза** (почти в истерике): Ричард, как я хотела забыть тебя!.. Я думала, мы никогда не увидимся... Думала, ты ушел из моей жизни. Если бы ты знал, что со мной было в тот день, когда ты уехал из Парижа! Если бы ты только знал, как я тебя любила... Как до сих пор люблю!..

Рик прижимает ее к себе, закрывает ей рот жаркими поцелуями. Ильза обмякает в его объятьях... Затемнение.

Та же комната спустя сколько-то времени. На столе бутылка шампанского и недопитые бокалы. Стоя у окна спиной к Ильзе, Рик слушает ее рассказ.

**Рик:** А потом?

**Ильза:** Как только мы поженились, Виктор вернулся в Чехословакию. Ему надо было быть в Праге. Но там его уже поджидало гестапо... Две короткие строчки в газете: "Виктор Ласло задержан. Отправлен в концлагерь". Я была как сумасшедшая... Несколько месяцев ходила, искала работу. Потом пришло известие: Ласло убит, его застрелили при попытке к бегству... Мне было так одиноко! Ничего у меня не осталось — даже надежды... А потом я встретила тебя.

**Рик:** Почему ты честно не рассказала? Почему держала в секрете свое замужество?

**Ильза:** Это был не мой секрет. Так хотел Виктор. Даже самые близкие друзья не знали, что мы женаты. Таким способом он хотел оградить меня. Я ведь была в курсе всех его дел, и если бы гестапо пронюхало, что я его жена, в опасности оказались бы и я, и те, кто с нами работал.

**Рик:** Хорошо. А когда же ты узнала, что он жив?

**Ильза:** Перед самым твоим отъездом из Парижа. Пришел наш друг и сказал: Виктор жив... Они прятали его в товарном вагоне на окраине Парижа. Он был очень болен, он нуждался во мне. (Со вздохом.) Я хотела сказать тебе, но побоялась. Я ведь знала: ты тогда не уедешь и попадешь в гестапо. И поэтому я... Ну, все остальное ты знаешь.

**Рик:** Ха. Но у этой истории не хватает конца. Что будет дальше?

**Ильза:** Дальше? Не знаю. (Просто.) Знаю только, что уже не смогу уйти от тебя.

**Рик:** А как быть с Ласло?

**Ильза:** Ведь ты pomoжешь мне, Рик? Сделай так, чтобы он смог уехать. (Рик кивает.) У него останется его работа — все, ради чего он жил.

**Рик** (помолчав): Не всё. У него не будет тебя.

**Ильза:** Я устала бороться. Один раз я от тебя сбежала, второй раз не смогу. Я уже не знаю, что правильно, что неправильно. Тебе придется решать за нас обоих... решать за всех нас.

**Рик:** Ладно. Согласен... (Поднимает бокал.) За тебя, малыш!

**Ильза** (шепотом): Лучше бы я не любила тебя так сильно.

Она притягивает его лицо к себе. И тут слышится какой-то шум. Рик ставит бокал на стол и направляется к двери. Ильза идет за ним.

На темной улице, возле входа в кафе, — Ласло и Карл. Они прижались к стене, чтобы не попасть в свет фар мчащегося на полной скорости автомобиля.

Машина умчалась в темноту.

**Карл:** По-моему, мы их перехитрили.

**Ласло:** Да. Но кого-то из наших они, боюсь, схватили.

**Карл:** Заходим... Входите же!

Они проходят в кафе, взволнованные, еще не отдышавшиеся после погони.

**Карл:** Давайте-ка я вам помогу.

**Ласло:** Спасибо.

**Карл:** Сейчас воды наберу.

Их разговор слышит Рик и стоящая за его спиной Ильза. Не в силах скрыть беспокойства за мужа, она порывается спуститься вниз. Но Рик, выставив руку, преграждает дорогу. Ильза отступает в глубину комнаты, а Рик выходит на антресоль. Кричит вниз:



**Рик:** Карл, что случилось?

Оба — и Карл, и Ласло — поднимают к нему лица.

**Карл** (возбужденно): Герр Рик, полиция... Она разогнала сходку, мы убежали в последний момент.

**Рик:** Поднимитесь ко мне на минутку.

**Карл:** Иду.

Он ставит на стойку бара пустой стакан и по лестнице поднимается к Рiku.

**Рик:** Надо выключить свет над служебным входом. Чтобы не набежала полиция.

**Карл:** Но ведь Саша всегда, перед тем, как...

**Рик** (не дает договорить): Сегодня он забыл выключить.

**Карл:** Сейчас схожу.

**Рик** (понизив голос): Я хочу, чтобы вы проводили домой мисс Лунд.

У Карла глаза полезли на лоб, но он понимает: вопросов задавать не нужно.

**Карл:** Слушаюсь, герр Рик.

Карл проходит в комнату. А Рик спускается по лестнице в бар.

Там Ласло обматывает салфеткой порезанное запястье. Рик вопросительно

смотрит на ранку.

**Ласло:** Ерунда, царапина. Нам пришлось уходить через окно.

Застегивает манжету, чтобы держалась повязка. Зайдя за стойку, Рик достает бутылку виски, наливает и подвигает стакан Ласло.

**Рик:** Это не повредит.

**Ласло:** Спасибо.

Залпом выпивает виски. Рик наливает себе.

**Рик:** Чудом спаслись?

**Ласло:** Вроде того.

**Рик:** А вам не кажется иногда, что, может оно и не стоит того?

Ласло в недоумении уставился на него.

**Рик:** Я хочу сказать: стоит этих мук дело, за которое вы сражаетесь?

**Ласло:** С таким же успехом можно спросить, зачем мы дышим. Перестанем дышать - погибнем. Перестанем сражаться с врагами - весь мир погибнет.

**Рик:** И пускай бы. Погибнет и избавится от всех своих бед.

**Ласло:** Знаете, что мне кажется, месье Рик? Вы стараетесь убедить себя в том, во что в глубине души сами не верите. У каждого своя планида — у кого добрая, у кого злая.

**Рик** (сухо): Понял вас.

**Ласло:** Сомневаюсь. Не уверен, что вам

понятно и другое: вы стараетесь убежать от самого себя; но это никогда вам не удастся.

**Рик:** Про мою планиду вы, похоже, все уже знаете.

**Ласло:** Я знаю про вас гораздо больше, чем вы думаете. Знаю, например, что вы влюблены.

Рик, который уже поднес стакан к губам, ставит его обратно на стол.

**Ласло** (с грустной улыбкой): И как ни странно, получилось так, что мы с вами влюблены в одну и ту же женщину.

Откинувшись на спинку стула, Рик не мигая смотрит на Ласло. Тот подходит ближе.

**Ласло:** В первый же вечер, когда я зашел в ваше кафе, я понял, что у вас с Ильзой что-то было. Никто в этом не виноват и не нужно никаких объяснений. Я прошу только об одном.

Ласло садится; они в упор глядят друг на друга.

**Ласло:** Мне вы не отдаёте транзитные пропуска. Не надо. Но я хочу, чтобы моей жене ничего не грозило. Окажите мне услугу, сделайте так, чтобы она смогла уехать из Касабланки.

**Рик** (недоверчиво): Вы так ее любите?

**Ласло:** Вероятно, вы во мне видите только руководителя подполья. А я ведь еще и человек. (Отведя глаза в сторону, негромко.) Да, я так люблю ее.

Раздается громкий стук в дверь, и сразу же в кафе врываются жандармы. Офицер-француз идет к освещенной части зала.

Рик и Ласло встают навстречу.

**Офицер:** Месье Ласло?

**Ласло:** Это я.

**Офицер:** Пройдемте с нами. У меня ордер на ваш арест.

**Ласло:** В чем я обвиняюсь?

**Офицер:** Это вы обсудите с капитаном Рено.

Ласло бросает взгляд на Рика. Тот иронически улыбается.

**Рик:** Как видно, у вашей планиды длинные руки.

В сопровождении офицера Ласло с достоинством направляется к выходу. Рик задумчиво провожает его глазами.

В кабинете префекта полиции Рик беседует с капитаном Рено.

**Рик:** Вы же отлично знаете: вещественных доказательств у вас нет. Здесь не Германия и не оккупированная Франция. Все, что вы можете сделать, это оштрафовать на несколько тысяч франков и дать ему тридцать суток. (Рено пожимает плечами.) А вообще: почему бы не дать Ласло разрешение на выезд?

**Рено:** Рикки, я бы посоветовал не проявлять особого интереса к делам Ласло. Если же вы собрались устроить ему побег...

**Рик** (перебивает): С чего это вы взяли, что его дела меня волнуют?

**Рено:** Вот с чего. Во-первых, вы поспорили со мной на десять тысяч, что он сумеет выбраться отсюда. Во-вторых, транзитные пропуска у вас... Не отпирайтесь, не тратьте зря время... И в-третьих, вы способны пойти на это просто потому, что вам не нравится физиономия Штрассера. Сказать по правде, мне она тоже не нравится.

**Рик:** Что ж, все три резона убедительны.

**Рено:** Не слишком рассчитывайте на мое дружеское отношение, Рикки. В данном случае я бессилен. И к тому же, не хочу проспорить десять тысяч франков.

**Рик:** Действуете вы не очень тонко, но эффективно. Примем к сведению. (Усмехнувшись.) Пропуска действительно у меня. Но они пригодятся мне самому. Сегодня я улетаю из Касабланки. Ночью, последним рейсом.

**Рено:** Что?!

**Рик:** И со мной улетит приятельница. (Улыбнувшись.) Вам она понравится.

**Рено:** Какая еще приятельница?

**Рик:** Ильза Лунд. (На лице Рено изумление, смешанное с недоверием.) Так что можете успокоиться, я не намерен устраивать Ласло побег. Меньше всего я хотел бы видеть его в Америке.

**Рено** (уверенно): Вы пришли сюда не для того, чтобы рассказать мне это. Пропуска у вас, вы можете вписать свои фамилии и улететь в любой момент. Почему же вас так интересует, что будет с Ласло?

**Рик:** Это меня не интересует. А что будет со мной — интересует. Мы имеем законное право уехать, это так. Но в Касабланке, случилось, людей задерживали, не считаясь ни с какими законными правами.

**Рено:** А с чего вы взяли, что мы захотим задержать вас?

**Рик:** Бросьте. Ильза — жена Ласло. Она знает много такого, о чем с удовольствием

узнал бы Штрассер... Луи, я предлагаю вам сделку. Вместо пустячных обвинений, которые вы сейчас предъявили Ласло, можно устроить кое-что посерьезней. Если его упекут в концлагерь на много лет, вам это перо в шляпу. Так ведь?

**Рено:** Безусловно. Германия... (поправляет себя). Виши было бы благодарно.

**Рик:** Тогда выпустите его, а сами приходите ко мне за полчаса до нашего отлета. Я сделаю так, чтоб Ласло пришел ко мне за пропусками. Это даст вам законное основание для ареста. Вы его задерживаете, а мы с Ильзой улетаем. Немцев это не сильно опечалит.

**Рено (задумчиво):** В этом деле я чего-то не понимаю. Мисс Лунд — да, она очень красивая женщина. Но чтобы вы ради какой-нибудь женщины...

**Рик:** Она не какая-нибудь.

**Рено:** Согласен. А где гарантия, что вы все сделаете так, как говорите?

**Рик:** Я договорюсь с Ласло прямо сейчас, в комнате для свиданий.

**Рено:** Рикки, я буду скучать без вас. В Касабланке вы единственный, у кого совести еще меньше, чем у меня.

**Рик (сухо):** Благодарю вас.

**Рено:** Действуйте, Рик.

**Рик (поднимаясь):** Да, кстати. Когда вы его освободите, уберите своих ищеек. Не хочу, чтобы они торчали около моего кафе. Извините, Луи, но рисковать я не намерен.

Рик ждет в комнате для свиданий. Открывается дверь и вводят Ласло. Затем тюремщик удаляется.

Холодно поглядев на Рика, Ласло опускается на стул. Они сидят лицом к лицу, разделенные проволочной сеткой.

**Рик (понижив голос):** У нас мало времени... Я решил отдать вам транзитные пропуска... За сто тысяч франков.

**Ласло:** Отлично.

**Рик:** Для надежности приходите ко мне за несколько минут до вылета рейса на Лиссабон.

**Ласло:** Они приставят ко мне шпиков.

**Рик:** Я и об этом позаботился.

У себя в кабинете Рено слушает этот разговор через подслушивающее устройство.

**Голос Ласло:** А Ильза?

Пауза. Рено напрягает слух.

**Голос Рика:** Приведите ее с собой уже

готовую к отлету.

Рено широко улыбается.

В комнате для свиданий.

**Ласло (с благодарностью):** Месяе Рик, я...

**Рик:** Не надо. Это чисто деловое соглашение.

Кафе "Голубой Попугай". Рик в кабинете Феррари.

**Феррари:** Будем оформлять акт купли-продажи или достаточно рукопожатия?

**Рик:** Недостаточно, конечно, но я спешу. Придется обойтись.

Они обмениваются рукопожатием.

**Феррари (с завистью):** Улететь из Касабланки... В Америку! Вы счастливый человек.

**Рик:** Да, кстати. С Сэмом у меня уговор: он получает двадцать пять процентов прибыли. Это должно остаться в силе.

**Феррари:** Вообще-то мне известно, что он получает десять процентов. Но пусть будет двадцать пять.

**Рик:** И еще одно. Абдул, Карл и Саша останутся в штате. Иначе я не продаю.

**Феррари:** Разумеется, останутся. Без них "У Рика" уже не "У Рика".

**Рик:** Ну, пока. (Идет к двери, но останавливается.) И последнее: вы задолжали нам сто упаковок американских сигарет.

**Феррари (с улыбкой):** За них я расплачусь сам с собой.

Рик уходит.

Аэропорт, ночь. Механики проверяют готовность самолета к вылету.

На дверях кафе "У Рика" объявление: "Закрето по распоряжению префекта полиции".

Подходит Рено, стучится.

**Рик (впуская его):** Вы запоздали.

**Рено:** Как только Ласло вышел из отеля, мне сообщили. Так что я знал, что поспею вовремя.

**Рик:** Я, кажется, просил вас убрать своих ищеек.

**Рено:** За ним хвоста не будет. (Оглядывает пустое кафе.) Знаете, Рикки, без вас это будет совсем не то.

**Рик:** Понимаю, о чем вы. Но я уже договорился с Феррари: в рулетку вы будете выигрывать.

Рено ухмыляется.



**Рено:** Все готово.

**Рик** (похлопав себя по нагрудному карману): Транзитные пропуска здесь.

**Рено:** А скажите, где они были, когда у вас делали обыск?

**Рик:** В пианино у Сэма.

**Рено:** Это мне урок: больше интересоваться музыкой.

Слышится звук тормозов подъехавшего автомобиля.

**Рик:** Приехали. Вам лучше подождать у меня в кабинете.

У входа в кафе Ласло расплачивается с таксистом.

**Ласло:** Получите.

Ильза тем временем проходит в кафе. Ее встречает Рик; она кидается в его объятия.

По ней видно, в каком напряжении она жила эти последние часы.

**Ильза:** Ричард, Виктор думает, что я улетаю вместе с ним. Ты ему не сказал?

**Рик:** Нет еще.

**Ильза:** Но у тебя все в порядке? Обо всем договорился?

**Рик:** Все в полном порядке.

**Ильза:** Ох, Рик...

В ее взгляде невысказанный вопрос.

**Рик:** Мы ему скажем в аэропорту. Чем меньше времени для размышлений, тем легче для всех нас. Прошу тебя, ложись на меня.

**Ильза:** Хорошо.

Входит Ласло.

**Ласло:** Месье Блейн, просто не знаю, как благодарить вас.

**Рик:** Хватит об этом. Нам еще надо сделать кучу дел.

**Ласло:** Деньги я принес, месье Блейн.

**Рик:** Оставьте их себе. Пригодятся в Америке.

**Ласло:** Но мы же условились...

**Рик** (обрывает): Забудьте... В Лиссабоне не будет сложностей?

**Ласло:** Не будет. Там все улажено.

**Рик:** Пропуска у меня. Все, что от вас требуется — вписать фамилии и поставить подпись.

Протягивает пропуска Ласло. Тот с благодарностью берет их.

**Голос Рено** (за кадром): Виктор Ласло! Вы арестованы!

Ильза и Ласло, застигнутые врасплох, на миг лишились дара речи. Ильза оборачивается к Рикю. В ее глазах ужас.

**Рено** (спускаясь по лестнице): Вы



обвиняетесь в причастности к убийству курьеров, у которых были похищены эти пропуска.

Он подходит ближе; ситуация явно забавляет Рено.

**Рено** (со смешком) : Вас, кажется, удивил мой друг Рик? О, все объясняется просто. Любовь одержала верх над добродетелью. Благодаря этому...

Он осекся, увидев в руке у Рика револьвер. Ствол направлен на капитана.

**Рик**: Не стоит спешить, Луи. Никто пока еще не арестован.

**Рено** (в изумлении) : Вы с ума сошли?

**Рик**: Сошел. Присядьте.

Ильза переводит взгляд с одного на другого. К ней возвращается вера в Рика.

**Рено**: Уберите револьвер.

Он идет к Рику.

**Рик** (не двигаясь с места) : Луи, я не хотел бы стрелять в вас. Но еще один шаг, и я вас убью.

Рено останавливается. Долго смотрит на Рика, потом пожимает плечами.

**Рено**: Сажусь. Подчиняюсь обстоятельствам.

Он идет к столу, садится и сует руку в карман.

**Рик** (резко) : Руки на стол!

**Рено** (вынимая из кармана портсигар) : Надо думать, вы знаете, что делаете. Но не

уверен, представляете ли вы себе возможные последствия.

**Рик**: Представляю. У нас еще будет время обсудить этот вопрос.

**Рено** (с укором) : "Уберите своих ищеек"...

Рик придвигает телефон поближе к Рено.

**Рик**: Позвоните-ка в аэропорт. А я буду слушать, что вы им скажете. И помните: этот револьвер нацелен прямо в сердце.

**Рено** (набирая номер) : Это у меня самая нечувствительная точка. (В трубку.) Алло, аэропорт? Вам предъявят два транзитных пропуска. Рейс на Лиссабон... Чтобы с ними не было никаких недоразумений!

В германском консульстве Штрассер трясет телефонную трубку.

**Штрассер**: Алло!.. Алло!..

Бросает трубку и нажимает кнопку звонка. В дверях появляется офицер.

**Штрассер**: Машину мне, быстро!

**Офицер** (беря под козырек) : Слушаюсь, герр майор!

Офицер выбегает, а Штрассер снимает трубку телефона.

**Штрассер**: Говорит майор Штрассер. Пускай меня встретит в аэропорту полицейский наряд. Слышите? Да, прямо сейчас.

Он кладет трубку, хватая свою фуражку



и быстрым шагом выходит из комнаты.

Аэропорт. Медленно вращается прожектор; его луч с трудом пробивается сквозь ночной туман. Возле готового к вылету самолета толпятся пассажиры.

Возле ангара — телефонная будка. Дежурный в полицейской форме говорит в трубку.

**Дежурный:** Алло, диспетчер? Самолет на Лиссабон вылетает через десять минут... Спасибо.

Он вешает трубку и спешит навстречу подъехавшему автомобилю.

Из машины вылезает Рено. За ним неотступно следует Рик. Рука с револьвером в кармане: Рик держит Рено под прицелом.

С заднего сиденья выбираются Ильза и Ласло.

**Рик** (показав кивком на дежурного) : Луи, пускай ваш человек проводит мистера Ласло и позаботится о его багаже.

**Рено** (с ироническим поклоном) : Будет исполнено, Рикки. Все, как скажете. (Дежурному.) Возьми багаж месье Ласло и перенеси в самолет.

**Дежурный:** Слушаюсь... Сюда, месье!

Он ведет Ласло к самолету. А Рик достает из кармана пропуска и подает их капитану.

**Рик:** Если не возражаете, Луи, впишите

фамилии своей рукой. (Усмехнувшись.) Так будет официальнее.

**Рено:** Обо всем-то вы подумали.

Внимает ручку и кладет бумаги на крыло автомобиля.

**Рик** (спокойно) : Фамилии такие: мистер и миссис Ласло.

Ильза и Рено в изумлении уставились на Рика.

**Ильза:** А почему моя фамилия, Ричард?

**Рик** (не спуская глаз с Рено) : Потому что ты летишь с ним.

**Ильза** (ошеломлена) : Но я... Не пойму. А как же ты?

**Рик:** Я постою с капитаном, пока самолет не улетит.

**Ильза** (до нее, наконец, дошло) : Нет, Ричард, нет. Что с тобой?! Вчера ночью мы говорили...

**Рик:** Вчера ночью мы много чего наговорили. Ты сказала, что я должен решать за нас обоих. Ну вот, я подумал и решил. Ты улетаешь этим рейсом вместе с Виктором. Ты должна быть с ним.

**Ильза** (протестуяще) : Но, Ричард, я же...

**Рик:** Послушай меня. Ты представляешь себе, что будет, если ты останешься? Девять шансов из десяти, что нас обоих упекут в концлагерь... Я правильно говорю, Луи?

**Рено** (заполняя бланки пропусков) : Боюсь, что майор Штрассер будет настаивать



на этом.

Машина Штрассера мчится по направлению к аэропорту.

**Ильза (Рику):** Ты это говоришь, чтобы я согласилась улететь.

**Рик:** Я это говорю, потому что это правда. В глубине души и ты, и я понимаем, что твое место — рядом с ним. Ты — важная часть его работы, это ты даешь ему энергию... Если самолет улетит без тебя, ты горько пожалеешь об этом.

**Ильза:** Нет.

**Рик:** Может, не сегодня, может, не завтра, но очень скоро пожалеешь. И будешь жалеть всю жизнь.

Ильза отвечает не сразу: не хочет кривить душой.

**Ильза:** А что будет с нами?

**Рик:** С нами будет наш Париж. Мы его потеряли, его с нами не было — пока ты не появилась в Касабланке. Вчера ночью он вернулся.

**Ильза:** И я сказала, что никогда не уйду от тебя.

**Рик (берет ее за плечи):** Ты и не уйдешь. Но у меня тоже есть работа. Куда я поеду — тебе туда нельзя. Чем я буду заниматься, это не для тебя... Я не благородничаю, Ильза, но не так уж трудно сообразить, что проблемы трех маленьких человечков в этом сумасшедшем мире не всегда сводятся к

горсточке фасоли. Когда-нибудь ты поймешь это. Пускай не сейчас... Прощай, малыш!

**Голос Ласло:** Все в порядке?

Он подходит к ним. Ильза все еще колеблется. Рик опережает ее с ответом.

**Рик:** Все, кроме одной вещи. До отлета я должен кое-что сказать вам.

**Ласло (чувствуя, о чем пойдет речь):** Месье Блейн, я не требую никаких объяснений.

**Рик:** Все-таки объясню, на будущее. Вы сказали, что знаете про нас с Ильзой.

**Ласло:** Да.

**Рик:** Но вот чего вы не знаете: она была со мной, когда вы приходили вчера вечером. Она пришла за транзитными пропусками. Я правду говорю, Ильза?

**Ильза:** Да.

**Рик (жестко, даже жестоко):** Она все испробовала, чтобы только получить их. И ничего не сработало... Она изо всех сил старалась меня убедить, что все еще любит меня. Но что было, то прошло. Ради вас она притворилась, что не прошло — и я позволил ей притворяться.

**Ласло:** Понимаю.

**Рик (отдает ему пропуска):** Держите.

**Ласло:** Спасибо... Поздравляю. Вы снова в строю. Теперь я уверен: мы победим... Ильза, ты готова?

Ильза поглядела на Рика — в последний



раз.

**Ильза:** Я готова. (Рику.) Прощай, Рик. Дай тебе Бог...

**Рик:** Поторопитесь, опоздаете!

Ильза и Ласло идут к самолету.

**Рено** (торжествующе): Ну, что? Я был прав: вы сентиментальный человек!

**Рик:** Не знаю, о чем вы... Не двигайтесь с места!

**Рено:** Я о том, что вы сделали для Ласло. И об этой сказочке, которую придумали, чтобы Ильза улетела с ним. В женщинах я кое-как

разбираюсь, друг мой! Она ушла — но ушла, зная, что вы врете.

**Рик:** Так или не так, а вам спасибо, что помогли.

На лице Рика никакого выражения. Он достает сигарету, закуривает.

**Рено:** Вы, конечно, понимаете, что у нас обоих будут неприятности. У вас больше, чем у меня. Я должен арестовать вас.

**Рик:** Как только улетит самолет, Луи.

Рено пожимает плечами.

Слышится рев двигателя; самолет медленно выруливает на взлетную полосу.

А к ангару, где стоят Рено и Рик, подлетает автомобиль и, взвизгнув тормозами, останавливается. Штрассер выскакивает из машины, бежит к Рено.

**Штрассер:** Что означал ваш телефонный звонок?

**Рено** (кивает в сторону взлетной полосы) : На этом самолете — Виктор Ласло.

В дальнем конце летного поля самолет готовится к разбегу.

Штрассер ошарашен. Он не сразу приходит в себя.

**Штрассер:** Так что же вы стоите? Почему не задержали?

**Рено:** Спросите у месье Рика.

Штрассер кидается к телефонной будке. Рик вытаскивает из кармана револьвер.

**Рик:** Отойдите от телефона!

Штрассер остановился, как вкопанный. По лицу Рика он видит, что тот шутить не намерен.

**Штрассер** (стальным голосом) : Советую не мешать мне.

**Рик:** Я был готов застрелить капитана Рено. Готов застрелить и вас.

Самолет набрал скорость и оторвался от земли. Штрассер провожает его глазами в бессильном отчаянии. Потом бросается к телефону.

Рено с интересом следит за ним. Штрассер хватается трубку.

**Штрассер:** Аллю! Аллю!

**Голос Рика:** Повесьте трубку.

**Штрассер:** Дайте мне диспетчера.

**Рик:** Бросьте трубку!

С трубкой в руке Штрассер другой рукой выхватывает пистолет и стреляет в Рика. Промах. Теперь стреляет Рик. Штрассер

валится на землю.

Рено упорно смотрит в другую сторону.

Рик поднимает голову. Шум двигателя все типе, самолет быстро уменьшается в размерах.

На полной скорости к ангару подкатывает полицейский автомобиль. Из него выскакивают четверо жандармов.

Рено переглядывается с Риком. На лице у того всегдашнее бесстрастное выражение.

**Жандарм:** Мой капитан!..

**Рено:** Майор Штрассер убит. (Пауза. Он смотрит на Рика, потом поворачивается к жандармам.) Провести облаву на подозрительных. Как обычно.

**Жандарм** (взяв под козырек) : Слушаюсь, капитан.

Жандармы уходят.

**Рено:** Так вы, Рик, не только сентиментальны? Вы еще решили стать патриотом?

**Рик:** Может быть. Но если уж начинать — это был подходящий момент.

**Рено:** Пожалуй, вы правы. (Задумчиво.) Вам лучше бы на время исчезнуть из Касабланки. В Бразавиле расположен гарнизон Сражающейся Франции. Возможно, я сумею устроить вам пропуск.

**Рик** (улыбнувшись) : Транзитный пропуск? (Провожает взглядом самолет, который вот-вот исчезнет из виду.) Что ж, я бы съездил. Но это не меняет дела. Вы проспорили мне десять тысяч франков.

**Рено:** Эти десять тысяч пойдут на покрытие наших расходов.

**Рик:** Наших?!

**Рено:** Угу.

**Рик:** Сдается мне, что это начало очень красивой дружбы.



# П о с т с к р и п т у м

„Касабланка“ — голливудская классика. Сделаем ударение на слове „голливудская“: все, чем славна была „Фабрика Грез“ в пору своего расцвета — романтика, сентиментальность, юмор, малоправдоподобные, но увлекательные коллизии, репризный диалог — все это есть в фильме и в сценарии. Даже в наши дни составители голливудских справочников и каталогов, дойдя до „Касабланки“, изменяют сухому „библиографическому“ стилю и не отказывают себе в удовольствии процитировать несколько фраз из диалога, ставших фольклором. Кстати, не только американским: помните анекдот про двух москвичей-инъязовцев в Лондоне? „Ват воч?“ „Тен воч.“ „Сач мач?!“ Так вот, и это из „Касабланки“.

Успех фильма, вышедшего на экраны в разгар войны, был ошеломляющим. И совершенно не запланированным, как свидетельствуют голливудские ветераны, участвовавшие в работе над картиной. Впрочем, предоставим слово им самим: к пятидесятилетию юбилею „Касабланки“ была выпущена видеокассета, на которой, естественно, и сам фильм-юбиляр, и интервью с дожившими до наших дней участниками съемок.

Вот что говорит Джулиус Эпстайн, один из сценаристов:

„В те времена все главные голливудские студии выпускали фильмов пятьдесят в год — по фильму в неделю. И „Касабланка“ делалась как рядовой фильм, один из пятидесяти“.

Айрин Ли Даймонд, работавшая в сценарном отделе студии „Уорнер Бразерс“ в качестве редактора, добавляет:

„Раз в год меня посылали в Нью-Йорк посмотреть, нет ли среди новинок подходящей пьесы. Там я наткнулась на никем не поставленную пьесу Мюррея Бернетта и Джоан Элисон „К Рику приходят все“. Показала пьесу Халу Уоллису, продюсеру, правой руке Джека Уорнера, и решено было делать по ней фильм. Авторам заплатили рекордный гонорар, но голливудская традиция требовала, чтобы фильм вышел под другим названием“.

Незадолго до того по экранам с успехом прошла картина под скромным, но экзотическим названием „Алжир“. И Уоллис предложил наречь будущий фильм „Касабланкой“.

Авторы пьесы не протестовали. Мюррей Бернетт:

„К тому времени, когда вышел фильм, Касабланка была захвачена союзниками. Слово „Касабланка“ было у всех на слуху. Так что название оказалось очень удачным“.

Айрин Ли Даймонд считает:

„Фильм пришелся очень кстати, он даже опередил время: ведь большинство

американцев понятия не имело о страданиях людей, пытавшихся вырваться на свободу из оккупированной немцами Европы... Переделать пьесу в сценарий было непросто. Братья Филип и Джулиус Эпстайны, с их ироническим складом ума и чувством юмора, населили сценарий яркими персонажами, написали остроумный диалог“.

Не успели братья Эпстайны дописать сценарий, как их вызвали в Вашингтон для работы над серией патриотических документальных фильмов. Так появился третий соавтор – Говард Коч. Под его пером Рик приобрел левые взгляды и загадочное прошлое.



*Майк Кертис демонстрирует новую камеру*

Главные роли в фильме замечательно сыграли Хамфри Богарт и Ингрид Бергман. Но... Слово Джулиусу Эпстайну:

„Я даже не знал, что на студии всерьез обсуждались другие кандидатуры. Роль Рика предложили Джорджу Рафту; он отказался. Другим кандидатом был Рональд Рейган. Считаю, нам крупно повезло, что роль не досталась ни тому, ни другому“.

Что касается роли Ильзы, кинокритик Пиа Линдстром, дочь актрисы Ингрид Бергман, говорит:

„Мне трудно объективно оценивать фильм, в котором играет моя мать. Она, по моему, восхитительна во всех сценах“.

Историк кино Руди Белмер рассказывает:

„Исполнители главных ролей работали в окружении блестящих голливудских актеров – Сидни Гринстрита, Питера Лори, Клода Рейнса. Режиссером был Майкл Кертис, король приключенческого жанра, поставивший на студии „Уорнер Бразерс“ такие кассовые картины, как „Капитан Блад“ и „Приключения Робин Гуда“.

Участники съемок вспоминают:

„Майк по съемочной площадке не ходил, а носился, словно за ним кто-то гнался... Выходец из Европы, он говорил с таким жутким акцентом, что мы не всегда понимали, что он хотел сказать. Но как профессионал он был одним из лучших режиссеров, с которыми нам доводилось работать“.

Постановочные возможности у съемочной группы были очень скромными. Но хитроумный Кертис находил выход из самых затруднительных положений.



Джек Уорнер

Вспоминает ассистент режиссера Ли Кац:

„Весь аэропорт умещался на подиуме. Там стоял вырезанный из фанеры контур самолета, что создавало иллюзию перспективы. Но по замыслу постановщика возле самолета должны были копошиться механики. Мы понимали, что людей нормального роста поставить рядом с макетом нельзя: не тот масштаб. Пришлось искать лилипутов; они и изображали механиков“.

Сценарий переписывался по ходу съемок.

Дочь Ингрид Бергман рассказывает:

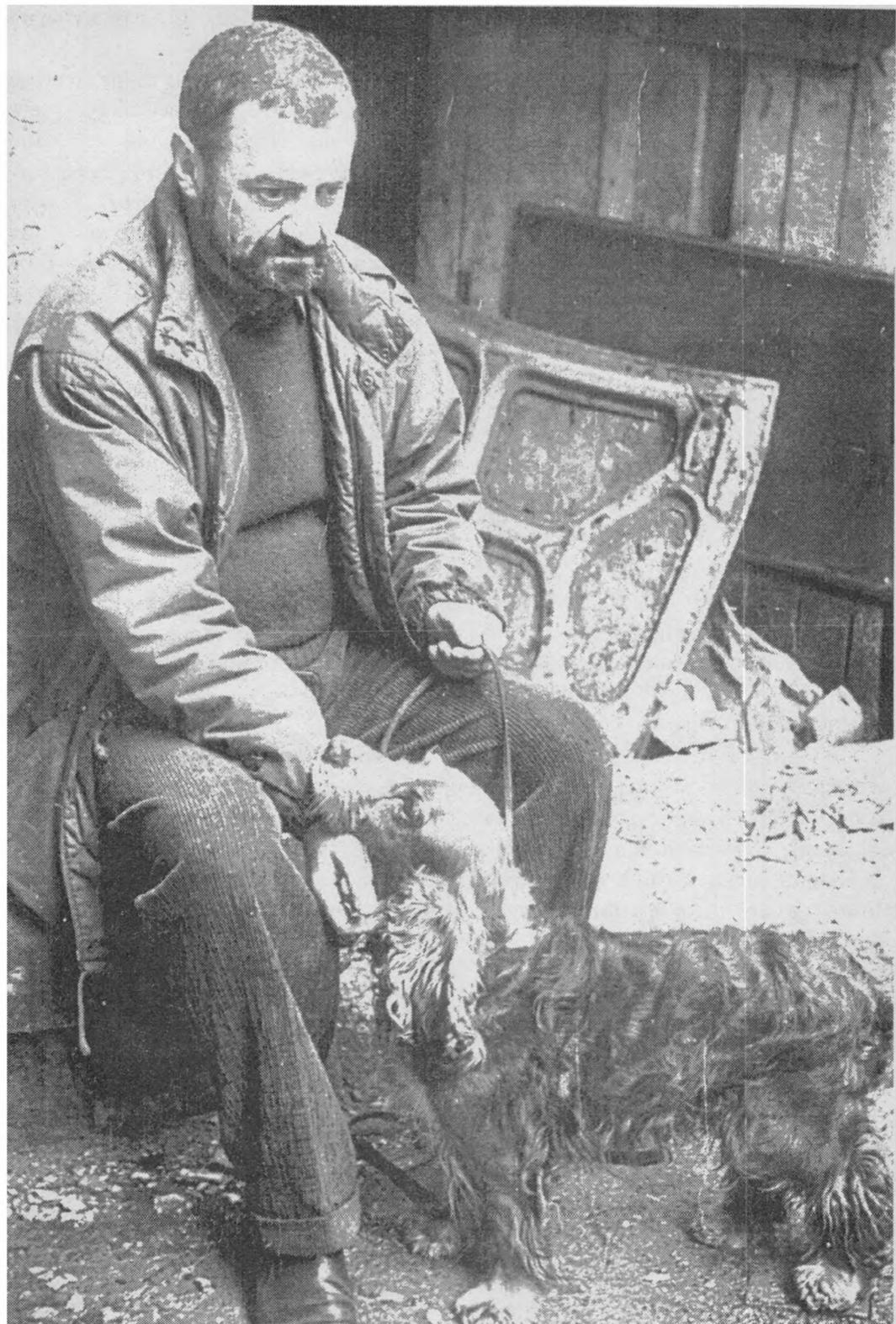
„Сценаристы сами не знали, что произойдет с их героями. Концовка фильма то и дело менялась. Мать огорчалась, ей казалось, что создатели фильма не знают толком, какую историю они хотят рассказать. Они никак не могли решить, с кем останется Ильза — с мужем или с героем Хамфри Богарта?“

Джулиус Эпстайн:

„Как-то раз она спросила: “С кем же я в конце концов остаюсь?” И в ответ услышала: “Как только мы сами это узнаем, сразу известим Вас...” Цензоры требовали, чтобы у зрителей не создалось впечатление, что герои продолжают выяснять отношения в постели. И мы соглашались: знали, что у каждого зрителя возникнет в голове своя постельная сцена, а это, я уверен, лучше, чем если бы ему показали все без утайки... Помню, ехали мы с братом на студию, и вдруг повернулись друг к другу и в один голос сказали: “Провести облаву на подозрительных. Как обычно”. Если нужно кого-то „как обычно“ арестовать, то за что? За убийство. Зритель хочет, чтобы кого убили? Майора Штрассера. Кто должен его убить? Богарт. А кто поставит точку в этом деле? Клод Рейнс своей фразой: “Провести облаву на подозрительных. Как обычно”.

Пиа Линдстром:

„Герои фильма стали иконами, стали символами, стали частью культуры далеко за пределами фильма. Зрители в наши дни воспринимают „Касабланку“ с ее романтикой и идеализмом, как свидетельство ушедшей эпохи. Летят годы, „time goes by“, но как прежде, „к Рикку приходят все“.



# ТОГО КОНЦА, КОТОРЫМ ОКОНЧИВАЕТСЯ ВТОРАЯ ЧАСТЬ ПЬЕСЫ

*/Интервью с Григорием Гориным/ — продолжение*

— Итак, обещанное в прошлом номере журнала окончание "Записок брата Лоренцо" отослано в набор. Хочет ли автор добавить что-то перед публикацией?

— Не столько добавить, сколько высказать сомнение: "Окончание ли это?" Вторая часть (неважно чего: сценария, пьесы, повести) для меня и работе всегда мучительней первой... Наметить характеры, завязать узлы взаимоотношений — удовольствие и радость. Развязать узлы, проститься с героями — сущее наказание. Это происходит не только со мной, но и с большинством пишущих людей. Трагический костер первой части "Мертвых душ" не случаен...

Или вспомним изменения биографии Остапа Бендера. Ильф с Петровым привели его к последней главе "Двенадцати стульев", потом соавторы заспорили осудьбе "сына турецкоподданного"... Убивать или не убивать? Был брошен жребий... Выпала бумажка "с черепом и костями"... Киса Воробьянинов, следуя этому негласному приказу, полоснул Остапа бритвой по горлу... Конец? Ничего подобного! Прошло время, появился "Золотой теленок", и от авторского поспешного решения остался только шрам на шее героя...

У меня это случается сплошь и рядом. Первая часть "Того самого Мюнхгаузена" была написана легко... Почти за месяц. Потом пошли муки... Куда бедный барон только ни попадал и черновиках! На луну... в сумашедший дом... в наше время и в Россию... Сто одно похождение, и все не те, я это чувствовал... (Подсознание негативную информацию дает охотно: "не то"... "не то"... А что "то"?! Не отвечает...)

В приступе отчаяния заявил жене: "Я не знаю, что делать. Может, покончить с собой? И тогда первую часть опубликуют в каком-нибудь посмертном издании!" Моя жена Люба вдруг почему-то засмеялась. На мой обиженный взгляд пояснила: "Извини, я представила себе эти похороны. Все будут спрашивать: "Что с Гориным случилось?" А я, бедная вдова, буду, рыдая, причитать: "Он не смог досочинить приключения барона Мюнхгаузена-а-а-у-зе-на!" И все будут сочувствовать: "О, какое горе!..."

Я сначала хотел дико обидеться, но комичность ситуации стала очевидна, и вдруг придумалась вторая часть, в которой Мюнхгаузен возвращается после своей мнимой смерти...

– *Может быть, вторую часть “Записок Лоренцо” тоже случайно подсказала жена?*

– *Может быть... Не помню. Но первую точно. Эту вещь я вообще посвящаю жене Любе. Жена – всегда первый слушатель, читатель несовершенных черновиков, свидетель приступов отчаяния... Адская обязанность, не каждая женщина такое выдержит... Люба выдержала наше соавторство в течение четверти века. Долго думал, что подарить ей к серебряной свадьбе.*

*Потом придумал... новую пьесу. Пьесу о любви... “Рассказ о событиях в Вероне, после гибели Ромео и Джульетты, в изложении монаха, брата Лоренцо...”*

– *Сложное объяснение в чувствах... Неужели даже дома вы привыкли выступать под маской кого-то? Это творческий принцип или житейский?*

– *Наверное, в чем-то для меня это вообще - способ существования. Так интересней жить, веселей работать... Мне не подняться до того карнавала мистификаций, розыгрышей, на какие были способны, скажем, Джонатан Свифт или Сергей Параджанов... Но описывать будничные истории, рассказывать их простым языком мне просто не дано... Как говорил Олеша: “Есть писатели - списыватели жизни, есть писатели - выдумыватели”.*

*Я – выдумыватель. Этот недостаток у меня с детства. Еще школьником я умудрялся пересказывать сверстникам прочитанные мною книги с огромными дополнениями, добавлениями и сюжетными ответвлениями. Если в каком-нибудь классе заболел учитель, наш завуч приводил меня в этот класс и говорил всем: “Ребята! Чтоб вы не шумели и не бегали по коридору, я разрешаю Грише рассказать вам новую историю про графа Монте-Кристо. Враги графа, оказывается, снова его поймали, посадили в мешок и сбросили с аэростата... Что было дальше, вы сейчас услышите...”*

*После чего класс замирал в ожидании, завуч уходил, а я начинал лихорадочно придумывать, как аэростат мог залететь в наполеоновскую эпоху...*

*Так что моя 417-я московская школа весьма способствовала развитию именно этих моих способностей.*

*Позже, став взрослым, я чаще сталкивался с непониманием и неприятием иносказания. Все эти мои произведения “по мотивам”, “фантазии на тему” и т. д. вызывали некоторое подозрение начальства и цензуры. Четче всех эти подозрения сформулировал работник министерства культуры СССР, чиновник по фамилии Галдобин. Прочитав мою пьесу “Забьгь Герострата!”, он с искренним непониманием спросил: “Григорий Израилевич, вы же у нас русский писатель! Зачем же вы тогда про греков пишете?”*

*Я не знал, что ответить. Трудно объяснить человеку, что кроме часов, которые он проводит в министерстве, тикает постоянно совсем другое время, имя которому – Вечность. И в масштабах того времени, все люди друг другу – современники и соотечественники... И мерзавец Герострат, сжегший храм Артемиды – “кореш” нынешнего фашиста...*



*Г. Горин в кабинете декана Свифта.  
Спектакль "Дом, который построил Свифт."  
г. Магнитогорск, театр "Буратино".*

Фото В. Намятова.

— Понятно, что в условиях цензуры иносказания и притчи эзоповым языком говорили о проблемах тоталитарного общества. Но сегодня, когда свобода слова граничит со вседозволенностью, есть ли смысл продолжать играть в эти игры? Не проще ли называть вещи своими именами?

— Кому-то проще! А для меня это та простота, которая иногда хуже воровства, она обедняет зрительскую активность и совместное творчество. "Эзопов язык" совершенствовался человечеством веками, которые в реалистическом правдоподобии которые в реалистическом правдоподобии мгновенно пропадают...

Поэтому в сочинительстве мне уютней и проще описать события, случившиеся несколько веков назад, чем происходящие на соседней улице. Вернее – события прошлого и происходят на соседней улице сегодня, просто надо соответственно скорректировать зрение. Для меня вообще – никакого “прошлого” нет. Все – настоящее и сущее! Время движется не вперед и не назад, не вправо, не влево – только вверх к небесам! И все персонажи так называемого “прошлого” живут с нами, вместе с нами меняются, в соответствии с нашей к ним любви или ненависти... В этом, на мой взгляд, закон всемирного круговорота жизни. Он, наверное, запрограммирован в самом мироздании. Я бы и астрологам посоветовал сообщать людям не только влияние планет на судьбы человеческие, но и обратную связь... Скажем, как мой тот или иной поступок отражается на движении планеты Марс или Юпитер?..

Видите, я даже в интервью не способен ясно и просто ответить на поставленный вопрос, а сразу лезу в рассуждения и философствования...

– Хорошо. Вернемся к “Запискам брата Лоренцо”... Они все-таки полностью придуманы вами или есть подлинный первоисточник?

– Безусловно есть. Тот факт, что его пока нет в библиотеках ни о чем не говорит... Может, после вашей публикации отыщется... И другая “вторая часть”... И даже “третья”... Режиссер Марк Захаров, с которым я работаю много-много лет, хочет поставить эту вещь, и найденное мной продолжение его пока не очень удовлетворяет..

*Режиссер М. Захаров на репетициях спектакля “Гминальная молитва”.  
г. Москва, Театр “Ленком”.*



Он ищет где-то в тайниках своего подсознания новые развития сюжета, которые сообщает мне по телефону... Я сверяюсь со своим подсознанием и что-то принимаю, а что-то отвергаю. Это и есть самая увлекательная часть работы — услышать то, что уже написано кем-то, нам неизвестным...

— И все-таки, вы с Захаровым хотите поставить эту вещь в театре или в кино?

— А это мы тоже до конца понять не можем. "Мюнхгаузен" сначала возник как пьеса, а по-настоящему родился только на киноэкране. "Дом, который построил Свифт" писался, как киносценарий, получилась пьеса, поставленная многими театрами. Впрочем, я говорил уже об этом в интервью, опубликованном в прошлом номере вашего журнала... Как видите, наш разговор пошел по кругу, следовательно, его пора заканчивать...

— Чем?

— Многоотчием... Чем же еще?

Интервью М. Сергиенко

*Пушка, из которой барон Мюнхгаузен улетел на Луну.  
Съемки фильма "Тот самый Мюнхгаузен".*



*Информацию о выходе в свет книг Григория Горина "Стоп, на сегодня хватит" и Александра Червинского "Как хорошо продать хороший сценарий" (часть II) ищите на страницах следующих номеров нашего журнала.*

*Подписаться на журнал "Киносценарии" вы можете, начиная с любого номера*

*Наш индекс 70434, цена одного экземпляра — 1200 р. на II полугодие 1994 г.*



Григорий Горин с женой Любой, которой посвящается это произведение

**Григорий ГОРИН**

# *Записки брата Лоренцо*

Трагикомедия в двух частях

## **Часть вторая**

Верона. Конец второго тысячелетия от Рождества Христова. День. Ярко светит солнце. Пестрая толпа туристов заполнила городскую площадь возле дома Капулетти. Люди фотографируются на фоне знаменитого балкона Джульетты, некоторые даже забираются на него, изображая лирические сцены влюбленных. Смех, возгласы на разных языках, щелканье затворов фотоаппаратов. Огромная стая белых голубей летает над площадью, иногда спускаясь за

кормом и попадая в объективы...

Чуть поодаль расположилась наша киногруппа. Исполнители главных ролей гримируются: герцогу приклеивают усы, Розалине подкладывают на живот подушку...

Сопровождаемый радостными возгласами туристов, на площадь въезжает монах Лоренцо верхом на ослике. Туристы пытаются сфотографироваться вместе с монахом, но помощник режиссера отгоняет толпу, помогает Лоренцо спешиться, вручает ему старинную книгу...

Начинается съемка. Хлопушка с надписью: "ЗАПИСКИ ЛОРЕНЦО. ЧАСТЬ ВТОРАЯ".

Лоренцо молча смотрит в камеру.

Голос режиссера: "Итак, продолжим!"

Лоренцо молчит.

Голос режиссера: "Итак, продолжим! В чем дело? Текст, пожалуйста..."

Помощник режиссера лихорадочно листает старинную книгу, подсказывает: "Пять месяцев промчалось с того дня, когда Антонио, покинув Розалину, уехал за решением епископа... Смирненно ждет невеста... Но нет ни жениха... Ни писем, ни вестей..."

Лоренцо отрешенно смотрит в камеру.

"А впрочем, вести есть, — бесстрастно продолжает подсказывать помощник режиссера... — Чума в Италии!"

Лоренцо вздрогнул, поднял глаза. Огромная туча начала наползать на небо. Площадь погружается во тьму...

— ЧУМА В ИТАЛИИ! — тихо повторил Лоренцо...

Простонародью, знати, — всем смерть грозит косой!

Всех гонит по домам!..

Кто мог представить, что слова Меркуцио

Такой ужасной правдой обернутся?!

Зазвучала траурная музыка... Лоренцо резко обернулся.

Площадь изменилась, словно перенеслась на семь веков назад... Стая белых голубей обернулась крикливым вороньем.

Грязь... Запустение... Остатки незагашенных костров, от которых стелется едкий дым... На площадь выехала огромная повозка, наполненная мертвыми телами. Ею правит возница в черной маске.

Лоренцо осенил себя крестным знаменем, направился к ослику, привязанному к столу. Отвязал поводья...

Ослик вдруг отпрянул от хозяина, а потом стал медленно валиться на землю.

Лоренцо в испуге отшатнулся.

Черный возница приблизился к упавшему животному, плеснул на него маслянистой жидкостью, поджег...

Едкий дым стал заполнять площадь, скрыв поспешно удалявшегося Лоренцо...

Зала в доме Капулетти. Ее тоже заполнил дым, отчего предметы выглядят нечетко.

Кашляя, чихая и время от времени чертыхаясь, слуга Самсон обкуривает углы тлеющей охапкой травы.

В дыму, не замеченный слугой, возник синьор Капулетти, громко чихнул.

САМСОН (испуганно). Ой! Кто здесь?!. Это вы — синьор? А я вас не приметил...

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Бездельник!.. Почему дверь в доме открыта настезь? Любой бродяга может зайти!

САМСОН. Где вы видели бродягу, синьор? Улицы пусты. (Кашляет.) А дверь открыл, чтоб дым хоть немного выветривался...

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Вот и дурак! Весь смысл в том, чтоб не выветривался. Только так можно убить "пастуарелла пестис"... (Чихает.)

САМСОН. Это кто, синьор?

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Я тебе объяснял... Возбудитель заразы. (Чихает.) По-латыни... (Чихает.)

САМСОН. Я не силен в латыни, синьор... (Чихает.)

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Что ты расчихался, дурак? Еще заразишь меня.

САМСОН. Вы первый начали, синьор.

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Да! (Чихает.) Но я чихаю благородно. (Чихает.) В платок. А ты трясеешь головой, как дятел, и "пастуарелла пестис" летят во все стороны...

САМСОН. Господи, хоть бы раз увидеть их, этих мерзавцев! Руки-ноги поотрывал бы...

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. "Пастуарелла пестис" — такой маленький, что не виден. (Чихает.) Но дым его убивает...

САМСОН (безнадежно). Тогда и мне — конец! Я виден, а дым не переносу! (Пытается чихнуть. Синьор Капулетти зажимает ему нос рукой.)

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Где синьора Розалина?

САМСОН. Спит в своей комнате.

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. ... А синьора Капулетти?

САМСОН. Уехала в город.

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Как рискованно! Лицо-то она хоть прикрыла маской?

САМСОН. Прикрыла, синьор... Такой черной сеточкой.

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Это вуаль, она не защищает от "пастуареллы"... Безрассудство! Какой пример мы подаем слугам? Чума не любит, когда с ней шутят. Ты слышал, что творится в Мантуе?... Город полностью на карантине... Никто не входит-не выходит!.. Птицы не вылетают! Вот

# ЧУМА В ИТАЛИИ!

(2)



## ВСЕМ СМЕРТЬ ГРОЗИТ КОСОИ!...

какой там кошмар! Понимаешь?

САМСОН. Понимаю, синьор... Но осмелюсь спросить: если оттуда никто не выходит и не вылетает, как же люди узнают, что там — кошмар?!

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ (сердито). Пошел вон, дурак! Совсем угорел... (Самсон почесываясь направляется к выходу.) Стой! Ты почему чешешься? Неужели блохи?

САМСОН. Откуда, синьор?

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Это я тебя спрашиваю, мерзавец, откуда блохи? Блохи — главные разносчики заразы!.. Блохи — это... Опять чешешься?!!

САМСОН (чуть не плача). Я чешусь, синьор, от нервности! Вы говорите: блохи! блохи! — мне и кажется, что кусают... (Чешется.) Вот, опять показалось... Не называйте их так...

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. А как я их должен называть?.. "Анифтерия"?..

САМСОН. Это еще что?

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Латинское название блохи!

САМСОН. Ой, мамочка! (Неистово чешется.) Я же просил...

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Все! Хватит! Снимай одежду! Всю!

САМСОН. Опять?!

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ (решительно). Не разговаривать!.. (Помогает снимать рубаху.) Стой! Это еще что? (В ужасе.) "Бубон?!!"

САМСОН. Где?

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. На плече!

САМСОН. Да какой же это "бубон"? Это я так... расчесал...

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ (в отчаянии). “Бубон”... В нашем доме!

САМСОН. Помилуйте, синьор!.. Зачем наговаривать? Что ж я “бубонов” не видел?.. Вон у Бальтазара под мышкой вот такая дуля выросла, это еще можно подумать... А у меня... (Осекся.)

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ (упавшим голосом). Зачем ты лазил ему подмышку, идиот?

САМСОН (плачет). Да не лазил я... Он сам меня обхватил... Ой! (В испуге закрывает рот рукой, потом, не выдержав, громко чихает.)

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ (решительно). Так! Всю одежду — в огонь! Всю до ниточки... Раздевайся!

САМСОН (всхлипывает). Это — последний камзол, синьор... Вы все пожгли.

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Не разговаривать!! Снимай! И панталоны... И чулки... Догола! (Самсон, хныча, обнажается.) Повернись! Покажи спину. Еще повернись!..

Входит синьор Монтеки, с изумлением наблюдает эту сцену.

МОНТЕККИ. Извините, если помешал...

САМСОН (увидев Монтеки). О, синьор!.. Пардон! Пардон! (Прикрывшись одеждой, убегает.)

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Высокоцитимый синьор Монтеки, как я рад!..

МОНТЕККИ. Да нет... Чего там... Вижу — не во время...

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Да что вы говорите?.. Это я просто... Тут со слугой... Он у меня такой...

МОНТЕККИ. Да у меня такой же!.. Но я с ним, лично, стараюсь строго! Ни-ни!..

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Да я тоже... Но приходится иногда идти на крайность! Чума... все-таки...

МОНТЕККИ. Понятно... Но, как вы любите повторять: пример молодежи — не из лучших!

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Вот тут я согласен! Ах, как все глупо получилось! Такой исторический день: синьор Монтеки впервые приходит в дом Капулетти, и на тебе!

МОНТЕККИ. Я собирался предупредить... Думал послать слугу Бальтазара... А потом гляжу — дверь настезь!

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. И правильно, что не послали слугу, синьор Монтеки!.. Уж коли нам судьбой выпало породниться, пора дружить домами и приходиться без церемоний... И прекрасно, что вы показали пример!.. Да вы садитесь!.. Ах, как жаль, что синьора Капулетти отлучилась, она была бы счастлива. Ну, съядте,

умоляю! (Монтеки садится.) А я сяду напротив. (Садится.) Нет, пожалуй, придется встать! (Монтеки встает.) Сейчас состоится исторический акт, о котором мечтал наш город и наш герцог...

МОНТЕККИ (испуганно). Синьор Капулетти, я просил бы...

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. ...Мы наконец-то пожмем друг другу руки!!

МОНТЕККИ (с облегчением). Ах, в этом смысле...

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Если, вы достопочтенный синьор Монтеки, не против, конечно?

МОНТЕККИ. Ну а почему, собственно, против?.. Договорились — так договорились!.. Просто я много сегодня был в городе... Руками деньги трогал, за карету хватался...

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. А мы предварительно — карболочкой!

МОНТЕККИ. И после?

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Разумеется...

МОНТЕККИ. Ну если карболочкой, тогда — пожалуй!..

Синьор Капулетти достает флакон с карболкой, бывшие противники протирают руки. СИНЬОР КАПУЛЕТТИ (торжественным тоном). Синьор Монтеки! Я хотел бы вас приветствовать сегодня в этом доме, враждебность из которого ушла, сменившись на приязненность и дружбу...

Я верю: в вашем доме, мой синьор, пример аналогичных изменений...

А значит, мир — на оба наши дома! Поручкой в этом вам — ... моя рука!

Монтеки и синьор Капулетти торжественно пожимают друг другу руки, вновь протирают их карболкой.

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Наверное, надо бы выпить по бокалу вина?

МОНТЕККИ. Не стоит беспокоиться... Карболочкой отметили, и достаточно... (Садится.) Я, собственно, проезжая мимо, решил нанести визит синьоре Розалине. Все-таки она нам теперь тоже родня, а беременность в такой опасной ситуации внушает беспокойство... Как она себя чувствует?

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Вполне нормально, синьор Монтеки... Моя жена окружила ее заботой... Возила к докторам.

МОНТЕККИ. Вот это меня и беспокоит! Ничто

сегодня так здоровью не грозит, как доктора... Грязища у них в лечебницах, столпотворение, кто мертвый, кто живой — не разберешь...

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Ах, что вы, синьор Монтекки! Мы к таким докторам не ходим... У наших докторов — чистота, ибо мы средств не жалеем...

МОНТЕККИ. Я и говорю, что готов нести свою долю затрат на лекарства, или там... на соответствующую амуницию для дитя. Для нашего будущего Ромео...

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. ...Или Джульетты!

МОНТЕККИ. Какая разница? Я их двоих детьми считаю... (Вытирает слезы.)

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Уж я-то как вас понимаю, любезнейший синьор Монтекки... (Всхлипывает.) Поэтому мы так бережно относимся к синьоре Розалине. Но другие лекарства ей нужны сейчас! Душевные... Уж срок, определенный природой, приближается к финалу, а известий от синьора Антонио нет и нет! Бедняжка Розалина очень страдает подобной неопределенностью. Не изменил ли синьор Антонио своему слову?

МОНТЕККИ (решительно). Никогда! Честнейший человек! Впрочем, как и все Монтекки...

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Но мог бы хоть как-то письмо переслать...

МОНТЕККИ. Как, синьор Капулетти?! Карантин на карантине... Вы слышали уже, что в Мантуе творится? Муха не вылетит! Кошмар!

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Кошмар!.. (Задумался.) Кстати, синьор Монтекки, я давно мучаюсь вопросом: если из Мантуи никто ни выходит, ни вылетает, откуда мы знаем, что там кошмар?

МОНТЕККИ (подумав). Наверное, по крикам... Крикнут в Мантуе: "Кошмар!" — а кто услышит, кричит дальше... Так и доходит до Вероны!.. Ладно! Скажу все!.. Синьор Капулетти, мы с вами пожали друг другу руки как мужчины, как отцы двух уважаемых домов... Это — знак доверия! Но сможете ли вы сохранить тайну?

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Разумеется...

МОНТЕККИ. И мужское хладнокровие?

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Да что случилось?

МОНТЕККИ. Племянник мой... Мой доблестный Антонио... скончался!

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ (кричит). А-а!

МОНТЕККИ (зажав ему рот). Тихо! (Взволнованно шепчет ему на ухо.)

Вы обещали хладнокровие, синьор!!

Не смеем мы печальнейшим известием мать огорчить и будущность дитя подвергнуть риску!..

В городе и так уже разносят домыслы и слухи, которые дойдут в конце концов, и до ушей несчастной Розалины!..

Вот почему я прибыл к вам, синьор...

Хочу синьору отвести в Тоскану...

в поместье наше... там, средь гор,  
в тиши...

она родит... в дали от чумных бед,  
и от дурных вестей... Надеюсь,  
вы согласны? (Разжимает ему рот.)

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ (жадно глотая воздух).

Вы меня чуть не задушили, синьор!

МОНТЕККИ. Прошу простить!.. От волнения...

Трудно было говорить, и я не хотел, чтоб меня перебивали вопросами... Итак, согласны?

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. С чем?.. Я ничего не понял. Вы так набросились... (Чихает.)

МОНТЕККИ (недовольно). Не валяйте дурака, синьор! Я вам зажал рот, но не уши... Согласны позвать синьору Розалину и убедить ее переехать в наше поместье?.. Там ей будет лучше! (Капулетти чихает.) Видите, я правду сказал.

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Здесь ей тоже неплохо. И чихание — не обязательно подтверждение правоты!

МОНТЕККИ. Значит — подтверждение болезни. Тем более роженице опасно находиться в вашем доме...

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Но я не могу сам решать такие вещи. Надо посоветоваться с синьорой Капулетти...

МОНТЕККИ. При чем тут синьора? Вы мужчина или нет? Глава или не глава? Зовите Розалину!

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Как? Прямо сейчас?

МОНТЕККИ. А что ж тянуть? Девятый месяц на исходе... Карета ждет внизу. Сопровождающие тоже... (Хлопает в ладоши, в зале появляется Бенволио и пара вооруженных юношей.)

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ (испуганно). Кто это?

МОНТЕККИ. Охрана!.. Время опасное... С иным и не объяснишься иначе, как шпагой... Ну, где комната Розалины?! (Идет к дверям.)

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Это — насилие! На помощь!

МОНТЕККИ (надвигаясь на него с угрозой). А ну, не орать, старый дурак! Второй раз могу зажать рот поплотней...

С шумом распахивается вторая дверь. В залу

стремительно входят синьора Капулетти, Валентин и еще несколько вооруженных сородичей Капулетти.

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. О, какая памятная встреча!.. У нас гости, да к тому же незваные!

МОНТЕККИ. Почему же “незваные”, синьора? Мы тут с вашим супругом помирились, и он сказал, что теперь Монтекки могут приходиться в дом Капулетти без всяких церемоний. Вот мы и пришли!

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Я совсем не это имел в виду! Какое коварство! (Жене.) Синьор Монтекки явился к нам, чтоб сообщить печальную новость...

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Я все знаю... Я была у Герцога. А до меня там уже побывал синьор Монтекки... И опечаленный Герцог так растрогался, что вызвался стать крестным нашего ребенка и надеть сиротку большими земельными угодьями из своих владений.

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. О! Теперь я понимаю цель вашего прихода, синьор Монтекки... И вашу трогательную заботу о Розалине. (Жене.) Он хотел увести нашу девочку...

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Еще бы! Синьор Монтекки – опытный интриган. Он сразу смекнул, как выгодно стать опекуном крестника Герцога... А если потом выдать замуж Розалину за нужного человека, то вполне можно наложить лапу на угодья, да и на самого крестного отца...

МОНТЕККИ. У вас все-таки удивительная способность, синьора Капулетти, приписывать собственные гадкие мысли другим!

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Какая гнусность!.. И этому человеку я пожимал руку.

МОНТЕККИ. Ничего! Карболочкой отмоеете. А вот мозги вашей семейке хорошо бы почистить чем-нибудь покрепче...

ВАЛЕНТИН (Монтекки). Синьор! Я не могу вам позволить подобным образом разговаривать с синьором и синьорой...

БЕНВОЛИО (Валентину). А ты бы помолчал, мальчик, когда старшие беседуют.

ВАЛЕНТИН (Бенволио). Ну, вы-то, синьор, не настолько старше меня, чтоб нашим шпагам не поболтать!..

Обнажает шпагу. Бенволио в ответ обнажает свою.

Неожиданно в дверях появляется беременная Розалина.

РОЗАЛИНА (с улыбкой). О, сколько людей... А я лежу и ничего не слышу! Извините, синьоры, за мой вид... Надеюсь, через недельку я стану

стройней...

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Зачем ты встала, Розалина? Тебе нужен покой.

РОЗАЛИНА. Ах, так надоело лежать, тетушка... Даже ребеночку – там внутри. Он вдруг толкнул меня в живот и повел в эту залу... А тут – гости! Да еще какие!.. (Засмеялась.)

МОНТЕККИ (улыбаясь). Умный мальчик!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Или умная девочка!

МОНТЕККИ. Да пусть хоть двойня, нам без разницы!.. Синьора Розалина, я прибыл сюда, чтоб навестить вас и пожелать здоровья и терпения...

РОЗАЛИНА. Да? Спасибо... А я, когда увидела вас, подумала, нет ли вестей от Антонио?

МОНТЕККИ. К сожалению... Кругом карантины, синьора... С Неаполем связи никакой. Но вам не стоит волноваться. Монтекки здесь, в Вероне, и всегда к вашим услугам!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. А Капулетти их уже оказывают... (Берет Розалину под руку, пытается увести из залы.) Пойдем, моя девочка, тебе опасно волноваться...

МОНТЕККИ. Синьора Розалина! (Розалина останавливается.) Я уверен, что здесь ваша родня вполне сносно заботится о вас, но если б вы вдруг захотели перебраться в наше имение, мы были б рады... Там горный воздух, опытная акушерка, открывшая дорогу к свету многим Монтекки... Там даже есть игрушки, которыми мы все играли в детстве... Все, включая Антонио... Я подумал, может, вам было бы приятней в их окружении?..

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Фи!.. На какие струны вы давите, синьор?! При чем здесь игрушки? И причем тут Антонио, в конце концов?

МОНТЕККИ (зло). Я что-то не понял ваших слов, синьора! Отец для ребенка – все, он дает ему фамилию!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Безусловно! Но если уж мы тут все свои, давайте говорить правду и не преувеличивать роль Монтекки в возникновении этого ребеночка!

МОНТЕККИ. А вот это – дудки, синьора! Ребенок наш! Есть признание Антонио, есть свидетельство брата Лоренцо... Все документально!

БЕНВОЛИО. Извините, синьора Капулетти, как брат и друг Антонио, решительно протестую против каких-то грязных намеков, и будь вы мужчиной, я бы потребовал...

ВАЛЕНТИН (выскочил со шпагой). Здесь есть мужчины, синьор! И можете потребовать...



БЕНВОЛИО. О! Как ты мне надоед, щенок!  
 Выхватил шпагу, бросился на Валентина. Звон  
 клинков. Все безуспешно пытаются их разнять...  
 Розалина неожиданно кричит и встает  
 животом между дерущимися. Те опускают шпаги.  
 РОЗАЛИНА. Что это?.. Все снова...  
 Неужели?! О, я все поняла...  
 Последний раз, пять месяцев назад...  
 Антонио мой муж... своею кровью  
 ваш бой остановил... И наступил покой!..  
 И не дрались Монтеки с Капулетти.  
 Теперь — опять!.. Не значит ли все это,  
 что... нет Антонио?! (Кричит.) Он умер?!  
 Мой синьор!  
 (Падает перед Монтеки на колени.)  
 Скажите мне! Не мучайте меня!  
 (Истошно кричит.)  
 ... А-а-а-а-а!  
 Общее замешательство.  
 СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ (всем).  
 Что ж вы стоите? Роды начались!  
 Скорее акушерок... Воду... Марлю!..  
 Да помогите же!  
 Она сбрасывает плащ, укладывает на него  
 Розалину, мужчины, в том числе и Монтеки,  
 поднимают Розалину, несут к дверям.  
 МОНТЕККИ.  
 И я пойду!.. Я не помощник, право...

Но постою хоть рядом...  
 СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ.  
 Кто ж вам не дает?.. Ты, Валентин,  
 здесь на дверях останься!  
 МОНТЕККИ.

Бенволио, останься рядом с ним...  
 Все кроме Бенволио и Валентина уходят.  
 Те остаются друг против друга несколько  
 растерянные, с обнаженными шпагами.

ВАЛЕНТИН.  
 Синьор! Надеюсь, поединок  
 сейчас наш... неуместен  
 БЕНВОЛИО.

Безусловно!(Убирают шпаги.)  
 ВАЛЕНТИН.

Потом продолжим, если захотите...  
 БЕНВОЛИО.

И, если захотите вы, синьор...  
 (Прислушивается.)

По-моему, там началось... (Из-за дверей  
 истошный крик.)

ВАЛЕНТИН.  
 Ах, этот женский крик! Я так его боюсь...  
 Страшнее для меня найти едва ли...  
 Крик повторяется.  
 (Шопотом.) Мне кажется, я в обморок  
 свалюсь...

БЕНВОЛИО (подхватил его).  
 Я буду вас держать, чтоб не упали...

Женский крик переходит в крик ребенка!

ВАЛЕНТИН (обнимает Бенволио).  
 Вы слышите, Джульетта появилась!  
 БЕНВОЛИО (обнимает Валентина).  
 Конечно слышу! Мальчик родился!

Открывается дверь, пошатываясь выходит  
 синьор Капулетти.

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Де-воч-ка! Какое  
 счастье! О, моя Джульетта! (Плачет.)

Пошатываясь, выходит Монтеки.

МОНТЕККИ. Девочка!.. Но как похожа на  
 мальчика... О, мой Ромео!

Совершенно обессилена, с окровавленными  
 руками появляется синьора Капулетти.

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Бе-лень-кая! Девочка  
 моя, беленькая! Спасибо Тебе, Господи!

Она бухается на колени, молится.

Общее ликование.

Неожиданно за окнами ярко вспыхнули огни  
 фейерверков.

Они как бы перенесли нас на год вперед, в ту весну, когда чума отступила, и Верона карнавалом отмечала победу жизни над смертью.

Гремит музыка.

Публика, среди которой Герцог, представители домов Монтеки и Капулетти, одета в карнавальные костюмы и маски.

На импровизированный помост под аплодисменты влезает постоянные персонажи народных представлений Арлекин и Бригелла. (Впрочем, если присмотреться, в них легко узнать слуг: Бальтазара и Самсона.)

**БАЛЬТАЗАР И САМСОН.**

Любезные синьоры! Карнавал

Мы открываем в этот день весенний!

И шуткою поднимем настроенье

Всем тем, кто нас, конечно же, узнал...

**САМСОН.** Ну а как тебя не узнать? Ты — Бальтазар...

**БАЛЬТАЗАР** (прижав палец к губам). Т-сс... Мы же договорились!

**САМСОН** (вспомнив). Ах, да... Конечно... Ты — Бригелла, слуга из дома Мантулетти...

**БАЛЬТАЗАР.** Правильно! А ты — Арлекин! Слуга из дома... Капутекки!!

**САМСОН.** Есть такие два дома в нашем городе, которые любят друг дружку, как... рубанок — стружку... как журавль — лягушку...

**БАЛЬТАЗАР.** Как Арлекин — колотушку! (Дает ему подзатыльник. Обращается к публике.) Вы намеки понимаете? Это мы шутим!

**САМСОН** (потирая затылок). Да уж... Изящно шутим. После того, как нас послал в тюрьму его высочество Герцог, которого обожает вся Верона, как самое дорогое, что есть на свете...

**БАЛЬТАЗАР.** Т-сс!.. Я же просил — намеками! Может быть, его высочество здесь, среди гостей?! Поэтому говори не "тюрьма", а говори — "одно место"... И не "его высочество", а "некий синьор"...

**САМСОН.** Ну конечно... Я помню. После того как нас послал... в одно место... некий синьор, которого обожает... вся Верона, как...

**БАЛЬТАЗАР.** Не говори "Верона". Догадаются!..

**САМСОН.** А как говорить?

**БАЛЬТАЗАР.** Говори намеком... "Ворона"!

**САМСОН.** А!.. Понятно... Значит, после того как нас послал в одно место некий синьор, которого обожает вся Ворона, как... как... свои яйца...

**БАЛЬТАЗАР.** При чем здесь яйца, дурак?

**САМСОН.** Ну а что у вороны самое дорогое?.. Яйца!

**БАЛЬТАЗАР.** Говори намеками!

**САМСОН.** Да как можно намекать на яйца? Показать, что ли?!

**БАЛЬТАЗАР** (дает ему подзатыльник). Я тебе покажу! Выкручивайся как хочешь, раз начал свою идиотскую фразу...

**САМСОН** (публике). Хорошо, синьоры... Попробую с разбега, может, проскочим... Итак! После того как нас с Арлекином... послал... в одно место... некий синьор, которого наша... Ворона... обожает как... то, что... он может нам оторвать, и не только нам, но и всем, если мы не научимся изящно шутить! (Кланяется.)

**БАЛЬТАЗАР.** Вот, молодец! (Кланяется.)

**САМСОН** (Бальтазару.) А как думаешь, понятно, что я про яйца говорил?

**БАЛЬТАЗАР.** Молчи! Дурак! (Колотя Арлекина надувной дубинкой, убегает вслед за ним с помоста.)

Аплодисменты. На помост влезает Герцог в маске.

**ГЕРЦОГ** (утирает слезы смеха.) ...Вот черти!.. До слез, буквально, до слез... Бестии эдакие... Молодцы!.. Повесить бы, конечно, чтоб другим неповадно... Но в такой день — прощай! (Снимает маску.) Надеюсь, сразу узнали?.. Если нет, считайте — сюрприз в честь праздника!(Резко меняя тон.)

Сограждане! Вы, жители Вероны!

Закончилась ужасная зима!

Безжалостная страшная чума

Ушла от нас! И затихают стоны...

И громче музыка! И жизнь берет права!

И значит — продолжаем карнавал!

Дает знак музыкантам. Начинаются танцы.

Герцог спускается с помоста, подходит к столику, за которым — семья Капулетти. Все — в масках.

**ГЕРЦОГ.** Рад приветствовать достопочтенных Капулетти!

**СИНЬОР КАПУЛЕТТИ.** О, какая пронциательность! Как вы нас узнали, ваше высочество?

**ГЕРЦОГ.** По дамским ножкам, синьор. Лучшие ножки принадлежат Капулетти, это все знают...

**СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ.** Какой изящный комплимент!

**ГЕРЦОГ.** И глаз наметанный, синьора... Сейчас даже попробую угадать, кто есть кто?..

(Смеется, чуть приподнимает дамам юбки.) Синьорита Лючия... Синьорита Бьянка... Это — Вероника, помню. А это — наша Розалина?

РОЗАЛИНА. Нет, я здесь, ваше высочество! (Снимает маску.)

ГЕРЦОГ (чуть огорчившись). М-да. Уже глаз не тот... Ну, как дела, Розалина? Как там моя крестница?

РОЗАЛИНА. Спасибо, ваше высочество! Жива, здорова.

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Уже начала говорить...

ГЕРЦОГ. Да что вы?

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Клянусь! Год едва исполнился, а уже лепечет... И знаете какое первое слово она сказала?! “Гер-цог!”

ГЕРЦОГ. Да что вы?

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Уверяю, ваше высочество... Есть свидетели. Мы с супругой не поверили своим ушам, даже переспросили: как?! “Герцог”, — говорит.

ГЕРЦОГ. Это приятно... Но, вообще, вы ее зря учите таким вещам! Ребенок сначала должен говорить то, что положено природой: “мама”, “папа”... Кстати, от Антонио никаких вестей?

РОЗАЛИНА. К сожалению, ваше высочество...

ГЕРЦОГ. И у меня... Вернее, новости есть, но они всем известны. Пришло письмо, подтверждающее его кончину... Чума! Все войны Италии не принесли столько беды... Впрочем, давайте не путать праздник с поминками! Веселее смотрите, синьора Розалина!

РОЗАЛИНА. Я стараюсь, ваше высочество!

ГЕРЦОГ. Вы — молодая женщина и не должны себя хоронить... Верность любви внушает уважение, но невенчанная вдова — это что-то противоестественное. Маленькой Джульетте нужен отец!

РОЗАЛИНА. Я считала, ваше высочество, что у нее есть крестный отец и этого достаточно.

ГЕРЦОГ. Недостаточно!.. Сам рано потерял отца и знаю... Ребенку нужна каждодневная мужская забота и ласка... И вам, синьора, между прочим, тоже. Поверьте, здесь, на карнавале, достаточно найдется достойных синьоров, с кем вам будет интересно... Вот взять хоть этого нашего гостя из Милана... Вы его знаете, синьора Капулетти?

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Да. Мы знакомы...

ГЕРЦОГ. Обратите на него внимание, Розалина... Рекомендую! Видите, я уже выступаю и как крестный, и как сват... Очень обстоятельный синьор! Однако я тут с вами заболтался... Пора

подсесть за столик к Монтекки... А то взревнуют!

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Те, в черных масках, Монтекки? Никогда бы не подумал! Поразительно! Как вы всех узнаете, ваше высочество?

ГЕРЦОГ. По головам, синьор... У Монтекки эта часть тела несколько побольше...

Уходит, подсаживается к соседнему столику.

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ (тихо супругу). Какое изящное хамство! Впрочем, ты сам виноват. Нельзя так примитивно лстыть его высочеству. (Берет Розалину под руку.) Отойдем в сторонку, дорогая! Нам надо поговорить... И надень маску, пожалуйста, карнавал все-таки. (Отходят.) Ты, конечно, поняла, деточка, что Герцог к нам подошел не случайно и к его пожеланию необходимо отнестись крайне серьезно!?

РОЗАЛИНА. Кто этот синьор из Милана?

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Богатый человек. И симпатичный... Редкое сочетание! Кроме того — преуспевающий негодяй. Он сделал какие-то интересные предложения Герцогу по переустройству замка в Вероне... Тот в ответ сделал свое...

РОЗАЛИНА (нетерпеливо). Кто он?!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Фамилии я и не помню... Да мне кажется, ты его знаешь!.. Вы встречались в Мантуе... Его зовут Джорджи!..

Пауза. Ее нарушила синьора Капулетти:

Я же просила: надень маску! На нас смотрят!..

РОЗАЛИНА (надев маску). Синьора Капулетти! Я должна вам сразу заявить... что в ваши игры играть я не намерена... что мне противна и мысль сама о том, что эта мерзость... еще хоть раз коснется рук моих!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Тихо, деточка, тихо! Не будем опускаться до высокопарности!.. Дело житейское... Он — холост, ты — вдова... из хорошей семьи... Джульетте нужен папа... Кроме того, насколько я понимаю, это вообще — именно его ребенок? Как же можно идти против природы?..

РОЗАЛИНА. Никогда! Вы слышите, тетушка?! Никогда!! Лучше — повеситься, лучше — в монастырь!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Не ори — нас слышат! И хватит про монастырь — мы с тобой в эти постригушки уже играли... (Берет ее под руку.)

РОЗАЛИНА. Оставьте меня!..

Розалина вырывается, мечется по площади, затем решительно подходит к столу Монтекки,

садится, снимает маску.

МОНТЕККИ. Синьора Розалина! Какой сюрприз! (Тоже снимает маску.) А ну, вина синьоре, нам подарившей чудную Джульетту!.. (За столом оживление, Розалине дают кубок.)

РОЗАЛИНА (подняв кубок и нарочито громко). Я пью за вас, синьор! За всех Монтекки! За вашу благородную семью, которой равной нет во всей Вероне!.. (Пьет.)

За столиком Монтекки взрыв ликования.

Капулетти наблюдают за этой сценой с тревогой.

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Что говорит она?!

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ (супругу тихо). А ты не слушай! Дурной пример другим не подавай!..

РОЗАЛИНА (Монтекки). Синьор, а можно мне набраться дерзости и пригласить на танец вас? МОНТЕККИ. Почту за честь, синьора!

Они выходят на передний план, танцуют.

МОНТЕККИ. Что стряслось, моя девочка?

РОЗАЛИНА (тихо). Синьор, вы как-то сказали, что дом Монтекки всегда готов дать приют мне и моей дочери...

МОНТЕККИ. И от слов своих не отрекусь!

РОЗАЛИНА. Увезите нас отсюда... В Тоскану! В Неаполь! К черту на рога!.. Умоляю!

МОНТЕККИ. Считайте, что карета приготовлена, синьора... Но что случилось? Вас обидели Капулетти?

РОЗАЛИНА. Они неспособны никого обидеть, поскольку думают лишь только о себе. По этой же причине на них глупо обижаться!.. Все прощай!.. Подписали сделку с очередным богатым жуликом, а меня с Джульеттой решили подложить под договор в качестве приданого...

МОНТЕККИ. Какая низость! И с нами даже не обсудили... Как будто у нас на девочку прав меньше!.. Синьора, Монтекки не дадут вас в обиду!

РОЗАЛИНА. Спасибо, синьор!

МОНТЕККИ. Ну а в самой женитьбе, вобщем, нет ничего противоестественного... Вы знаете, синьора, я любил Антонио как сына, но ушедшего не вернуть... И душа его с небес только порадуется вашему счастью! (Зашептал ей на ухо.) Здесь есть один синьор... Из Милана. Друг герцога и большой друг нашей семьи... Он просто мечтает с вами познакомиться... Да вот же он, за нашим столиком... Синьор Джорджи, прошу к нам!..

К ним подходит Джорджи, снимает маску,

кланяется.

МОНТЕККИ. Разрешите представить вам нашу родственницу, Розалину!

ДЖОРДЖИ. Счастлив знакомству... Джорджи Фиранделло... Негоциант из Неаполя!

Розалина молчит.

СИНЬОР МОНТЕККИ (Розалине). Ну скажи что-нибудь, дорогая!.. Что-нибудь, что положено говорить в таких случаях... Наверное, я смущаю?! И правильно! Чего старикам среди молодых путаться, если ни возрастом, ни телодвижением соответствовать уже не можешь... Танцуйте, дети!

Он подталкивает Розалину к Джорджи, сам уходит за столик.

ДЖОРДЖИ (протянув руку Розалине). Прошу, синьора! (Та в замешательстве.) Прошу, синьора! На нас смотрят!

РОЗАЛИНА (сухо). Подождите! Я перчатку надену!

Розалина надевает перчатки, лишь после этого протягивает руку Джорджи. Они выходят в танце на передний план.

ДЖОРДЖИ. Синьора Розалина! Не в моих правилах просить прощения, но в отношении вас я готов отступить от принципов. Грехи молодости требуют снисхождения...

РОЗАЛИНА. Считаете, что год назад были значительно моложе?

ДЖОРДЖИ. Безусловно! Моложе на целую чуму... на утрату жены... на тысячи, которые заработал... на миллионы, которые потерял! Все это быстро старит, синьора. И добавляет мудрости. Поэтому прошу у вас прощения, но... ни в чем не раскаиваюсь!.. Когда я увидел девочку... мою прелестную Джульетту, я подумал, что во всем есть особый Божий Промысел!

РОЗАЛИНА. Ваш темнокожий друг того же мнения?

ДЖОРДЖИ. Какой друг? А... Меня это не интересует. Он умер, и пусть сам отвечает за свои проступки перед Всевышним... Кроме того, девочка бела, как снежок, и значит, не принадлежит ему...

РОЗАЛИНА (резко). Вам тоже, синьор! У девочки есть отец!... Его зовут Антонио. И знает об этом весь город...

ДЖОРДЖИ. Кроме нас с вами. Мы знаем правду! И если вы будете упрямитесь, я доведу эту правду до всех! Может быть, прямо сейчас!

РОЗАЛИНА (испуганно). Вы не сделаете этого! ДЖОРДЖИ. Карнавал, синьора! Я дурею на карнавалах, вы же помните?

# КАРНАВАЛ В ВЕРОНЕ!



# КАРНАВАЛ ВСЕ-ТАКИ! (Z)

РОЗАЛИНА. Что вы хотите от меня?

ДЖОРДЖИ. Я не люблю, синьора, когда покушаются на мою собственность! Это противоречит моим принципам! Порок должен быть наказан, но пусть и добродетель торжествует! Я неожиданно обрел родную дочь. Я встретил синьору, которую обольстил когда-то, и теперь ей предлагаю стать моей женой... Все вернулось на круги своя... Чего еще желать? С ответом можете не торопиться! У вас есть время... до конца танца.

Несколько секунд они молча танцуют.

РОЗАЛИНА. Хорошо! Я согласна!

ДЖОРДЖИ. Я рад, что не ошибся в вас...

РОЗАЛИНА (зло). Если можно, синьор, не говорите хоть секунду о том, что вы думаете или считаете... Послушайте мои условия! Во-первых, я не хочу, чтобы девочка знала правду до

совершеннолетия. Для нее вы только отчим! Станет взрослой, пусть сама решит: прощать вас или нет.

ДЖОРДЖИ. Странное условие, Розалина. Я должен подумать... У коммерсантов есть правило: перед тем как согласиться с какой-то идеей, с ней надо переспать...

РОЗАЛИНА. Теперь насчет этого!.. Вы должны поклясться, что никогда не прикаснетесь ко мне, ни трезвым, ни пьяным... Ни при людях, ни наедине...

ДЖОРДЖИ. Еще более странное условие! Наедине — понимаю, но при людях нам все же придется соблюдать какую-то видимость отношений. (Целует ей руку.) Карнавал все-таки!.. Как поется в песенке:

"Позвольте, дорогая синьорина,  
мне чувств своих безумных не



могу решиться... Я ведь игрок: чтобы так круто поменять жизнь, надо получить какой-то знак providения. (Прислушившись.) Например, сквозь шум дождя услышать цокот копыт и скрип колес подъехавшей кареты...

ЛОРЕНЦО (прислушиваясь). Не говори загадками... Ты послал ей письмо?

АНТОНИО. Не письмо! Клочок бумаги... "Я — в монастыре. Антонио". Все!

ЛОРЕНЦО. Ты обещал и этого не делать!!

АНТОНИО. Но должен быть хоть какой-то знак судьбы перед важным решением? Не приедет она — я усомнюсь в Высшей Справедливости. И чтоб замолить этот грех, погружусь в монастырскую жизнь...

ЛОРЕНЦО. А если приедет?

АНТОНИО. В такой дождь? В горы?... Женщина?!

ЛОРЕНЦО. Не забывай: замужняя женщина!

АНТОНИО. Не забываю, святой отец... Но это лишь усиливает безнадёжность моего шанса... (Прислушался.) Нет, показалось... А если приедет, значит, Бог есть, и в служении Ему я проведу остаток дней... То есть, опять же, все — в пользу монастыря! У вас бесприкрытый вариант!

ЛОРЕНЦО (зло). Монастырь, сын мой, — не игорный дом! И тем более не дом свиданий!! И напрасно ты полагаешь, что для нас такое уж приобретение твое присутствие здесь...

АНТОНИО. Разве вы не обязаны оказывать приют страждущей душе?

ЛОРЕНЦО. Обязаны! Любому, ищущему раскаяния и утешения, мы говорим: входи, брат! Но для упорствующих во грехе, для соблазняющих слабых мира сего у нас есть другие слова: "Изыди, сатана!"... Не заставляй меня произносить их. Прошу тебя, Антонио. Что случилось, то случилось, изменить ничего нельзя, зачем же напрасно терзаешь себя и ее?..

АНТОНИО. Откуда я знаю зачем, святой отец?! Монахам всегда легко давать советы влюбленным.

ЛОРЕНЦО. Никто не родится сразу монахом, Антонио. Мои советы выстраданы, поверь! Я тоже был молод и умел страстно любить... Но ее выдали за другого. Мы вынуждены были расстаться. А потом она умерла... Тогда я принял схиму и храню ей верность до сих пор...

АНТОНИО (перебивая). Горжусь вами, святой отец! Но моя женщина, слава Богу, жива, а это резко меняет ситуацию!.. Слышите? Нет? А я слышу! Не знаю, зачем, не знаю, почему, но

слышу ее шаги... (Взволнованно.) Слава тому, кто строил этот монастырь!.. Здесь даже стук каблучков по ступеням рождает музыку! А вы еще пытались меня сбить с пути истинного! Теперь я верую и буду молиться с полным пониманием слов...

Падает на колени. Начинает молитву.

Входит Розалина. Молча смотрит на Антонио. Лоренцо секунду наблюдает за ними, затем выходит.

АНТОНИО. "Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой! Я воззвал к тебе и Ты исцелил меня... Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу... Пойте Господу, святые Его... Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро радость..." (Повернулся к Розалине.) Почему ты плачешь?

РОЗАЛИНА. Кто подсказал тебе эти слова?

АНТОНИО. Царь Давид. 29-ый псалом. Амины! (Встает с колен.)

РОЗАЛИНА. Как мне теперь к тебе обращаться: "Святой отец"?

АНТОНИО. Ни в коем случае! Зови как прежде — Антонио!

РОЗАЛИНА. Ты давно стал монахом?

АНТОНИО. Часа три назад. Моя одежда совсем вымокла... Пришлось надеть эту...

РОЗАЛИНА (зло). Ах, мерзавец!.. Вот как я буду тебя называть! Сукин сын! (Набрасывается на него с оплеухами, он, смеясь, уворачивается.) Я схожу с ума, плачу над его безвестной могилой, а он еще шутит! (Целует его.) Любимый мой, ненаглядный... Какое счастье, что я могу тебя лупить и целовать... Целовать и лупить!.. Целый год мечтала об этом... Представляла, как мы встретимся, и ты начнешь врать. Как всегда невероятно, но убедительно! Обожаю твои рассказы. Так что стряслось в этот раз? Начинай... (Садится напротив.)

АНТОНИО. (чуть смущен). Розалина!.. Если мой талант убедительно врать, то твой — слушать и верить! Этим ты, кстати, покорила мое сердце... Умоляю, не меняйся!.. Тем более что сейчас я рассказываю чистую правду!.. Мы расстались в день нашей несостоявшейся свадьбы, и я уехал в Неаполь, чтоб скорее получить разрешение епископа... Месяц добивался у него приема, подстерегал в храме, спал на улице перед его домом... Наконец, когда он согласился меня



Герцог привстал в ложе и обратился к гостям...

ГЕРЦОГ.

Нет темы увлекательней на свете,

Чем вечная борьба Монтекки с

Капулетти!

А впрочем, я шучу!

И рад тому,

Что все бои остались лишь на сцене,

А в жизни наступило примиренье...

Гости аплодируют.

Но подождем! Что там насочинял

К концу спектакля драматург

искусный?

Не ведаю...

Так пусть напиток вкусный,

Поможет всем нам оценить финал...

Появляются слуги с вином.

Сейчас — антракт! Я ухожу в кулисы,

Чтоб вдохновенье дать актерам и

актрисам...

Гости выходят, начинают прогуливаться.

Слуги разносят бокалы с вином. Герцог берет огромный букет, направляется к кулисам, затем оборачивается, делает знак Джорджи. Тот подходит.

ГЕРЦОГ. Балет прелестен был, не так ли?

ДЖОРДЖИ.

О да! Прелестнее спектакля

Мне кажется, и быть не может!

ГЕРЦОГ. Я рад, что мненья наши схожи...

(Пауза.) А что ж вы опять один? Где же наша прелестница Розалина?

ДЖОРДЖИ. Она неважно себя чувствует...

ГЕРЦОГ. Бедняжка!.. Третью неделю постельный режим? А вы что же?

ДЖОРДЖИ. Что я?

ГЕРЦОГ. Как вы себя чувствуете, зная, что ваша жена... как бы это помягче выразиться?..

ДЖОРДЖИ. Не надо помягче, ваше высочество. Все это и так слишком мучительно для моего самолюбия. Но что делать? Дуэли запрещены и противоречат моим принципам...

ГЕРЦОГ. А вы — нарушьте! Нарушьте принципы! Нельзя же, чтобы весь город злословил по вашему поводу... Да и меня это касается... Я крестил ребенка. Был посаженным отцом невесты... Меня втянули в какую-то

некрасивую историю...

ДЖОРДЖИ. Тогда почему не арестовать этого проходимца Антонио?

ГЕРЦОГ. За что? За то, что не умер и влюблен?.. Как вам хочется сделать из меня деспота!.. Нет уж, вы сами... Сами как-то выпутывайтесь! Тем более, что я пригласил его сюда... в театр. И помните, синьор, в Вероне рогоносцы не приживаются!

Уходит.

Джорджи направляется к синьору и синьоре Капулетти.

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ.

Сюжет посредственен, не так ли?

ДЖОРДЖИ.

Синьор! Посредственной спектакля,

Мне кажется, и быть не может!..

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ. Я рад, что мненья наши схожи...

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ (берет Джорджи под руку, отводит в сторону). Герцог недоволен?

ДЖОРДЖИ. Он возмущен! И прежде всего — вами...

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. При чем здесь я?

ДЖОРДЖИ. Розалина — ваша племянница! Вы

за нее морально отвечаете...

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Розалина, слава Богу, — совершеннолетняя. И у нее есть муж. Значит, все, что касается морали — его забота!

ДЖОРДЖИ. Антонио может явиться сюда. Я собирался вызвать этого мерзавца на дуэль. Но Герцог решительно против!.. Он мне сказал: Джорджи, вы — негодянт, шпага противоречит вашим принципам... Ваше оружие — счета и векселя... Кстати, синьора, ваша семья задолжала мне довольно значительную сумму...

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ. Мы это помним, Джорджи!

ДЖОРДЖИ. Тогда объясните и Розалине, что ваше благополучие в ее руках. Любой договор надо исполнять, синьора... Мне бы не хотелось передавать векселя в суд. Это противоречит моим принципам. В Вероне, говорят, все можно уладить как-то проще, по-семейному... (Отходит.)

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ.

Что он сказал еще по поводу пьесы?

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ (задумчиво).

Сказал, что посмотрится... с огромным интересом!

К ним направляется синьор Монтекки.  
МОНТЕККИ (синьору Капулетти).

Сюжет надуманный! Не так ли?

СИЛЬОР КАПУЛЕТТИ.

Синьор, надуманней спектакля,

Мне кажется и быть не может!..

СИЛЬОРА КАПУЛЕТТИ (нетерпеливо).

Я рада, что оценки ваши схожи... (Мужу.) А теперь, дорогой, я хотела бы поговорить с Пьетти наедине...

СИЛЬОР КАПУЛЕТТИ. Кто это, "Пьетти"?

МОНТЕККИ. Я, с вашего позволения, Пьетро...

Пьетти – так меня звали в детстве...

СИЛЬОР КАПУЛЕТТИ (растерянно). Не знал...

СИЛЬОРА КАПУЛЕТТИ. Ты не обязан все знать, дорогой... В этом твоя прелесть! (Отводит Монтекки в сторону.) Ты говорил с Антонио?

МОНТЕККИ. О чем?.. Ах да... Нет еще... Не знаю, где этот шалопай прячется! Мои люди пока не могут найти.

СИЛЬОРА КАПУЛЕТТИ. Не смеши меня, Пьетро. "Твои люди" не могут?

МОНТЕККИ. Я сказал "пока не могут"...

Конечно, найдут, приведут... Но о чем говорить мне с ним? Бранить за то, что не умер?.. В конце концов, правила приличия должна первой соблюдать женщина... Почему ты не посадишь Розалину под замок?!

СИЛЬОРА КАПУЛЕТТИ. Сажала. Она убегает...

МОНТЕККИ. От тебя, Юлия?! Теперь ты меня насмешила...

СИЛЬОРА КАПУЛЕТТИ. Пьетро, положение гораздо серьезней, чем ты думаешь. Герцог взбешен. Он вызвал сюда Антонио. Джорджи – трус, он грозит нас разорить... Розалина – дикая кошка. Если на нее давить, она способна совершить над собой любую глупость... Разберись с Антонио!

МОНТЕККИ. С ним тоже не просто... Он влюблен. А влюбленный Монтекки теряет голову...

СИЛЬОРА КАПУЛЕТТИ. Не всегда...

МОНТЕККИ. Что ты имеешь в виду?

СИЛЬОРА КАПУЛЕТТИ. Один мой знакомый Монтекки когда-то оказался на редкость рассудительным и послушным...

МОНТЕККИ. За это он и наказан! И страдает!.. Даже достигнув преклонных лет...

СИЛЬОРА КАПУЛЕТТИ. В любви не бывает преклонных лет, Пьетти!..

Молчат.

МОНТЕККИ. Я что-то перестал понимать... Выводи меня на мысль, Юлия!

СИЛЬОРА КАПУЛЕТТИ. Выручай меня,

Пьетро... Я – в ловушке. Если Джорджи устроит здесь скандал, откроется такая грязь, от которой нам всем не отмыться! Надо чтоб Антонио исчез... Вообще! Понимаешь? Я бы сделала это через своих людей, но я не хочу, чтобы Капулетти вновь пролили кровь Монтекки... Это значит опять – война. А я устала от войны... Остаток дней хочу провести в мире и любви. Хочу, чтоб наши дома дружили, чтоб наша Джульетта росла счастливой... Чтоб мы могли видеться... Ты и я... Как в детстве... Пьетти и Юлия... Извини, этого, наверное, не надо было говорить, но Капулетти тоже иногда теряют голову...

Пауза.

МОНТЕККИ. Хорошо, Юлия... Все будет, как ты просишь...

СИЛЬОРА КАПУЛЕТТИ. Спасибо! Я знала, что не ошибусь в тебе... Как жаль, что не поняла этого много лет назад.

МОНТЕККИ. Жаль. Но ничего уже не вернуть... И ты не дослушала... Все будет, как ты просишь, но сделаем ЭТО вместе!

СИЛЬОРА КАПУЛЕТТИ. Теперь я не понимаю!..

МОНТЕККИ. Монтекки и Капулетти. Они будут неразлучны во всем и до конца. (Берет ее под руку, отводит в сторону.)

Появляется Герцог.

ГЕРЦОГ (радостно).

Антракт закончился! Любезные синьоры,

Я приглашаю всех спуститься в зал...

Спектакль опять продолжится, но скоро

Наступит ожидаемый финал!

Надеюсь, будет он не очень скучным,

Не очень длинным и благополучным!

Гости проходят в зрительный зал.

Лакеи закрывают двери.

Из-за закрытых дверей приглушенно начинает доноситься музыка.

Появляется Антонио. Подходит к дверям, прислушивается, затем пытается их приоткрыть.

Неожиданно перед ним возникает Валентин.

ВАЛЕНТИН. Синьор, сюда нельзя!

АНТОНИО. Я приглашен.

ВАЛЕНТИН. Приглашены к началу.

Сейчас же должен наступить финал,

В котором лишь добро восторжествует,

А зло найдет свою дорогу в ад!..

АНТОНИО.

И кто злодей? Хотелось посмотреть...

ВАЛЕНТИН.

Лицо злодея вам легко увидеть, –

Лишь к зеркалу придется подойти!..

АНТОНИО (усмехнулся, сменил тон).  
Послушай, мальчик, я чувствую, ты ищешь ссоры и драки. Найди кого-нибудь помоложе и поглупей, чтоб был тебе ровня... Я же могу тебя только оттащить за уши!

ВАЛЕНТИН. Попробуйте, синьор! (Выхватил шпагу.) И защищайтесь!

АНТОНИО (отступая).

Послушай, дурачок, так не шути...

Ты видишь — пред тобою безоружный!

— Т-с-с!..

Это открылась дверь и в ней появился Бенволио.

— Т-с-с! — шопотом повторил он. — Мешаете спектаклю!

АНТОНИО (обрадованно).

Бенволио, дружок! Смотри,

мальчишка этот

Совсем сошел с ума!

Наверно, снова хочет

Начать войну домов. Утихомирь его!

Иль одолжи мне шпагу ненадолго!..

БЕНВОЛИО (шопотом).

Конечно, брат Антонио, возьми!

Быстро вынул шпагу, шагнул к Антонио и вдруг... коротким, едва заметным жестом нанес ему удар в грудь.

Антонио отшатнулся...

Алое пятно крови медленно стало проступать через камзол.

АНТОНИО (изумленно). За что?..

БЕНВОЛИО (зло). За все, что знаешь сам! А что не знаешь — черти дорасскажут...

(И, повернувшись к Валентину, прошипел).

Ну! Ваш удар!

Валентин сделал шаг к Антонио, потом беспомощно остановился.

ВАЛЕНТИН. Я.. не могу!..

БЕНВОЛИО (перебив).

Нет, мы договорились!

Раз он принес бесчестье двум домам,

То дважды на тот свет отправлен будет!!

Схватил руку Валентина со шпагой и чуть подтолкнул ее для удара...

Почувствовав второй укол, Антонио вскрикнул, его ноги подогнулись... Бенволио и Валентин подхватили его под руки, поволокли к выходу.

— Т-сс! — дверь в зал приоткрылась и оттуда выглянуло строгое лицо лакея. —

Синьоры! Вы мешаєте спектаклю...

Я стражу буду вынужден позвать!

— Не стоит, сударь! — отозвался Бенволио на ходу. — Мы здесь родня! И веселимся в честь святого дня...

Лакей недоверчиво посмотрел им вслед, прикрыл дверь зала.

И сразу грянули аплодисменты!

Занавес опустился, публика начала покидать зал, на ходу обмениваясь впечатлениями.

СИНЬОР КАПУЛЕТТИ.

Финал ужасен был. Не так ли?

СИНЬОРА КАПУЛЕТТИ.

О да! Ужаснее спектакля

Мне кажется, и быть не может...

Она заметила кровавое пятно на полу, поискала глазами Монтекки. Тот молча кивнул...

МОНТЕККИ (вздыхнув).

Беспорно, мненья наши схожи...

ГЕРЦОГ (рассуждает вслух).

А я вообще не понял: что? к чему?..

Убит иль не убит? Все до конца неясно...

Чужой фантазии доверился напрасно,

Теперь придется думать самому!..

Зазвучала музыка.

Ее стремительный ритм соединился с бешеным вращением колес кареты.

Затем женские ноги, бегущие по ступеням вверх...

Распахивается дверь монастырской кельи.

Лоренцо поднимает голову.

Перед ним — Розалина.

РОЗАЛИНА. Он жив?!

ЛОРЕНЦО.

Да, дочь моя! Но не могу беспечно

Сказать, что смерть далеко отошла...

Двух суток не прошло с той страшной

ночи,

Когда добрался он в наш монастырь

Без сил и в окровавленной одежде...

Я обработал раны так, как мог,

Но слабы люди... Всемогуц лишь Бог!...

РОЗАЛИНА. Могу пройти к Антонио?

ЛОРЕНЦО. Конечно!..

Но, дочь моя, хочу предупредить,

Что разумом несчастный повредился...

То в забытьи он... То, наоборот,

Вдруг в возбужденье мечется и бредит...

То кажется ему, что он куда-то едет,

То в Индию какую-то плывет...

РОЗАЛИНА. Один?!

ЛОРЕНЦО. Не понял я?

РОЗАЛИНА. Один или со мной

Он в плавани далеком пребывает?

ЛОРЕНЦО. (растерянно). Не знаю...

Имя часто повторяет твое...

РОЗАЛИНА (перебивает).

О, счастье! Стало быть — живой!

Жива душа его! И ясен разум!

И дар судьбы мне — быть с любимым  
рядом!..

Хочет уйти.

ЛОРЕНЦО (останавливая ее). Постой, Розалина! Если ты заговорила о его душе, то, прошу тебя, позаботься о ней всерьез... Она на краю бездны... Нельзя уходить в последнее плавание, не облегчив душу покаянием. Необходимо причастие!

РОЗАЛИНА. Вы говорили с ним об этом?

ЛОРЕНЦО. В первый же день... Пока его голова сохраняла ясность мысли. Впрочем, кто влезет в голову этого человека? В ответ он лишь улыбнулся и предложил мне недостойный торг: причастие — в обмен на предварительное венчание...

РОЗАЛИНА. А вы что?

ЛОРЕНЦО (с осуждением). Розалина!..

РОЗАЛИНА. Святой отец, я просто поинтересовалась: так уж вы сделали все возможное, чтоб спасти ему жизнь? Неужели даже на краю могилы церковь неспособна исправить свои грехи?

ЛОРЕНЦО. Ты сошла с ума! О чем ты говоришь?

РОЗАЛИНА. Венчать нелюбящих, разве не грех? Отказать влюбленным в благословении, разве не преступление?.. Впрочем, кому я все это объясняю? Для монаха любовь — не довод!

ЛОРЕНЦО. Это жестоко, Розалина. Монахами не рождаются!

РОЗАЛИНА. Ах, верно. Я же слыжала... Вы, кажется, тоже любили?

ЛОРЕНЦО. И люблю до сих пор. Храню ей верность, хотя она умерла.

РОЗАЛИНА. Как благородно! Но перед этим ее выдали замуж... Не так ли, святой отец? И не это ли свело ее в могилу при вашем благоговейном молчании?!..

ЛОРЕНЦО (в бешенстве замахнулся на нее). Замолчи, дрянь! (Тут же рухнул на колени.) Прости меня, Господи! Прости!.. Помощи Твоей молю, ибо силы мои на исходе... (Розалине.) Уходи, Розалина! От всей души сочувствую тебе, но ничем не могу помочь... Выше моих сил венчать женатого мужчину и замужнюю женщину...

РОЗАЛИНА. Это все не так, святой отец... Вы еще не знаете... Я уже несколько часов — вдова...

(Пауза.)

ЛОРЕНЦО (встает с колен). О Господи!..

РОЗАЛИНА. Я его просила... Перед женитьбой мы с Джорджи условились: он не тронет меня ни при людях, ни наедине!.. А он напился и полез, дурак!.. Ему важно было не только убить Антонио, но и унижить его... (Плачет.) ... Я умоляла... (Достает из кармана ножницы.) Они попались под руку... Господи, просила же вас, святой отец, постричь меня в монахини... (Плачет.)

ЛОРЕНЦО. Прости меня, Розалина!

РОЗАЛИНА. Вы меня простите, святой отец. Я приношу всегда столько неприятностей... И сейчас за мной, наверное, погоня!.. Но я не доставляю им радости, а вам хлопот. Только попрошаюсь с Антонио... (Достает флакон.) Один глоток из этой склянки — и мы уплывем далеко-далеко... (Улыбнулась.) Смешно: яд продал тот же аптекарь, что и Ромео...

ЛОРЕНЦО. Не делай этого, Розалина!.. Заклинаю тебя... Самоубийство такой же по тяжести грех, как тот, что ты уже совершила... Это прямая дорога в ад!.. Доверься Богу! Пусть Он судит правых и виноватых. (Розалина повернулась, пошла к выходу.) Подожди!.. Хорошо! Я согласен вас повенчать... Если это добавит жизненных сил Антонио и предотвратит твой поступок... Отдай мне склянку с ядом!

РОЗАЛИНА. Не раньше, святой отец, чем вы осените нас крестным знамением!.. (Выходит.)

Лоренцо задумчиво ходит по келье, потом садится за столик, достает перо, раскрывает рукопись...

ЛОРЕНЦО.

“Любезные потомки! В трудный час Хотел бы перед вами объясниться, Чтoб понятным мне быть...”

(Швырнул перо.)

Ах, что за чушь?

Как им понять сквозь заросли столетий?

Как правду отличить от лжи и сплетен,

Когда на расстояньи двух шагов

Друзей не отличаем от врагов?!

(Молится.)

Шум. Голоса. Дверь в келью распаивается. Врываються стражники, молодые люди из домов Монтекки и Капулетти.

Впереди всех — Бенволио со шпагой.

БЕНВОЛИО. Где они?! Монах, я тебя спрашиваю? Где убийцы?!

ЛОРЕНЦО. В монастырь не входят с оружием, сын мой.

БЕНВОЛИО. Я — сын своего отца и племянник своего дяди! А сегодня назначен старшим в семье. Так вот, как старший, я тебе обещаю: твой монастырь мы сровняем с землей! Притон разврата! (Переворачивает стол, рукопись рассыпается по полу.) Что за листки? Доносы потомкам? Как старший, запрещаю!

Входит Герцог со свитой.

ГЕРЦОГ. Может, старший в городе пока все-таки я?

БЕНВОЛИО (чуть смутившись). Безусловно, ваше высочество... Мой разум помутился от обиды и гнева!.. Скончался от ран бесстрашный Валентин... Злодейски убит Джорджи, наш щедрый друг и меценат!.. А теперь и благороднейшие старики, синьоры Монтеки и Капулетти, занемогли от горя и стыда и вряд ли поднимутся... Доколе терпеть, ваше высочество?.. Какой пример мы подадим внукам? (Достаёт бумагу, читает вслух, переходя на истерически — высокопарный тон.)

“Мы, молодежь враждующих домов,

От распрей порешили отказаться.

Объединив усилия свои

Для наведения строгого порядка

В веронском герцогстве

И близлежащих землях!

Мы требуем примерно наказать

Монаха — чернокожника Лоренцо,

Придав его строжайшему суду

Священной инквизиции!

Мы требуем: Антонио — злодея,

Обманом влезшего в семью Монтеки,

А также и наложницу его

Блудницу Розалину, — сей же час

Из города изгнать!

Но перед этим

В железо заковать их! И нагими

По улицам публично провезти,

Чтобы никому уж было неповадно

Творить прелюбодейство и разврат!”

Открылась дверь. Держась за руки, вошли Розалина и Антонио.

Спокойно и отрешенно смотрят на собравшихся.

ГЕРЦОГ (обращаясь к ним).

Вы слышали, что требует народ?

АНТОНИО. Не все.

РОЗАЛИНА. Но мы со всем согласны,

Лишь только просим нас не разлучать!..

АНТОНИО.

И на корабль нас поскорей отправить...

Я чувствую, как ветер паруса

Надул... И чайки приумолкли,

Как перед бурей... Ох, не опоздать бы!..

ГЕРЦОГ. Про что он говорит?

ЛОРЕНЦО. Безумен он, синьор...

АНТОНИО.

Безумен... Но не больше, чем другие,

Что голову теряют невзначай...

Вы не теряли? Значит повезло!

Держитесь крепче за нее руками

И повторяйте: “Ах ты, Боже ж мой!”...

БЕНВОЛИО. Прикидывается сумашедшим! Не выйдет! Ваше высочество, мы требуем наказания... Нагими — и через весь город!

АНТОНИО. И всего-то?.. Бенволио, я считал тебя умней. Разве благо может быть в наказании? Розалина, разденемся?.. Нам с тобой друг дружку нечего стесняться, а остальных и не существует, когда видим друг друга... (Смеясь раздевается.)

РОЗАЛИНА. Конечно, милый... (Смеясь раздевается.) Разве Господь Еву и Адама не голыми выгнал из рая?

АНТОНИО. Как раз нет... Ты все путаешь!.. Они прикрыли наготу, и на этом погорели... Вот обратно в рай Господь, действительно, принимает абсолютно без всего... Так что мы будем одеты вполне прилично для торжественной встречи... (Достаёт склянку с ядом.)

ЛОРЕНЦО (испуганно кричит) Нет!! Остановитесь!.. Антонио и Розалина, я готов повенчать вас! (Стража и представители домов возмущенно зашумели. Лоренцо высоко поднял распятие.) Назад! Пока еще я сана не лишился, и буду следовать своим законам! У Бога вымолю себе прощение, а вам не смей монаха осуждать! (Подходит к Антонио и Розалине.) Антонио, готов ли ты взять в жены женщину по имени Розалина?

АНТОНИО. Да, святой отец!

ЛОРЕНЦО. Ты, Розалина, готова ли стать женой Антонио?

РОЗАЛИНА. Мечтаю, святой отец!

ЛОРЕНЦО. Поклянитесь в верности друг другу на Святом Распятии! Впрочем, эту верность вы уже доказали... (Антонио и Розалина целуют распятие.)

РОЗАЛИНА. Спасибо, святой отец... Заберите эту склянку! (Протягивает яд.) Теперь мы будем долго жить, даже если они нас и убьют, правда?

ЛОРЕНЦО. Я постараюсь все для этого сделать... У вас есть кольца?

# СТРАННАЯ КАКАЯ-ТО

2



## ИСТОРИЯ ПОЛУЧАЕТСЯ....

**РОЗАЛИНА.** Ох!.. Антонио, ты забыл приготовить кольца!

**АНТОНИО.** Ничего! Наша родня позаботилась о нас... Верно, ребята? Вы собираетесь нас заковывать или нет?.. Не задерживайте обряд!

Один из родственников нерешительно подходит к ним, соединяет их кандалами и цепью.

**АНТОНИО.** Ну, вот! Такими брачными узами не все могут похвастать, верно, невеста? (Целует ее.) Пошли! Будем приветствовать гостей!

**РОЗАЛИНА.** Святой отец! Не оставьте заботой нашу девочку, нашу Джульетту!

**АНТОНИО.** Да! Конечно! Чуть не забыл... И моего мальчика. Знаете, как его зовут? Угадали — Ромео! Он сейчас в Неаполе у родных... Когда наша Джульетта подрастет, познакомьте ее с братом. Может, они полюбят друг друга и даже поженятся... Я бы очень этого хотел!

**ОДИН ИЗ СТРАЖНИКОВ.** Тьфу!.. Чтоб брат на сестре женился. Тьфу! (Плюет в Антонио.)

**АНТОНИО** (утирая лицо). Все мы — братья и сестры, солдатик! Тебе когда-нибудь это объяснят... А впрочем, сейчас не время. Сейчас время веселой свадьбы! Встречайте молодых, родня! Как умеете, так и встречайте!..

Позванивая кандалами, обнаженные Антонио и Розалина идут сквозь строй плюющих и щипающих на них людей.

Они уходят и, как за веревочку, уводят за собою всю толпу, как всегда, жадную до зрелища чужой любви и чужой смерти.

Последними остаются Герцог и Лоренцо.

**ГЕРЦОГ** (задумчиво). "Нет повести печальнее на свете, чем повесть об Антонио и..." Нет, не рифмуется! "На свете нет печальнее картины, чем

свадьба у... тарара... Розалины!" А так в размер не влезает!.. Странная какая-то история получилась, святой отец: ни в рифму, ни в размер!! (Посмотрел на валяющиеся листы.) Вы, я слышал, записываете все? Так вы уж постарайтесь, как-то изложите, чтоб повеселей!.. Верона все-таки... Карнавалы.. Ну, сами понимаете... (Уходит.)

Оставшись один, Лоренцо собирает разбросанные листы, скрепляет их, затем подходит к окну.

Сквозь стекло видна вся процессия: две обнаженные человеческие фигуры и вооруженные люди вокруг.

По земле медленно начинает стелиться туман...

Звучит голос Лоренцо:

Их обнаженных в город увели,

Чтобы придать хуле и поруганью!

Но тут (что подтвердят все очевидцы)

Случилось чудо: пал туман на город!

Такой густой, что, право, в двух шагах

Протянутой руки не различить!..

Лоренцо выбежал на воздух и сам оказался в густом белом молоке тумана! Лицо его осветилось счастьем!

Так молодых никто и не увидел!  
Верона подарила им постель  
Всю в кружевах из белых облаков...

Лоренцо вскинул руки к небу, словно благодаря его за чудо!..

Но в этот момент поднялся сильный ветер, туман рассеялся, и мы оказались вновь на площади современной Вероны.

Осветители выключали прожекторы...

Пиротехники гасили дымы...

Рабочие грузили часть декораций в фургоны, возле которых стояли полуразгримированные исполнители ролей...

Лоренцо секунду молча смотрел на эту странную картину, словно соображая, куда он попал...

Потом, вздохнув, сунул свою рукопись в карман, отвязал ослика, взгромоздился на него верхом и поехал по улице.

На него мало кто обращал внимание... Да и он равнодушно посматривал по сторонам, хотя вокруг в открытых современных машинах почему-то сидели люди в костюмах прошлых веков.

В Вероне начинался очередной карнавал, и никто ничему не удивлялся...

*Рисунки Юлии Зубревой*

Галерея "Дом Нащокина"

при журнале "Киносценарии"

представляет выставку работ

**ОЛЕГА ЦЕЛКОВА**

Выставка откроется в сентябре – октябре 1994 г

по адресу: Москва, Воротниковский пер., д. №12

т. 299-11-78, 299-47-74, факс 209-60-23

Представляем вам победителя нашего конкурса заявок на сценарий.

## Алина Серебрякова



# Изверг своего отечества ИЛИ Жизнь Михаила Бакунина (1814—1876)

Заявка на сценарий

*Фигура “апостола анархизма” Михаила Бакунина, “свирепой личности, место которой в нижних кругах Дантова ада в компании со злейшими преступниками человечества”, вновь вербует молодые умы под свои знамена. Это пытаемся и мы всмотреться в митарства этого духа, в величие и ничтожество этой необычной жизни.*

Часть первая

Начало XIX века. Потомственный дворянин Александр Бакунин — посол России в Италии, поэт, музыкант, историк и ботаник — возвращается в Россию по настоятельной просьбе матери и поселяется на берегу тихой речушки Осуги в своем поместье Премухино, что под Торжком в Тверской губернии. Через несколько лет, похоронив мать, он запишет в дневнике “Наставление самому себе”: “не быть деспотом собственных детей”, -- и заживет русским просвещенным баринном; некоторое время

спустя он познакомится в Твери с юной Варварой Муравьевой и в свои сорок лет увлечется ею по-юношески пылко и беззаветно, чуть не застрелится от безнадежной страсти, однако стараниями родственников дело уладится, и два старинных рода соединятся в счастливом браке. (Мы же отметим фатальные наследственные качества: деспотизм, пылкость, стремление к самоубийству.)

Одиннадцать детей родилось в этой семье. В доме звучит французская, немецкая, итальянская речь, дети сочиняют стихи, разучивают спектакли, рисуют, изучают историю, ботанику; сохранился прекрасный автопортрет подростка Мишеля с надписью: “Портрет не кончен, так как я и сам еще не кончен”. Замечательные слова.

Вскоре он, как старший сын, надолго расстается с возлюбленным семейством: Мишель определен в Императорское артиллерийское училище близ Петербурга. Будущие гвардейцы живут в казармах, выезжают в летние лагеря, их обучают математике, литературе, военным и светским искусствам, а покровитель училища — великий князь Михаил Павлович и сам император Николай I — частые гости у молодых воспитанников.

Из юношеских писем Мишеля домой: “Я был подвергнут аресту за то, что с улыбкой сказал “Ого!”, в то время как полковник угрожал заслать моих товарищей туда, куда Макар телят не гонял... Пушкин сочинил стихи “Клеветникам России”, полные огня и истинного патриотизма. Вот как должен чувствовать русский! Русские — не какие-то французы, они любят свое отечество, они обожают своего государя, его воля — закон для них.. У нас вчера был великий князь Михаил Павлович, он заметил, что во время болезни я ужасно вырос, я с ним мерялся, и он, увидя, что я выше него, сказал: “Молодые люди растут все вверх, а мы, старики, растем уже вниз”. Он сделал смотр нашей школе и остался чрезвычайно доволен, он поцеловал правого флангового и велел всем передать”.

Девятнадцати лет молодой человек, высокий, голубоглазый, неизменно веселый и шумный, впервые за пять лет появляется в родительском доме. Его окружают прекрасные незнакомки -- Любовь, Варвара, Татьяна, Александра и целый выводок братьев. Конечно же, он влюбляется во всех сестер сразу, он получает то, о чем постоянно тосковал в казарме, — теплое безопасное братство и бесспорное превосходство над ближними.

А вскоре обнаруживаются и незаурядные таланты Мишеля, в первую очередь поразительный дар слова, необычное воздействие его речей. “Хаос, пропасть чувств и идей, потрясение, лабиринты без руководящей нити, искры, воспламеняющие сердце и голову”, — так писала об этом одна из сестер. Чистая молодежь Премухина с восторгом отдается старшему брату.

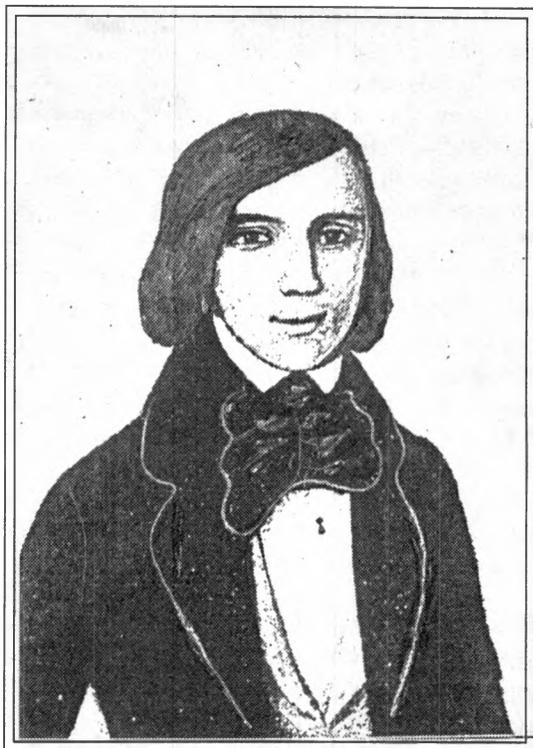
Точно счастливый сон, пробегает месяц отпуска, Мишель возвращается в училище за офицерским чином, а в Премухино опять летят его письма. Теперь это длинные назидательные диссертации, руководства для младших сестер и братьев, а также, как это ни странно, откровенные, исповедальные страницы, похожие на девичьи вздохи. “Говорят, я за ней ухаживаю. Я ей об этом передал, и она по этому поводу много смеялась... Она была испугана выражением моего лица, когда я слушал “Бурю” Бетховена, казалось, я готов разрушить весь мир... Я составил себе иллюзию, дававшую мне счастье. Как мучительно терять иллюзии, они испаряются и открывают истину во всей ее наготу... Я проводил с ними (знакомыми девушками) время в интимной близости, я говорил с ними о своей любви. Одно слово старшего брата, который счел смешной нашу близость, и все кончилось.”. (Брат девушек, жандармский офицер Львов, сын автора гимна “Боже, царя храни” композитора Львова, был удивлен немужским поведением Мишеля.)

По тем же посланиям видно, как далеко успел он в подчинении своих

родственников. “Ваша истинная жизнь состоит в дружбе со мной. Никакой пощады тем, кто ее не заслуживает... Я не ошибся, я действительно нашел в вас верных друзей, которые меня понимают. Я пишу тебе вещи, которые другая бы не простила, а ты падаешь к моим ногам”.

В Премухине назревает драма: Любаше, хрупкой, мечтательной девушке, предстоит брак без любви. Жених, заурядный литовский дворянин, груб и заносчив, покорная дочь смирилась со своей жертвой, день свадьбы назначен, но тут об этом узнает старший брат. В пылкой душе вскипает возмущение, в воображении рисуются картины надругательства над невинной девушкой, а сердце наполняется сладостной борьбой за справедливость. Громы и молнии сотрясают вчера еще дружное семейство, молодежь на стороне Мишеля, помолвка расстроена.

Тем временем идут выпускные экзамены. Едва не провалив (а по обмолвкам, провалив) один из них, Мишель получает-таки офицерский чин и направление, но не в гвардию, как полагалось, а в армию, в белорусско-



*Николай Владимирович Станкевич.  
С портрета А. Беккера.*

польскую глушь. И оттуда идут, идут его исповедально-назидательные диссертации: “...Вы должны углубиться в созерцание своей души, понять его природу... Указывать братьям путь к истине — честолюбие не знает другой цели... Прогоните Ш., я требую это во имя дружбы”. Наскучив армейской лямкой, он начинает хлопоты об отставке, скандальной и неправой, и после крупной ссоры с отцом появляется наконец в Москве.

Идет 1836 год. В гимназиях, училищах, университетах — всюду веет холодным сквозняком реакции. После ареста умеренно политизировавшихся Герцена и Огарева в России не оставалось свободных объединений. И в этих условиях горстка молодых людей подхватила шатнувшееся было знамя общественной мысли и “между ботфортами” вырастила великанов, таких как Белинский, Бакунин, Погодин, Катков. Имеется в виду кружок Николая Станкевича, очень молодого (21 год!) выпускника Московского университета, богатого одаренного душевным совершенством. Сам Станкевич не оставил ничего, кроме томика светлых писем, но нравственная высота этого человека была столь очищающа, что оказала воздействие на всю русскую словесность.

Мишель выбирает учение Фихте “Наставление к блаженной жизни”, увлекает за собой свою паству — сестер и братьев. Жизнь — это любовь, что ты любишь, тем ты и живешь, предмет любви — бог, живущий в человечестве...” Теперь развитие семейства идет под знаком божественной любви, Мишель переводит и посылает Канта, Шеллинга, слава его как толкователя немецкой философии распространяется по обеим столицам. Но как мощно прорастает сквозь эту “небесную любовь” его природа разрушителя! “Я вам пишу! Понимаете ли вы всю важность этого дела? Я! Михаил Бакунин, посланный

провидением для всемирных переворотов, для того чтобы свергнуть презренные формы старины и предрассудков, вырвать отечество мое из невежества и вкинуть его в мир новый, святой, в гармонию беспредельности, — я пишу вам!”

Необъяснимое воздействие его речей делит окружающих на врагов и поклонников Бакунина. Однажды, после вдохновенных излияний о необходимости страданий для освобождения от бессознательных наслаждений, его, богатырски спящего сном праведника, разбудил ночью один из слушателей: “Учитель, — рыдал “погибший” человек, — я пропадаю, ибо не чувствую в себе силы к страданию”.

Испытал это и Белинский. История их отношений драматична, как борьба титанов. Не владевший языками, Белинский пил философию из его рук, он любит Мишелем, он влюбляется в него со всем неистовством своей природы, в его размах, поэзию, львообразность. “Этот человек может писать и должен писать, он много сделает для развития мысли в отечестве”. Знакомство с семейством Бакунина потрясает Виссариона, сына армейского, вечно пьяненького лекаря, потрясает совершенством женских натур, благородством седого отца, самой гармонией отношений. Ему горько наблюдать разрушительное воздействие, исходящее от их кумира Мишеля. Время, проведенное с ним за изучением Гегеля, эти бессонные споры он назовет безумным, кровавым периодом отвлеченности.

Разумеется, ни единой философией жива молодежь. На правах старшего (26 лет) Виссарион ведет всю компанию в публичный дом у Никитских ворот — “хватит носиться с глупой невинностью”. После этого между друзьями провела слушок о неполноценности Мишеля (Скопец!)

В Премухине снова волнение. Варенька, вторая сестрица, преданная душа, вышла, как в воду ухнула, замуж за молодого соседа, человека “без высших устремлений”! Мишель взбесился. Он поклялся разъединить их и даже начал хлопоты о разводе!

Год за годом живет он в Москве, без денег, без занятий, избегая усердного

труда. Отец, обремененный детьми, не присылает почти ничего, московским родственникам давно уже надоело содержать лохматого, бесцеремонного бездельника, однако табак, вино, лихачи не переводятся в его обиходе. Очарованные простачи платят по его счетам, дают займы без отдачи. “Ты, Мишель, составил себе громкую известность попрошайки и человека, живущего за чужой счет. Ты берешь деньги, как щепки: “Нет ли у тебя щепок?” Неужели это не влияет на состояние твоего духа? Если нет, то слишком высок для меня” (Бел.)

Новая любовь занимает молодой круг. Порывистый роман Николая Станкевича с Любашей Бакуниной приводит к неожиданному сватовству. Для него, двадцатитрехлетнего, осторожного, чистого, это непоправимая ошибка, она уже стоит ему мучительных сомнений. А тут еще громогласный

Гегель.

Портрет работы М. А. Бакунина.





— • • —  
*Любовь Александровна  
Бакунина.*  
(1811 - 1838.)



— • • —  
*Барбара Александровна  
Бакунина.*  
(по мужу Дьякова). (1812 - 1856.)

Мишель с его философствованием, несносным вторжением в тайны сердца. Мишель, с бесцеремонностью будущего родственника поселившийся в его тихом доме, задымил его трубкой, засыпал табаком, валяясь по диванам с “Феноменологией” Гегеля. Покашливающий, слабогрудый Станкевич заболевает от сомнений, от безвыходности положения, ему кажется, что Мишель убивает его. Кажется? Да полно.

Из письма Бакунина к сестре Любаше: “Если бы тебе вдруг пришло в голову счесть меня влюбленным в тебя (!!!), а ты сказала бы это Станкевичу, а там ссора и дуэль, я бы убил бы его, этого бедного малого, который, между нами будь сказано, имеет довольно жалкий вид. Ты веришь в любовь этого глупца, ты воображаешь его лучшим, чем он есть на самом деле”.

И бедная девушка не знает, что и думать. Всем окружающим уже известно об охлаждении ее жениха, он и сам осторожно намекает ей: “Женщина чем выше, тем святее, и тем склоннее к ошибкам. Позднее разочарование... лучше не думать об этом...” — но она лишь клянется жить для него одного. Станкевич уезжает на лечение в Швейцарию.

Хрупкая Любаша не выдерживает, болеет, угасает, его редкие вежливые письма не поддерживают ее более. “Смерть — это совсем не страшно, можно так хорошо вытянуться...” — ее последние слова. В Швейцарию уходит нежное письмо Белинского: “Умерла, как умирают святые, спокойно и тихо. Катастрофы не было, тайна осталась для нее тайной”.

Обмолвка о любви к сестре не случайна. Бакунин переживает “падение” — жгучее чувство любви к сестре Татьяне, борется с собой, проходит над бездной и “возстает”, выходит победителем. И, по обыкновению, спешит исповедаться — похвастаться Белинскому.



— • • —  
*Татьяна Александровна  
Бакунина.*  
(1815 - 1872.)



— • • —  
*Александра Александровна  
Бакунина*  
(по мужу Вульф.). (1816 - 1882.)

Белинский приходит в ужас. Он рвет и мечет, содрогаясь от отвращения, разгорается известная в русской литературе любовь-ненависть, но потом “возстает” и он: “Мишель, я был, я стонал под твоим авторитетом, ты гнетешь чужие самостоятельности. Чем? Да всем! Теперь я здоров. Здоров ли ты?” И затем в письме к Боткину: “Закоулками добрался он до моей души, чтобы тихомолком украсть ее и унести под своею полою. Это дьявол в философских перьях. После трех лет дружбы с Бакуниным однажды и навсегда отрекаюсь от всех суждений о его сущности, которая может быть бесконечно глубока, но тем не менее совершенно чужда мне”.

Станкевич умирает в Швейцарии. Кружок распадается.

Младшие братья учатся в университете, неистовый Виссарион гремит на всю Россию, и лишь тоскующий Бакунин влачит пустые дни. Ему 25 лет, он кажется себе стариком. Спасение свое он видит в Берлинском университете. Туда, туда, там он “возстанет”, а здесь его ждет “тихое и постепенное опошление”. О, он готов питаться водой и хлебом, ходить в лохмотьях, лишь бы вырваться за границу. Дело за деньгами. Отец дает не более тысячи рублей в год.

И тут из ссылки возвращается Герцен. Именно он, свежий человек, выручает его двумя тысячами рублей. Подо что же, интересно, берет Мишель такую сумму?.. Под наследство, причитающееся ему после смерти отца, и под жалованье профессора философии, коим он непременно станет, прослушав курс наук у иноземных умников.

“Он бежит от самого себя. Кто ничего не делал в России, тот и в Германии также. Этот человек не в силах отказать себе в медовом прянике, ему не хватит и двадцати тысяч. Он рожден на горе себе и другим” (Бел.).

Июль 1840 г. В развевающемся плаще стоит он на мокрой палубе. Провожает его один Герцен. Обрато Бакунина привезут уже в цепях.

## Часть вторая

Берлин встретил многолюдьем и студенческой вольницей. Двое восторженных русских, Бакунин и Тургенев, снимают небольшую квартиру, и до утра шумит здесь молодежь, подают чай и холодную телятину, охотно заглядывают молодые профессора. На Мишеле шелковый шейный платок, бархатный сюртук пунцового цвета, на Иване — зеленый. Кроме них на курсе — молодые Энгельс, Гумбольдт, Кьеркегор; свободное время отдано фехтованию, верховой езде, пирушкам и факельным шествиям в честь любимых профессоров, например, Шеллинга.



М. А. Бакунин. 1843 г.

Но постепенно сухие категории метафизики начинают сквозить пустотой, на душе снова холод и ощущение старости. “Привези Танюшу, Татьяну привези”, — пишет Мишель брату Павлу наивные, чисто бакунинские поручения, и когда это не удастся, впадает в нестерпимую свою тоску. “Святого дела хочу я, чудо живого дела, только дело есть настоящая жизнь”...

Первый проблеск — из книги Макса Штирнера: “... для меня нет ничего выше меня. Я объявляю войну всякому государству, даже самому демократическому”. Вступление на престол молодого “революционного” короля, знакомство с социалистами, с автором обличительных брошюр — портным Вейтлингом приоткрывает завесу новой сцены, захватывающий мир социальных битв и потрясений. Труды Фурье, Сен-Симона, Фейербаха довершают обращение начинающего бойца.

“Во мне совершился новый переворот. Чувство старости прошло, я ощущаю ясность и мощь. Миролюбие ничего не производит, запасы ненависти и разрушений, накопленные в народе, — вот до чего надо добираться. Страсть разрушения есть тоже творческая страсть!”

И понеслось. Собрания, сходки, тайные встречи, азарт и страсть игры в опасность; он быстро выдвигается среди малообразованных бунтарей, становится лидером и, конечно, обращает на себя внимание полиции.

Обеспокоенное донесениями немецких коллег, III Отделение приказывает ему сдать заграничный паспорт. Мишель отвечает “нет”, бросая вызов русскому самодержавию. Полиция наводит справки о его семействе, почтенному отцу Александру Бакунину приходится писать объяснительную самому Дубельту, уверяя в верности престолу остальных членов фамилии. Вообще-то здесь, в отсутствие старшего сына, все идет своим житейским чередом. Братья окончили университет, у Варвары с мужем двое детей, собирается замуж Александрия. Лишь Татьяна переживает мучительный роман с Тургеневым. (Тургеневские барышни — это, несомненно, сестры Бакунины,

он, как и Белинский, увидел в них высоту и совершенство духовного начала.) Сам Белинский женится на простой доброй девушке, причем после венчания, по настоянию молодого мужа, “молодые” идут пешком.

Мишель в Париже. Здесь Прудон, мыслитель с крестьянскими корнями, автор “Философии нищеты”, издевательски разгромленной К.Марксом как “Нищета философии”, тот самый Прудон, что в Национальном собрании, отвечая на обвинение, сказал самому Тьеру: “Я готов день за днем рассказать всю свою жизнь, а вы готовы?” С Бакуниным они почти ровесники, Прудон приходит к нему слушать это “чудище сжатой диалектики и лучезарной концепции сущности вселенских идей”. Много лет спустя Бакунин укажет на многие идеи, позаимствованные Прудоном в их ночных беседах.

Бакунин в расцвете сил. В своих статьях он уже свергает самодержавие в России, производит в ней демократические преобразования. На этой дорожке в редакции он и встречается с молодым Марксом, доктором экономики, деятельным, говорливым, предприимчивым. Они не нравятся друг другу. Возможно, Мишелю, пресыщенному философией, противна сверхнаучность этого благополучного, удачливого немца, который к тому же моложе его на целых пять лет. Маркс же вообще не доверяет ни одному русскому, считая этих варваров способными лишь на бессмысленный бунт, опасный для Германии”.

Царь приказывает применить к Бакунину всю строгость закона. Его объявляют государственным преступником с лишением прав состояния, с отправкой в Сибирь на

каторжные работы.

Тягостно влачится жизнь на чужбине. Аристократическая честь не позволяет ему брать гонорары за печатные статьи, он гнушается литературного заработка, живет на подачки приезжающих соотечественников, но деньги тратит по-прежнему легко и щедро. “В нем сохранялись следы изящного барства, он не понимал, что человек должен жить плодами рук своих, а полагал, что жизнь есть нечто такое, что разумеется само собой. И рвал больше перчаток, чем мне обходился день” (Руте).

И в отверженности французской столицы в Бакуине просыпается национальное сознание, он ощущает себя русским, да не просто, а наследником народных вождей Степана Разина и Емельяна Пугачева, отныне именно он — носитель святого русского бунта. Долой Российскую империю! Долой императора Николая! Опрокину, все опрокину!

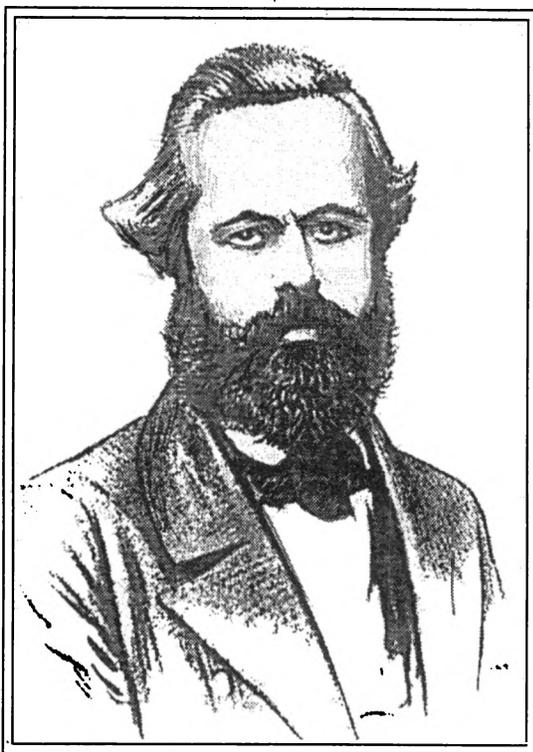
В компании “политического” немецкого поэта Гервега он оказывается в Швейцарии. Гервиг, ах! влюблен в

*Э. Ж. Э. Прудон*



Эмму, она становится его женой, и, конечно же, Мишель посвящен во все подробности их любовной истории. Чужие подробности — его слабость. “Бакунин любит изображать из себя сточную канаву” (Тург.); да, от вселенских идей до соблазнительных дрызг — это все Бакунин.

Огромная холодная чужбина требует хоть какого-то объединения, детская тоска по тесному братству приводит его в масонскую ложу; Мишель принят в хороших домах, он украшение салонов — белокурый великан с калмыцкими чертами, всегда полный надежд, веселый, остроумный, прекрасно образованный, а репутация политического изгнанника лишь добавляла блеска личности первого русского революционера, так непохожего на боязливых подданных Его Величества Русского Царя. Бакунин молод, шутив, изящен, он в расцвете сил, но ни одно женское имя не стоит рядом с его именем, ни одна не может похвастаться сладостной победой.



Карл Маркс.

В Брюсселе он заходит к Марксу.

Здесь кипит работа, издается газета, читаются лекции, проводятся занятия в кружках и собраниях, догадки о могильщиках капитализма озаряют умную голову доктора наук. Бакунину противно. “Маркс портит работников, делая из них резонеров. Все то же самое теоретическое сумасшествие и неудовлетворенное, недовольное собой самодовольство. В обществе коммунистов нет возможности свободно вздохнуть, я держусь от них подальше... Коммунизм есть логическая невозможность, но в основе его лежат священнейшие права и гуманнейшие требования, в них-то и заключается та великая чудесная сила, которая поразительно действует на умы”.

Наконец, он открывает и свою тему. Панславизм — вот во что можно вложить всю неудавшуюся жизнь, клокочущую энергию и искушенный в раздумьях ум. Панславизм, объединение славянских племен, угнетаемых игом Пруссии, Австрии, Турции, даже России (поляки); Всеславянская федерация должна осуществить полную свободу личности, суверенитет каждой нации, отмену частной собственности, права наследования, отмену государственности, чиновничества, ввести общественный труд, общественное воспитание детей, армии труда, общежития и т.п. Кто же встанет у власти в столь совершенной казарме? По мнению Бакунина, это будет широкий круг осведомленных, узкий круг посвященных во главе с самым достойным, самым талантливым из всех, то бишь Михаилом Бакуниным.

Бакунин открыт. Дар проповедника влечет к нему молодежь, жаждущую действия и перемен. Остановка за малым — за “делом”. Краковское восстание 1846 г. наполняет его восторгом. В блистательной речи перед польской эмиграцией он предлагает себя, русского аристократа, в ряды борцов против Российской империи за освобождение

Польша, уверяет, в ослепительном трансе, что за ним — готовое восстать русское крестьянство и вся русская армия!.. Поляки в растерянности, не знают, что и думать, но русское посольство выводит их из затруднений, распуская слухок о том, что Бакунин — агент III Отделения. Вокруг Бакунина пустота.

“Призрак бродит по Европе...” — эти слова уже произнесены; Бакунин и Маркс — первые жертвы Призрака, идеи насилия ради “свободы и светлого будущего”.

1848 год, Великая французская революция. Томительная пустота взорвана, по шпалам добирается Бакунин до Парижа, точно правоверный в Мекку, и попадает в самый центр событий. Две недели проводит в дыму баррикад, проповедует, приказывает, распоряжается. Это лучшие дни его жизни! “Что за человек! — удивляется Косидьер, делавший порядок из беспорядка. — В первый день ему цены нет, а во второй его надобно расстрелять”.

Вспросив довольно бестактно у Временного правительства две тысячи франков для совершения подобной же революции в России, он мчится к русской границе. Позднее, в “Исповеди”, он блестяще опишет лихорадку, в которой находился тогда, в свои 33 года. “Зачем ты едешь? — Еду бунтовать. — Против кого? — Против императора Николая. — Каким образом? — Сам не знаю. — Твои средства? — Две тысячи франков. — А надежды на средства? — Никаких, на авось да на влияние мировой революции” ... и т.д. С границы Мишель пишет большое письмо Николаю I: юношеское обожание государя никуда не ушло, оно тлеет в глубине души, — но не посылает, рвет написанное. “Жаль, не прислал”, — усмехнулся Николай пять лет спустя, читая бакунинскую “Исповедь”.

На Славянском конгрессе в Праге он пробует объединить славян ненавистью к немцам. Маркс тут же отзывается насмешкой в своей газете: “О, если они всерьез, то и мы всерьез. В разразившейся тогда войне не останется и следа от этих упрямых маленьких наций. И это тоже будет прогрессом”.

В Праге волнуются студенты. Артиллерийский офицер Бакунин берет командование на себя, в его гостинице “Под голубой звездой” заседает штаб, отсюда раздается и первый выстрел. Затем он скрывается, едет в коляске по живописной местности и видит, как толпа крестьян пытается приступом взять имение. По всем правилам военной науки Бакунин организует осаду, и когда вновь садится в коляску, замок пылает со всех четырех сторон.

“Воззвание к славянам” он сочиняет в райском уголке Швейцарии, на озерном островке Св. Петра. Сочинение это настолько дерзко и оскорбительно для престола, что Дубельт вздрагивает, читая его в своем кабинете. “Схватить бы его и доставить к нам! Если бы Прусское правительство действовало твердо, оно выдало бы нам этого мошенника”.

Преследует Бакунина почему-то не полиция, а господин Маркс, именно в его газете черным по белому появляется утверждение, что Бакунин — русский шпион. Бакунин низвергнут, бунтарь-одиночка, он страшно нуждается, тоскует, но... это уже последние неприятности перед головокружительным взлетом.

Дрезденское восстание покрыло имя Бакунина мировой славой. 4—9 мая 1849 года он — полный диктатор Дрездена. Видевший его в эти дни Рихард Вагнер увидел в нем огонь и страсть к огню. Добродушнейший, в сущности, человек громит в артиллерийском азарте самые художественные здания, устраивает в театре склад горючих материалов и сжигает его, огонь и разрушение проносятся по всем улицам города. Сам он на баррикадах призывает рискнуть головой, мечтает умереть с оружием в руках. Для защиты городских стен от солдат короля приказывает выставить в качестве щитов бесценные картины Рафаэля, Тициана, Мурильо из Дрезденской галереи, рассчитывая,

что противник не посмеет стрелять в шедевры, и в конце концов предлагает взорвать себя вместе с городской ратушей. Восстание подавлено. Бакунин в руках полиции.

В Петербурге известие это встречено с воодушевлением. Не меньшую радость царю доставляет и тот факт, что именно его офицер столь удачно действовал против прусского короля.

— Командовал? И как?

— Блестяще, Ваше Величество.

## Часть третья

“В политике только успех решает, что есть великое дело, а что преступление”, — рассуждает Бакунин в обществе конвойного офицера по пути в прусскую тюрьму Кенигштейн. Процесс его тянется долго, и впервые за много лет у него есть теплая комната, еда, книги; допросы и надеваемые на прогулку кандалы не тяготят его. Однако дух его надломлен, одиночество гложет его. “В этой жизни надо как-то выносить себя самого... — пишет он друзьям и добавляет по обыкновению: — Денег, друзья мои, денег” — на табак, надо полагать, и на чай. Через год суд приговаривает его к эшафоту, но ввиду его иностранного подданства топор заменяется замком, пожизненным заключением.

Австрийское правительство также хочет повидаться с Бакуниным, его интересуют подробности пражского восстания. Здесь с ним не церемонятся, приковывают к стене во избежание побега и вообще обращаются неблагородно. Поначалу он бодрится, распевает о Прометее, потом скисает, сидя на цепи, думает о самоубийстве, глотает фосфорные спички, что не наносит ни малейшего вреда его могучему организму. Следует второй смертный приговор, также замененный на пожизненное заключение на том же основании: русского царя боялись не только на родине.

И сам Бакунин всего два года назад более всего опасался быть выданным русскому правительству, теперь же он и не знает, что страшнее, и не боится уже ничего.

“Однажды ночью меня будят, ведут, везут. Я ужасно обрадовался: расстреливать ли ведут, в другую ли тюрьму — все к лучшему, все перемены. Наконец, приехали. Я увидел русских солдат и сердце мое радостно дрогнуло. “Здорово, ребята!” “Не велено разговаривать”. Австрийский офицер потребовал обратно цепи, собственность австрийской короны. Пришлось перековывать. Так в ручных и ножных кандалах провели через Красное село. 11 мая 1852 г. Михаил Бакунин прибыл на родину и занял арестантский покой N 5 Алексеевского рavelина Петропавловской крепости.

— Наконец-то, — с облегчением вздохнул наследник.

Смертной казни в России не было, после декабристов никого, кажется, не лишали жизни за преступления, зато каторга в Сибири принимала всех.

В течение двух месяцев Бакунина не беспокоят, да и с чем подступиться к дважды приговоренному? Наконец, в тюремную камеру к этому политическому незнакомцу входит граф Орлов и предлагает для начала написать лично царю все, что Бакунин считал бы возможным сообщить. Наверняка правительство интересовали в первую очередь польские дела, но Орлов сказал — “как духовный сын духовному отцу”, и Бакунин решил по-своему. Испросив месяц срока, он принимается за исповедь.

Рукопись была найдена в архиве III Отделения в 1921 году. Мир ахнул: “Возможно ли? Бакунин! Позор!”... Но вспомним диссертации-исповеди юных лет, и глухое

тюремное молчание последних двух, и то, что он ухитрился не назвать ни одного имени в пределах досягаемости российской полиции, — и поступок сей не будет выглядеть “изменой великому делу революции”.

Зато каков слушатель! О, Бакунин берет самый высокий тон.

“...Государь! Я кругом виноват перед Вашим Императорским Величеством и перед законом отечества... писал, говорил, возмущал умы против Вас где и сколько мог... сильная, никогда не удовлетворенная потребность знания, жизни, действия... до сумасшествия в Гегеля, искал жизни, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье... вера в освобождение поработенного большинства, все прогнило, лишь народ сохранил свежесть и силу.. отказ возвратиться — первое преступление...пробудясь от юношеского бреда, без родины, без дела... революция в Париже, мороз по коже, дикий Кавказ, баррикады до крыш, месяц духовного пьянства, пьян из пьяного Парижа... Куда ты едешь? — Еду бунтовать... я не шарлатан, жажда простой чистой истины не угасала во мне...хотел ворваться в Россию и бунтовать против государя и разрушить вконец существующий порядок...стою перед Вами, как блудный, отчужденный и развратившийся сын перед оскорбленным и гневным отцом... в моей природе всегда был крупный недостаток, это любовь к фантастическому, к необыкновенным, неслыханным приключениям, мне становилось душно и тошно в обыкновенном спокойном кругу, я весь был революционное желание, все вверх дном, разрушить, сжечь... благодарю только Бога, что не дал мне сделаться извергом и палачом своих соотечественников. Государь! Я преступник великий и не заслуживаю помилования! Пусть каторжная работа будет моим наказанием. Не велите мне жить в вечном крепостном заключении. Кающийся грешник Михаил Бакунин”.

Перебеленная придворными писарями в четырех экземплярах, переплетенная в изящную обложку, рукопись легла на стол Николая. Он работал с нею с карандашом в руке, делая пометы для себя и наследника: “Прочти, это интересно!” и прочие восклицания; в заключение же написал: “Повинную голову меч не сечет, прости ему Бог”, а на словах отзывался так:

— Он умный и хороший малый, но опасный человек, его надобно держать взаперти.

Молодой нюх наследника оказался еще острее.

— Раскаяния не видно.

И Бакунина оставили “в покое”.

Потянулось (или остановилось) время, годы времени. Голуби за решеткой, канарейки в клетке, редкие свидания с родными. Опальный Иван Тургенев подбирает ему книги, Герцен в Лондоне печатает благородно-печальные строки о великом революционере, проходят два, четыре, шесть лет, приходят цинга, потеря зубов, болезнь печени. “Страшная вещь — пожизненное заключение. Сегодня я поглупел, завтра стану еще глупее”. При коронации Александра II фамилия Бакунина единственная вычеркнута из списка помилованных, не помогло и вступление всех братьев в армию в период Крымской кампании, “дрезденский диктатор” не внушает доверия новому императору.

Наконец, через семь лет хлопоты матери и слезные униженные мольбы узника увенчиваются успехом. В Сибирь, на поселение — такова дороженька государственного преступника Михаила Бакунина.

Сибирь, Сибирь... Волна декабристов, доживших до нового царствования, уже вернулась в столицы, срок отбывают сплошь разночинцы, в Томске это Петрашевский, Спешнев. Жизнь их тяжела, полна нужды, духовная деградация стремительна — так, протесты Петрашевского сводятся к длиннейшим, удручающим жалобам без абзацев

и точек, полных ехидства, путаных доказательств своей правоты. Малочисленная интеллигенция по обыкновению провинциальных городов разделена на два враждующих стана, но есть и светлые головы, которые лечат, учат, изучают природу и население Сибири. Весть о приезде революционера с мировым именем придала им бодрости, всколыхнула все общество, его ждали как вождя и пророка.

Ждал его и генерал-губернатор, могущественный хозяин Сибири граф Муравьев-Амурский, родной дядя Мишеля по матери. И сотрясатель тронов падает на грудь своему родственнику, родному аристократическому кругу, философствованию в уютной гостиной губернаторского особняка.

В Томске у него собственный домик, он дает уроки французского семье Квятковских, польских переселенцев из Малороссии, здесь собираются и ссыльные поляки. Здоровье быстро восстанавливается, энергия прибывает не по дням, а по часам, а вместе с нею и мечты о новых переворотах, деятельности, славе. Что ему провинциальные страсти! Новый Париж, новый Дрезден, ни больше ни меньше!

Всесильный родственник выправляет ему разрешение на государственную службу — должность мизерная, нехлопотная, но никогда не работавший, не зарабатывавший Мишель оказывается совершенно никчемным, спесивым сотрудником, ему платят из страха перед генерал-губернатором, что, конечно же, не украшает его в глазах общества. Впрочем, у него другие планы. Скостив себе четыре года из своих сорока четырех, Бакунин присваивается к семнадцатилетней Антонии Квятковской. Отказ родителей более чем оправдан, но, когда в их доме появляется блистательный Муравьев-Амурский в роли свата, скромному чиновнику приходится уступить. Сама Антония относится к жениху, как Дездемона: “Он герой, и стоял за Польшу”.

“Я жив, я здоров, я крепок, я женюсь, я счастлив, я вас люблю и помню, и вам, как и себе, остаюсь неизменно верен.

Уж если кто вздыхает,

Так это я, я, я. (франц. песенка)”

— так игриво сообщил он в Лондон Герцену о своих делах.

Отношения городской интеллигенции со ссыльным хуже и хуже, а неблагоприятная роль в трагической дуэли между двумя молодыми людьми, представителями местных Монтекки и Капулетти, окончательно подрывает его репутацию. Не жалуют его и в губернаторском окружении, в высших деловых кругах, считают болтуном, бездельником, попрошайкой. Врач Белоголовый, путешествуя по Европе, специально встречается с Герценом, который печатает в “Колоколе” сибирские статьи Бакунина, чтобы поведать об этом человеке, но тот не внимает. “Ваши рассказы похожи на правду, правда мне мать, но...Бакунин мне Бакунин”, образ друга по-прежнему окружен для него сиянием восстаний и мученичества.

Но и над Муравьевым-Амурским сгущаются тучи, отставка его и отъезд в Европу делают жизнь Бакунина невозможной. 5 июня 1861 года Бакунин выезжает из Иркутска, имея проездные документы по всему Амуру, чужие деньги и самые дерзкие намерения. В Николаевске он о них пробалтывается, и только застарелая вражда полицейских чинов между собой дает ему возможность осуществить свои планы. Пересаживаясь с корабля на корабль, он достигает устья.

В Гого-Дади его принимают на американский фрегат. Капитан ждет кого-то к завтраку. Входит Генеральный русский консул. Отступать некуда, Бакунин садится за стол.

— Вы не с нашими ли возвращаетесь? — спрашивает консул.

— Нет, — отвечает государственный преступник, — я только что приехал и хочу посмотреть край.

Через день он проплывает на американском фрегате мимо русской военной эскадры. Кроме океана опасностей больше не было.

Часть четвертая

“Друзья, мне удалось бежать... После долгого странствия я оказался в Сан-Франциско. Всем существом стремлюсь к вам, и лишь приеду, примусь за дело, буду служить у вас по польско-славянскому вопросу. Разрушение, полное разрушение Австрийской империи будет последним моим словом, а за ним явится славная, вольная Славянская федерация...”

Большой радости это известие не вызвало, но делать нечего — Герцен и Тургенев скидываются по 1500 франков для поддержания на первых порах беспокойного соотечественника, а на будущее условливаются с издателем о печатании мемуаров великого революционера, которые он срочно напишет, пока не иссяк интерес к его “самому длинному побегу в мире”.

“Я очень боюсь приезда Бакунина, он наверное испортит наше дело”, — опасается Герцен, дела которого с “Колоколом” идут не блестяще.

А вот и герой, прямо с парохода.

— Как положение? — первый вопрос после объятий и поцелуев.

— В Польше только демонстрации.

— А в Италии?

— Тихо.

— А в Австрии?

— Тихо.

— А в Турции?

— Везде тихо, и ничего даже не предвидится.

*А. У. Герцен.*



— Что же мне делать? — Бакунин растерялся. — Неужели ехать куда-нибудь в Персию или Индию и там подымать дело? Без дела я сидеть не могу.

И вновь понеслось: тайные общества, собрания, конспирация, шифровки и люди, люди... Строгий человек эпохи, раскольник Кельсиев В.И. увидел перед собой тупого бунтовщика с идеями, взятыми напрокат, пустоту и непонимание вопросов, ему была непонятна загадка высокой репутации Бакунина.

В 1863 году началось восстание в Варшаве. Решив, что пришла пора объявлять войну России, Бакунин едет в Швецию за средствами для русского легиона. Рейтинг его недосыгаем: два смертных приговора, десять лет тюрьмы, побег из Сибири, есть от чего закружиться голове обывателя. Его встречают банкетами. На одном из них Михаил Александрович делает заявление в духе Прудона и Хлестакова

одновременно: “В моей жизни нет поступка, за который мне пришлось бы краснеть”; ему рукоплещут залы и площади, газеты печатают каждое его слово.

И в чьей-то умной голове в III Отделении мелькает идея напечатать “Исповедь” и слезные мольбы о помиловании, хранящиеся в архивах, как ответ на подобные жесты. Это был бы конец легенды, позор несмыслаемый, этот полицейский памфлет “Михаил Бакунин, сам себя изображающий”, но Бакунину снова везет: подготовленный, подписанный по начальству оттиск ложится в стол, полиция стыдится собственных промахов.

Экспедиция в Швецию проваливается трагически, гибнут люди, средства, вся многошумная деятельность лопается, как мыльный пузырь. И все это неизменно бьет по “Колоколу”, где печатаются статьи Бакунина; издав фальшивые “польские” звуки, журнал окончательно теряет подписчиков и умолкает. Опасения Герцена оправдались с лихвой, ему давно уже надоело возиться с великовозрастным дитятей, оплачивать его счета, командировки его “бойцов” и т.д., он отчитывает Бакунина как школьника.

“Ты не знал России ни до тюрьмы, ни после нее, ты прожил пятьдесят лет в мире призраков, не ты работал на сокрушение империй, а король прусский и император Николай работали на тебя. После десяти лет тюрьмы ты явился к нам болтуном. В твоей книжке записаны шифром адреса всех порядочных людей России, и эта тетрадь ходит по рукам! Болтовней ты погубил Налбандова, Воронова, Серно-Соловьевича. Ты во главе зла. Надобно или дело делать, или спокойненько ничего не делать. Жаль, что ты не написал мемуаров, они принесли бы тебе состояние. Не шути деньгами”.

“Прости, Герцен, я виноват, я высоко ставлю тебя над собою,”<sup>1</sup> — оправдывался Бакунин, испуганный отлучением.

Но Александр Иванович был слишком рассержен. После “развода” Бакунин поселился в Италии. Здесь его “дикая энергия и бешеный взгляд” оказались более кстати, да и сами итальянцы нравятся ему темпераментом и склонностью к эксцессам. Панславизм оставлен, дела пошли в гору. Начать с того, что приехала жена. Как он ждал ее! Как требовал от всех содействия! “Тургенев, помоги! Родная любовь! Выкраду ее, выкраду, кто этому противен, тот мне враг, тому ненависть моя будет вовеки!” Кипятковский бакунинский нетерпещ держит в напряжении друзей и знакомых, которые обязаны взять на себя все дорожные хлопоты и расходы.

Антония приехала. Наивной провинциальной девчужки уже не было, в Европу вступила молодая полька. Увидела нищету и беззаботность супруга, многолюдье и говорильню, гору табаку на столе “наподобие фуражу”, увидела грязные стаканы под столом и все поняла. В отчаянии оглянулась по сторонам. Итальянский адвокат Ш. стал ее утешителем, от него родилось трое ее детей. Сам Бакунин детей не имел и иметь не мог. На взгляд окружающих к молодой жене относился снисходительно как отец, к детям как любящий дедушка. Так казалось со стороны, однако порывы к самоубийству, упоминаемые в литературе, наводят на другие мысли.

По Италии, по Испании стала распознаться сеть тайных обществ.

— Бедное человечество! Из этой клоаки ему не выбраться иначе, как при помощи колоссальной социальной революции. Надо более бед и потрясений, чтобы быть готовыми ко дню пробуждения дьявола. Революционер должен иметь черта в теле и всаживать его в тело народа.

И люди шли. Их завораживал самый вид Бакунина: исполин с лвиной головой, высоким лбом, окруженным серебристыми кудрями, с металлически-звонким голосом, под стать физической силе, и даже великанский аппетит, грязная, в пятнах, никогда не снимаемая одежда и крошки позавчерашнего обеда в нечесаной бороде работали на образ народного вождя. Когда же он действительно в ком-то нуждался, то сознательно



— • • —  
*М. А. Бакунин с женой А. К. Бакуниной*

поминалось, служители Призрака еще не враждовали в открытую, и Маркса беспокоило лишь расплозание бакунистов по югу Европы, где у Международного товарищества рабочих (I Интернационал) не было секций. Согласно в необходимости революционных мер, они расходились во взглядах на устройство будущего общества: один разрабатывал теорию диктатуры пролетариата и железных законов, другой ненавидел законы и провозглашал анархически-свободную жизнь. И поскольку непослушание и безнаказанность любезнее сердцам, чем мудреные экономические постулаты, Карлу Марксу приходилось считаться с популярным соперником. Он даже пригласил Бакунина в Интернационал. Но Бакунин сам уже возглавлял Лигу мира и свободы, буржуазную организацию, где его не принимали всерьез, а также руководил Альянсом, и Тайным Альянсом, и тайными братствами со сверхтайными центрами, ячейками и бог знает чем еще. Развилась и его программа, он декларирует открытые границы, Соединенные Штаты Европы, свободное самоопределение наций, отмену религий, отделение России от Украины и Белоруссии, чтобы истинно русский народ шел по своему великому пути, и многое другое. Это делает его имя известным широкой общественности, Бакунин — в зените славы.

Однажды, в прекрасный день 1869 года к нему в Женеву пришел скромный,

нагнетал очарование, становясь непреодолимо обольстительным: теплая благородная веселость, хороший тон, вкус, аристократизм.

Профессор Г. описывал, как Бакунину удалось взять его за душу, заечь, убедить в необходимости насильственных мер в государстве. “Великий Змий окружил меня с этой минуты фатальными кольцами. В странном возбуждении я всю ночь ходил по комнате, посылая проклятия прошлой жизни, отказался от службы, от профессуры, и с головой в бакунинское “дело”. А застал безделье, сбор пожертвований для себя и таких же нищих, которые все хотели чина, и никто не хотел быть рядовым, занимаясь пустяками вроде еженедельной смены шифра”.

В Италии Бакунина посетил Маркс. Старое не

невысокий, очень молодой человек из России. Сергей Нечаев, 1847 года рождения, сын крепостного, учитель, вольнослушатель университета. Он прибыл с намерением составить заговор с целью свержения самодержавного строя. Энергии в новобранце хватило бы на сто чертей сразу. Бакунин в восхищении. До сих пор у него не было выхода на Россию, в молодом человеке он увидел восходящую звезду революции, своего преемника. Они сошлись. Результатом их планов стали прокламации, воззвания, листовки, переправляемые в Россию. Русской молодежи предлагалось бросать университеты, бунтовать народ, идти в среду разбойников, уголовников, проституток в поисках истинно революционных характеров, использовать яд, петлю, кинжал, топор, сплачиваться для разрушительных кровавых переворотов, чтобы не оставить камня на камне от Российской империи. В обращении к русской армии призывалось



*С. Г. Нечаев.*

воспитывать солдат и офицеров в том же направлении. Вот образец “Катехизиса революционера” в неуклюжей обработке Нечаева.

“Наше дело — есть страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Революционер — обреченный человек, у него нет интересов, дел, собственности, даже имени. Он беспощадный враг науки, которую изучает лишь для разрушения этого поганого строя. Он обречен на пытку, он ненавидит нравственность, он ненавидит всех, кто не останавливается перед уничтожением любого...” и т.д. Все население страны было поделено на пять групп, кои подлежали травле, шантажу, пыткам, убийству, в том числе дети и женщины.

Бакунин явно заигрался, беззубое старчество и молодое изуверство посеяли неслыханные семена и стали выхаживать всходы. Снабженный поддельными документами, пустыми бланками с печатью Интернационала, с личной доверенностью “от самого Бакунина”, Нечаев принялся сколачивать “пятерки” в студенческой среде так, чтобы они, не зная друг о друге, подчинялись “Комитету”: Имя апостола анархии действовало на горячую, бурлящую молодежь как знамя, в короткое время удалось охватить московский и петербургский университеты, часть офицерства. Энергия Нечаева была поистине дьявольской, никто не видел, чтобы он спал. Однако диктаторские замашки насторожили студентов его организации “Народная расправа”, а мифический Комитет вызвал подозрения. “Кто этот Комитет? Ты, что ли, Комитет?” — догадался студент Иванов, и это стоило ему жизни. Члены его “пятерки”, скованные, точно цепями, страхом перед Нечаевым, неумело убили непокорного не берегу пруда Петровской Академии.

Начались аресты, в тюрьму попало более двухсот человек. Открытый процесс над “нечаевцами” поразил Россию, впервые “об этом заговорили печатно, с подробностями, освещенными в “Полицейских ведомостях”. Общество отказывается

верить, умные люди задумываются над будущим поколений, измученный Достоевский пишет “Бесов”, а игрун-Бакунин печалуется о судьбе “маленького”; но вот он узнал о прибытии того в богоспасаемую Женеву и на радостях “прыгнул так, что чуть не пробил потолок старой своей головою”.

Несчастья, беды, смута — отличные новости для наших весельчаков, и, чтобы усилить брожение, они принимаются рассылать воззвания и прокламации обычной почтой “всем порядочным людям России”, навлекая полицейские преследования на целые семьи. Один полковник, жену которого арестовали, застрелился, ко многим людям пришло горе. “Остановите Бакунина!” — посыпались требования в Женеву, но Герцена к тому времени уже не было, а старый Ага (Огарев), пьяненький и слабый, не мог оказать противодействия.

Как ждали они революцию! Как предчувствовали ее в 1869 году! Потом весной 1870.-го...И вот в далеком Симбирске родился один мальчик...

Между тем политическое продвижение Бакунина приостановилось. Альянс развалился, Лига отвергла, организации не получалось. Зато налицо был Интернационал, деятельный и бодрый.

“Я считаю тебя своим учеником, — пишет он Марксу, — я давно уже не знаю другого общества, кроме рабочих”.

С опаской, нехотя, Маркс согласился впустить к себе Бакунина с его секциями, и тот протащил с собой все свои тайные братства для захвата товарищества изнутри.

И тут подоспела франко-прусская война, Парижская Коммуна. Бакунин руководит восстанием в Лионе. Он снова молод, снова “в своем элементе”. Он свергает городскую власть, отменяет бюрократию и государство, вводит смертную казнь, он сам мечтает

*М. А. Бакунин.*



умереть на баррикадах, он зовет на помощь Парижу: “Вдохновленные всеми ужасами опасности, к оружию, граждане!”

“Революция — это культ Сатаны, вечного мятежника, первого свободного мыслителя. Интернационал — это воплощение Сатаны, ... современный Сатана — в неукротимости бунтов, это революционный пролетариат, после каждого поражения восстающий вновь с непобедимой силой. Прудон в минуты революционного озарения провозглашал анархию и поклонялся Сатане!”

Преследуемый полицией, он бежит в Марсель и возвращается домой. Поражение сломило его, лишило надежд.

“Я исполнил свой долг до конца, до остального мне нет дела. Вы думаете, революция —

это красиво? Я видел революцию вблизи, это очень противно вблизи. Все равно перед вечностью все тщетно и ничтожно. Я потерял себя, я ишу мое внутреннее прежнее Я при помощи тихого созерцания”.

Но Шеллинг и Фихте не помогают, тихого созерцания не получается. Нечаевское дело и плутни в Интернационале рассердили Маркса, борьба с бакунистами внутри организации расшатала ее ряды, посеяла смуту среди рабочих. Маркс настаивает на изгнании Бакунина, Гаагский конгресс принимает соответствующее решение. Все, казалось, удалось, и марксисты могут торжествовать, но... через год разваливается и сам I Интернационал .

Если правда, что от великого до смешного один шаг, то Михаил Александрович делает и его. Соблазненный возможностью умереть на баррикадах, он отправляется в Болонью, где, по слухам, ожидаются крестьянские волнения. Это было бы его политическим заветованием, а заодно и избавлением от невыносимой нужды и унижительной семейной жизни. Выжидая момента, когда можно явиться

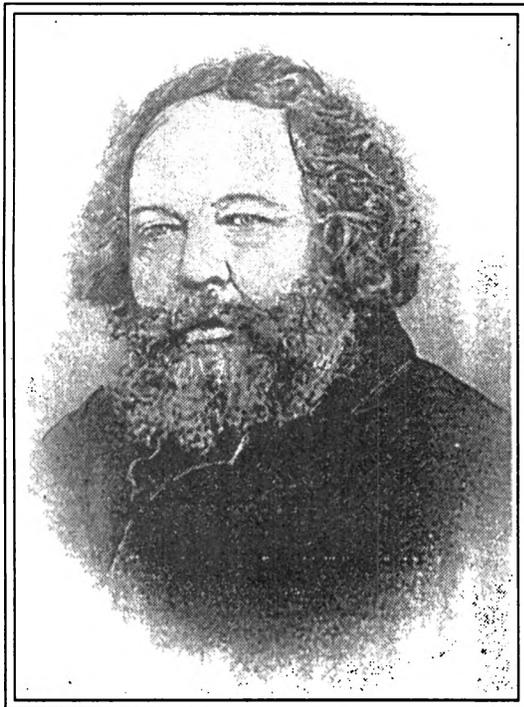
вождем и пророком, он прячется в кустах, но крестьяне, побросав оружие, мирно расходятся по домам, а святой отец принужден бежать в телеге под ворохом сена.

Тучный, большой, неряшливый, Бакунин по-прежнему величествен.словно океанский корабль, движется он в толпе, привычно привлекая внимание. В его присутствии слушают только его, речь его умна, свободна, воспоминания о друзьях молодости, о Дрездене, о Сибири подаются как законченные литературные новеллы. Молодежь благоговейно внимает мэтру и записывает на память.

До последнего дня беседы его сохраняли юношескую живость. “Смерть — это совсем не страшно...” — вспоминает он слова старшей сестры. За полчаса до кончины он спокойно поговорил с сиделкой и, едва она вышла, тихо умер.

Когда-то А.И.Герцен, думая о нечеловеческой энергии и широкой мечтательности молодого Бакунина, заметил, что тот, должно быть, далеко опередил свое время, что силы его остались невостребованными.

Но мы... мы промолчим.



М. А. Бакунин.

СЦЕНАРИЙ АЛИНЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ  
"Изверг своего отечества или жизнь Михаила Бакунина"  
ПРОДАЕТСЯ.

По вопросам приобретения обращаться в редакцию нашего журнала  
по адресу: 103006, Москва, Воротниковский переулок, дом 12  
или по телефону: 299-11-78

# THE PIANO

ПИАНИНО



# А Н О Н С

Фильм “ПИАНИНО” –  
сценарий и режиссура Джейн Кемпион –  
награжден Золотой Пальмовой ветвью Каннского  
кинофестиваля 1993 года.

Фильм “ПИАНИНО” – лауреат трех “Оскаров” –  
призов Американской киноакадемии в 1993 году:

- приз за лучший авторский сценарий  
(сценарий Джейн Кемпион)
- приз за лучшую женскую главную роль  
– актрисе Холли Хантер
- приз за лучшую роль второго плана  
– Анна Пэкуин

Сценарий фильма “ПИАНИНО” – читайте  
в ближайших номерах нашего журнала

## ПИАНИНО

# THE PIANO



## Валерий Фрид

## 58 1/2

## III. Постояльцы

Я рассказывал о тех, кто на Лубянке сильно портил мне жизнь - о следователях. Теперь очередь дошла до сокамерников, людях очень разных, которые, каждый по-своему, скрашивали мое тюремное житье. Начну с Малой Лубянки, с "гимназии".

После двух недель одиночки меня перевели в общую камеру - и сразу жить стало лучше, жить стало веселей. Моими соседями были бывший царский офицер, а в советское время - командир полка московской Пролетарской дивизии Вельяминов, инженер с автозавода им. Сталина Калашников, ветеринарный фельдшер Федоров, танцовщик из Большого Сережа (фамилию не помню, он недолго просидел с нами) и Иван Иванович Иванченко. Позднее появился "Радек"; с его прихода и начну.

Открылась с лязгом дверь и в камеру вошел низкорослый мужичонка. Прижимая к груди надкусанную пайку, он испуганно озирался: неизвестно, куда попал, может, тут одни уголовники, отберут хлеб, обидят. Это был его первый день в тюрьме.

- Какая статья? - спросил Калашников.

- Восьмая.

- Нет такой. Может, пятьдесят восьмая?

- Не знаю. Они сказали - как у Радека.

Териорист, сказали.

Все стало понятно: 58-8, террор. Радеком мы его и окрестили. Настоящую фамилию я даже не запомнил - зато отлично помню его рассказ о первом допросе. По профессии он был слесарь-водопроводчик.

Привезли его ночью, и сразу в кабинет к следователям. Их там сидело трое. Один показал на портрет вождя и учителя, спросил:

- Кто это?

- Это товарищ Сталин.

- Тамбовский волк тебе товарищ. Рассказывай, чего против него замышлял?

- Да что вы, товарищи!..

- Твои товарищи в Брянском лесу бегают, хвостами машут. (Был и такой, менее затасканный вариант в их лексиконе). Ну, будешь рассказывать?

- Не знаю я ничего, това... граждане.

Второй следователь сказал коллеге:

- Да чего ты с ним мудохаешься? Дать ему пиздюлей - и все дела!

Они опрокинули стул, перегнули через него своего клиента и стали охаживать по спине резиновой дубинкой. Дальше - его словами:

"Кончили лупить, спрашивают: ну, будешь говорить? Я им:

- Граждане, может, я чего забыл? Так вы подскажите, я вспомню!

- Хорошо, - говорят. - Степанова знаешь?

А Степанов - это товарищ мой, он в попы готовится, а пока что поет в хоре Пятницкого.

- Да, - говорю, - Степанова я знаю. Это товарищ мой.

- Вот и рассказывай, про чего с ним на первое мая разговаривали.

Тут я и правда вспомнил. Выпивали мы, и Степанов меня спросил: что такое СэСэСэР знаешь? Знаю, говорю. Союз Советских Социалистических Республик. А он смеется: вот и не так! СССР - это значит: Смерть Сталина Спасет Россию... Рассказал я им

это, они такие радые стали:

- Ну вот! Давно бы так.

Я говорю:

- А вы бы сразу сказали, граждане.

Драться-то зачем?

Они спрашивают:

- Жрать хочешь?

- Покушать не мешало бы.

Принесли мне каши в котелке - масла налили на палец! - и хлеба дали. Кашу я низанул, а про хлеб говорю:

- Можно с собой взять?

- Возьми, возьми.

Дали подписать бумажку - про восьмую статью - и отпустили".

Это было простое дело, вряд ли следствие длилось долго: вскоре Радека от нас забрали, дали на бедность, думаю, лет восемь и отправили жопой клюкву давить.

А вот Вельяминов сидел под следствием долго - и не в первый раз, если мне не изменяет память. Это был в высшей степени достойный человек, выдержанный, терпеливый. Ему приходилось туго: не от кого было ждать передачи, и он уже доходил. Замечено: на тюремной пайке без передач можно было благополучно просуществовать месяца два-три. Дальше начинались дистрофия, пеллагра, голодные психозы.

У Вельяминова уже не было ягодич, кожа шелушилась и отставала белыми клочьями - но с психикой все было в порядке. Те, кто получал передачи, не то, чтобы делились с сокамерниками, но обязательно угощали каждого - чем-нибудь.. Вельяминов отказывался от угощения; а если давал уговорить себя, сдержанно благодарил и принимался есть - неторопливо, даже изящно.

От него, между прочим, я впервые услышал, что сфабрикованные чекистами дела случались задолго до знаменитого процесса "Промпартии": оказывается, еще в двадцатые годы на Лубянке вызревало "дело военных" - о мифическом заговоре бывших царских офицеров во главе с Брусиловым. Царский генерал; автор вошедшего во все учебники "брусиловского прорыва", он поступил на службу советской власти и преподавал в военной академии, не подозревая о той роли, которую ему готовят неблагоприятные новые хозяева. Но старику повезло: он умер, и "дело" как-то само собой заглохло. Ликвидировать

неблагонадежных военспецов пришлось по-одиночке, как Вельяминова. Впрочем, не совсем по-одиночке - вместе с ним арестовали сына Петю, тогда совсем мальчишку. Это Петр Вельяминов, замечательный актер, которого теперь все знают. От отца он унаследовал интеллигентность и обаяние - и ведь сумел не растерять их в скитаниях по лагерям и тюрьмам. С отцом я познакомился в 44-м году, а с сыном - в Доме Кино, сорок лет спустя (куда до нас Дюма-отцу с его 20 и 10 лет спустя!).

Надо сказать, что от каждого из сокамерников я узнавал что-нибудь новое и любопытное. Так, Сережа объяснил мне, что нога у меня не "танцевальная": у балетного танцовщика второй и третий пальцы должны быть длиннее большого. А у меня, как на грех, выступал вперед большой. О балетной карьере, правда, я не мечтал - но все равно, интересно было послушать. Даже Радек успел сообщить нам рецепт каких-то особых шанежек, которые пекут у него на родине - кажется, на Алтае: на горячую, прямо с огня, шаньгу выливают сырое яйцо. Голодных людей кулинарные рецепты особенно интересуют; я слышал, что и в окопах, как в тюремных камерах, разговоры о еде - любимое времяпрепровождение. До сих пор жалею, что так и не попробовал каймака: о нем очень вкусно рассказывал Калашников (он был родом из казачьих краев). С топленого молока снимают румяную пенку - и в горшок. А горшок - в погреб, на холод. Следующую порцию топленой пенки укладывают в тот же горшок - и через несколько дней получается что-то вроде слоеного торта, нежнейшего и вкуснейшего, по словам рассказчика. Вот даже сейчас пишу - и слюнки текут!

Сведения, которыми делился с нами ветфельдшер Федоров, были особого свойства. Одно из его профессиональных наблюдений особенно часто вспоминаю теперь, на склоне лет.

- Что интересно отметить, - говорил он. - Жеребец старый-старый, совсем помирать собрался: лежит, встать не может, суешь ему морковку - не берет. А проведут мимо молодую кобылку, встрепенется, поднимет голову и - и-го-го!

Рассказы Федорова раскрыв рот слушал Иван Иванович Иванченко. Узнав, что

особенно крепкие надежные гужи получают из бычьих членов (тушу подвешивают за этот предмет, чтобы под тяжестью он вытянулся до нужной длины), Иван Иванович ужасался:

- Подвешивают? Живого?

А услышав, что коровам аборт делают так: вводят один расширитель, потом другой - Иван Иванович спросил:

- Куда?

- В ухо, - объяснил ему Калашников.

Родом Иванченко был из Ростова-на-Дону. Считается, что ростовчане народ ушлый и смысленый; в блатном мире ростовских воров уважали почти как сибирских (а московских не уважали совсем). Но наш Иван Иванович не поддержал репутацию Ростова-папы. Был доверчив и наивен до неправдоподобия - даже глуповат, честно говоря. Знал ведь, что дадут срок и ушлют черт знает куда - было, было о чем тревожиться! Но его почему-то больше всего волновало, что за время отсидки пропадет профсоюзный стаж. В чем состояло его преступление, не помню; скорей всего, кроме болтовни ничего не было.

А вот за стариком Федоровым грешок вошелся. У них в Зарайске работали ветврачами братья Невские (одного, главного, кажется и звали Александром). Федоров их очень уважал и поэтому согласился помочь в важном деле. Братья задумали - ни больше, ни меньше - изменить ситуацию в стране конституционным путем. Для этого они намеревались на выборах в Верховный Совет выдвинуть своего кандидата и агитировать за него.

До агитации дело не дошло: всю зарайскую партию д-ра Невского - человек семь-восемь - арестовали и переселили на Лубянку.

- Я-то, старый дурак, чего полез, - сокрушался Федоров.

Мы с ним не спорили: похоже, что наивные люди жили не только в Ростове-на-Дону.

Наши с Федоровым фамилии начинались на одну букву и это причиняло некоторое неудобство. Дело в том, что по лубянским правилам надзиратель, приглашая кого-то из общей камеры на допрос, не имел права называть фамилию: вдруг в соседней камере сидит одноделец - услышит и будет знать,

что такой-то арестован. А это не полагалось; впоследствии надо было держать в полном неведении относительно того, что делается в мире - и в частности в других камерах.

Однодельцев, разумеется, вместе не сажали. Более того, во избежание случайной встречи в коридоре, когда одного ведут с допроса, а другого на допрос, надзиратель непрерывно цокал языком - "Тск! Тск!" (А на другой Лубянке по-змейному шипел: "С-с-с! С-с-с!") А в Бутырках стучал здоровенным ключом по всему железному - по решеткам, разделяющим отсеки коридора, по пряжке своего ремня). Это было предупреждением - как колокольчик прокаженного в средние века: берегись, иду!

Услышав сигнал, встречный вертухай запикивал своего подопечного в "телефонную будку" - так мы прозвали глухие фанерные будочки, расположенные в тюремных коридорах специально на случай неожиданной встречи. На местном диалекте это называлось "встретить медведя". Когда цоканье или шипенье удалялось на безопасное расстояние, вертухай выпускал своего и вел дальше, придерживая за сцепленные на копчике руки. Большинство надзирателей только слегка касались наших запястий; но были и добросовестные служаки: те вздергивали сцепленные за спиной руки чуть ли не до лопаток...

Так вот, когда в камере отворялась кормушка и надзиратель говорил "На кэ", свою фамилию должен был, подбежав к двери, негромко назвать Калашников, "На вз" - отзывался Вельяминов; а "На фэ" мы с Федоровым оба пугались: ничего приятного вызов не сулил; оба срывались с места. Потом один из двоих с облегчением возвращался на свою койку, а другой уходил. "Без вещей" - на допрос, "с вещами" - в другую камеру или на этап.

Надзиратели понимали, что в камерах вызова ждут с замиранием сердца: кто его знает, куда поведут! И один из вертухаев придумал себе забаву. Вызывая камеру на прогулку, нарочно делал паузу: "На пэ... рогулочку!" - так, чтобы Плетнев, Попов или Певзнер успели, к его удовольствию, испугаться.

Трудно жилось в тюрьме курящим. Если у кого и была махорка, запас быстро кончался; с горя пробовали курить листья

от веника, которым мели камеру. Не было и бумаги; умельцы исхитрялись, оторвав уголок маскировочной шторы, расщепить толстую синюю бумагу на несколько слоев и использовать на закрутку. С огоньком тоже обстояло скверно: надзиратели имели право дать прикурить только два или три раза в день (я не курил, поэтому точно не помню). А если, не вытерпев, кто-нибудь обращался с просьбой в неурочное время, то слышал в ответ многозначительное:

- Своя погаснет.

Верю, что за либерализм вертухаям грозили серьезные неприятности.

Голь на выдумки хитра. На Вологодской пересылке, лет через пять, я познакомился со способом добывания огня из ничего. От подбивки бушлата отщипывался кусок серой ваты; из него делались две плоские лепешки; одну ладонями скатывали в жгутик, плотно заворачивали во вторую и, сняв ботинок, быстро-быстро катали подошвой по полу. Потом жгутик резко разрывали пополам - и прикуривали от тлеющего трута. Я тогда вспомнил Сетона-Томпсона: как индейцы добывают огонь трением. Попробовал сам - не вышло. А у других хорошо получалось, особенно у блатных: большой опыт, "тюрьма дом родной".

Но на Лубянке мои сокамерники этого способа еще не знали и придумали такой выход: надергали из матрасов ваты, сплели длинную косу и подожгли от цыгарки, едва надзиратель ушел со своим огнивом. (Или у него зажигалка была? Не помню.) Косу записнули глубоко под койку, стоящую у стены и два дня пользовались этим вечным огнем. А на третий день, когда всех нас вывели на прогулку, вертухай учуял запах гари и без труда обнаружил его источник. Камеру оштрафовали: на две недели оставили без книг.

На Малой Лубянке библиотека была бедная и в книгах не хватало страниц. (А в Бутырках, где камеры были перенаселены, от некоторых книжек оставались вообще одни переплеты.) Вот в "гостинице", на Большой Лубянке, библиотека была хороша - видимо, за счет книг, конфискованных при арестах. Там был и Достоевский, и давно забытый Мордовцев, и академические издания - даже книги на иностранных языках были. Помню, я с удивлением обнаружил в романе американского автора-коммуниста

напечатанные полностью т.н. "four-letter words" - матерные слова: cock, fuck, cunt и т.п. Даже "cocksucker". Это в тридцатых-то годах!..

Хорошие книги или плохие - но без них было худо. Конечно, лишение книг - самое легкое из наказаний. Могли ведь лишить прогулки или, не дай бог, передач. А то и в карцер отправить всех.

Я, например, первый раз попал в карцер из-за ерунды: рисовал обмылком на крашеной масляной краской стене профиль своей Нинки, чтобы сокамерники убедились, какая она красивая. Но первым увидел это вертухай. Влетел в камеру и взял меня с поличным. Напрасно я объяснял, что это ведь не мел, не уголь, а мыло - стена только чище будет. Дали трое суток. Думаю, что нарочно придрались к пустяшному поводу - по поручению следователя.



*Портрет мылом на стене*

Отбыв срок, я вернулся в камеру и обнаружил, что остаток буханки, полученной в передаче, насквозь проплесневел, стал бело-зеленым. Подумаешь!.. Накрошил в горячую воду и слопал безо всяких последствий. С голодухи даже показалось, что вкусно: вроде грибного супа.

Голод - лучший помощник следователя, очень мощное средство давления на психику подсудимого. На Лубянке этим средством широко пользовались. С одной стороны, можно лишить передачи. А с другой - можно поощрить сосиской или бутербродом в кабинете следователя. Это

за особые заслуги, например, за донос на сокамерников.

Наседки, ясное дело, были в каждой камере. Малопоświęщенная публика считает, будто в камеры подсаживали переодетых чекистов. Ничего подобного!

Завербовать голодного арестанта было легче легкого. В нашей камере наседкой был самый симпатичный из моих соседей - инженер Калашников. Да он и не особенно таился. Приходит с очередного допроса, грустно говорит:

- Сегодня еще одного заложил. А что? Я человек слабовольный.

Закладывал он не нас, а своих знакомых по воле; в камере у него была другая функция. В конце концов, что он мог узнать от меня такого, о чем я уже не рассказал на следствии? Зато мог постепенно, капая на мозги, внушать мне мысль о том, что упираться бесполезно, надо подписывать все, что насочиняет следователь: раз уж попал сюда, на волю не выйдешь. А лагерь это не тюрьма, там свежий воздух, трава, ходишь по зоне совершенно свободно.

- Ты погляди, - говорил Иван Федорович и приспускал штаны. - Я тут, считай, два года припухаю. Дошел! У меня уже и жопы не осталось.

Это была правда - так же, как и рассуждения о сравнительных достоинствах тюрьмы и лагеря, а также о том, что если посадили, то уж не выпустят. (Впрочем, как выяснилось, тем, кто проявлял характер и не все подписывал, срока иной раз давали поменьше; в нашем деле - Левину и Когану).

О своем собственном деле Калашников рассказывал так. На автозаводе Сталина вместе с ним работал его приятель, тоже инженер; человек, как я понял, яростного темперамента, прямой и резкий. Когда в 41-м началась эвакуация завода, приятель этот громко возмущался поведением администрации:

- Смотри, Иван. На дворе ящики с оборудованием - не могут увезти! А своих баб с ребятишками на Урал отправили. Руководители, эти их мать. Таких руководителей стрелять надо!

- Точно, - соглашался Иван Федорович. - Стрелять!

На другой день выяснилось, что дверь парткома закрыта и запечатана, а сам секретарь эвакуировался на Урал

- Драпанул. А на завод - насрать! - с презрением констатировал правдолюбец. - Это коммунист, называется... Взять бы автомат и таких, блядь, коммунистов всех до одного!..

- Точно, - подтверждал Калашников. - Из автомата!

На обоих настучали, обоих арестовали. Обвинение было такое: собирались



*Это - доктор С. М. Фрид. Такие фотографии хранились в тридцатые годы во многих семьях. Стыдно зато, но из песни слова не выкинешь. Рядом с моим отцом был на этом снимке кто-то из его коллег - такой, помню, с интеллигентной бородкой. Коллегу арестовали, а отец, "страха ради иудейска", оторвал его и выбросил.*

дождаться прихода немцев, поступить на службу в гестапо и расстреливать коммунистов и ответственных работников. Иван Федорович некоторое время поупирался, потом все подписал.

- Говорю же: я человек слабохарактерный!..

Однажды он вернулся с допроса смущенный; ходил по камере, хмыкал, посмеивался. Рассказал: на допросе присутствовала баба-прокурор. Молодая еще, непривычная. Она прочитала его признания и попросила:

- Калашников, объясните. Ну, хотели дождаться немцев... Это мерзость, но допустим, у вас были какие-то причины. Но

почему в гестапо? Вы же хороший инженер, я читала характеристику. Неужели у немцев не нашлось бы для вас другой работы? Кроме гестапо?

Иван Федорович хотел было сказать наивной прокурорше, что все это липа, что не собирался он у немцев оставаться, это его следователь сочинил. Но потом подумал: опять все сначала? Опять карцер, опять материть будут, опять без передачи?.. И сказал:

- Не, я в гестапо.

О Калашникове я вспоминаю безо всякой обиды, а только с жалостью. А вот с Марком Коганом ("подпольная кличка Моня") сидел провокатор совсем другого типа, обрусевший мадьяр по фамилии Фаркаш. Этот старался навести разговор на политические темы, выпрашивал у Моньки, удалось ли ему утаить что-нибудь от следователей. И Марк - будущий юрист! - сам устроил маленькую провокацию. Рассказал наседке, что в ожидании ареста спрятал две антисоветские книжки в настенных часах у себя дома; во время обыска их не нашли.

На следующем же допросе следователь завел разговор об антисоветской литературе. Моня стоял на своем: никакой такой литературы не имел (что было истинной правдой). И тогда следователь заорал - с торжеством:

- А если мы тебе, блядь Коган, покажем книжечки, которые ты в часах спрятал?

- Это вам Фаркаш рассказал? Но, понимаете, нету у нас дома настенных часов...

Когда он вернулся с допроса, Фаркаша на месте уже не было: срочно перевели в другую камеру - к Юлику Дунскому.

Наседок вообще часто переселяли из камеры в камеру, чтобы расширить фронт работы. К Когану посадили другого, инженера Бориса Николаевича Аленцева. Этот очень смешно сам себя расшифровал, когда я с ним встретился уже в пересильной тюрьме на Красной Пресне, откуда уходили этапы в лагерь.

Аленцев и там занялся полезной деятельностью: предложил - просто, чтоб коротать вечера! - устроить в камере нечто вроде дискуссионного клуба. Там по очереди можно было бы выступать с сообщениями на тему, скажем, "мои политические

взгляды". Это предложение не прошло.

Ко мне он липнул потому, что, по его словам, много слышал на Лубянке про наше дело. Я спросил, не сидел ли он с кем-нибудь из наших ребят; Аленцев ответил, что к сожалению, нет. "Лжецу - цитирует кого-то Джек Лондон - надо иметь хорошую память". Провокатору тоже: недели через две, в разговоре с Аленцевым я упомянул о том, что Коган очень хорошо читает стихи и прозу - в школьные годы получал призы на районных конкурсах.

- Коган?! - возмутился Аленцев. - Ну что вы! Он читает театрально, с ложным пафосом. Вот Юра Михайлов - тот читает действительно хорошо.

Спорить я не стал, но про себя отметил: наврал ведь, что ни с кем из моих однодельцев не сидел! Сидел по крайней мере с двумя. Понятно: человек опасный.

Когда 10 лет спустя (опять этот Дюма!) мы с Аленцевым встретились снова - в Инте, на вечном поселении - всех знакомых предупредили: Аленцев стукач! Думаю, он об этом узнал и, выждав время, отомстил по-своему: написал в местную газетку разгромную рецензию на наш с Юлием фильм "Жили-были старик со старухой" (натурные съемки проводились в Инте). Из этого явствует - так же, как из его оценки исполнительского дарования Когана и Михайлова - что художественное чутье у Аленцева было. Правда, наш фильм он ругал не за антихудожественность, а за то, что в нем опорочена советская действительность. Даже возмущался: и такую плохую картину повезут в Канны, на фестиваль?..\*)

Но вернемся в 1944 год, на Лубянку. Возможно, кому-то покажется странным и нелепым, что в тюрьме, да еще в мучительный период следствия, в камерах читали друг другу стихи, вели разговоры об искусстве. Но, господа, нельзя же было думать и говорить только о том, что нас ждет! Так и с ума сойти недолго... Вспоминали веселые истории; даже в тюремной жизни отыскивали смешное.

Так, из камеры в камеру путешествовала байка об осрамившемся немецком парашютисте. Собственно, он был не немец, а русский - попал в плен, пошел к немцам на службу и, окончив разведшколу, сброшен был с парашютом под Москвой. Немецкие учителя во всех подробностях расписывали,

каким пыткам будут подвергать его на Лубянке, если арестуют - лучше живым не попадаться! А он попался, нарушил инструкцию. (Не в первый раз: ведь и к немцам в плен тоже не велено было сдаваться живым). Парень был молодой, впечатлительный и трусоватый. Попав на Лубянку, он с первой минуты стал ждать обещанных мучений.

Постригли наголо, повели в какую-то комнатенку и приказали положить обе руки на высокую тумбочку. Понятно - будут иголки загонять под ногти... Но ему только намазали кончики пальцев черной краской и сняли отпечатки. Это называлось "сыграть на рояле" (вариант: "сыграть на комод"). У парня отлегло от сердца. Но сразу же его повели в соседнюю комнату, где стояло кресло, обитое какими-то полосками жести, с железными подлокотниками. И кругом - провода, множество проводов. Электрический стул, ясное дело! Парашютист сел на краешек кресла, стараясь не коснуться железа ягодицами и затылком. Но чекист в синем халате - палач, надо полагать, - грубо ткнул его ладонью в лоб, прижав затылок к подголовнику, с треском вспыхнул нестерпимо яркий свет - и парень со страху обкакался: медвежья болезнь. Сфотографировав его в профиль и анфас и не дав сменить портки, надзиратели повели его в общую камеру - откуда эта история пошла гулять по тюрьме... Тоже развлечение.

Развлекались мы и таким способом: когда в камеру приводили новичка, растерянного и напуганного, старожилы приступали к допросу. Если это был колхозник, его спрашивали строгим следовательским голосом:

- Говорил, что в царское время коза давала больше молока, чем колхозная корова?

А городскому интеллигенту вопрос задавался другой:

- Значит, утверждали, что якобы в Верховном Совете одни пешки?

Новенькие жалобно улыбались в ответ, не понимали: откуда мы знаем? А чего тут не понять: ведь все без исключения дела по ст.58, п.10 были похожи как однойцовые близнецы.

В начале 44-го года десятый пункт был самым ходовым на Лубянке. "Изменники

родины" только-только начинали поступать к нам - из немецкого плена (58.1б) и с оккупированной территории (58.1а). Обгадившийся парашютист был первым, вторым - бургомистр Сталиногорска. Тоже по-своему анекдотическая - вернее, трагикомическая - фигура.

До войны он в своем Сталиногорске заведовал сберкассой. Потом его разжаловали в рядовые, т.е. в контролеры, а на его место прислали "партийного". Этого он простить советской власти не мог. Жена разделяла его обиду, и когда город заняли немцы, посоветовала:

- Иди к ним, проси должность.

- Может, погодить, осмотреться?

- Пока будешь годить, все хорошие места разберут.

И он пошел, рассказал свою историю, и его назначили бургомистром. Но царствовать ему пришлось недолго: через несколько дней фашистов выбили из Сталиногорска, а бургомистра препроводили на Лубянку.

- Раз в жизни послушался бабы - и вот, на тебе! - сокрушался он.

Особого сочувствия его история у нас не вызвала: быстрая вошка первая на ноготь попадает, сказал Калашников. А с другой стороны, я верю, что никаких злодейств за ним не числилось; верю и его рассказу о том, как он мирил поцапавшихся из-за ерунды соседок, которые - порознь, конечно - пришли к нему с доносом друг на дружку: у одной был зять еврей, у другой муж политрук, на фронте.

И внешне он мне нравился - смуглый, красивый, в волосах седина. Думаю, что уже там, в первой из моих тюрем, рождалась та специфическая лагерная терпимость, без которой лопухому московскому пареньку трудно было бы прожить десять лет среди людей из совсем другого мира - бандеровцев, литовских "бандитов" - т.е. партизан-националистов, власовцев... Со временем я понял, что разница между нами не так уж велика; а главное, нас объединяло в зекское братство сознание незаслуженности свалившейся на всех беды - неволи.

Как-то раз, уже в Минлаге, на Инте, я подсмотрел прямо-таки символическую картинку. Разговаривали два зека. На одном была красноармейская гимнастерка с темной невыцветшей полоской на месте

орденской планки, на другом - серозеленый немецкий китель. У обоих отсутствовала ампутированная правая рука, и, сидя рядышком на нарах, они обменивались своими ощущениями:

- Ты ее как чувствуешь? Она как будто есть, но скрюченная?

- Да, да, - кивал немец.

- И мурашки по ней, будто локтем стукнулся. Вроде как ток электрический.

Немец радостно подтверждал:

- Да, да!

И никому из них не приходило в голову, что, может, это его пуля искалечила другого. Общее несчастье - увечье и лагерь - подружило их.

Тюремные будни - а в тюрьме праздников нет, если не считать праздником день, когда не вызывали на допрос - монотонны и тоскливы. Для людей со слабой психикой просто непереносимы: случалось, такие сходили с ума. В нашей камере этого не было, а вот в соседней кто-то повредился в уме и все время выкрикивал одну и ту же фразу:

- Все попы работники кровавого энкеведэ!

Крик этот разносился по всему этажу. Слышно было, как бегут по коридору надзиратели; с грохотом и лязгом открывалась дверь, доносились уговаривающие голоса, какая-то возня - и на некоторое время вопли прекращались. А потом опять раздавалось:

- Все попы! Все попы работники кровавого энкеведэ!..

Думаю, всем тогдашним постояльцам Малой Лубянки запомнился этот жуткий надрывный крик. Так же, как и надписи, выцарапанные на стенах уборной, боксов и карцера. Одна, повторявшаяся чаще других, прямо-таки кричала: "Не верь им, Ивка! Ивка, не верь им!"

Вертухаи соскребали и затирали эти тюремные граффити, но назавтра надпись возникала снова:

- Не верь им, Ивка!

Не знаю, кого звали Ивка. Может быть, какого-то Ивана? Но мне почему-то представлялось, что это ласковое прозвище девушки. Ее посадили из-за возлюбленного - как Нинку из-за меня - и теперь он сигналит ей:

- Ивка моя, не верь следователям! Они

врут! Я ничего не говорил!

Кто-то из своих увидит, передаст...

А одна из надписей адресовалась не знаю кому и от кого: "Doctor Victor from Iran".

Каждое утро мы отправлялись "на opravku" - в уборную и умывалку. Впереди шествовали двое, неся за ручки трехведерную "парашу" - бачок, заменявший в камере писсуар.\*\*) Остальные гуськом шли за ними, внимательно оглядывая стены в надежде встретить знакомое имя. Все мы при первой возможности ухитрялись выцарапать на штукатурке свою фамилию, статью и пункты: ведь ничего не знали - кто остался на воле, кого посадили, в чем обвиняют. Хорошо, если кто-то, переведенный из другой камеры, встречался с твоими однодельцами - уже какая-то ясность...

Но еще лучше, если новенького привозили прямо с воли. Он рассказывал, что нового в мире - а главное, на фронтах: ведь до конца войны было еще далеко. Газет нам не давали, радио у себя в кабинете следователь выключал со злорадной ухмылкой, как только начинались последние известия - тем дороже была всякая просочившаяся в тюрьму информация.

Если в передаче (не в радиопередаче, а в съедобной, из дому) обнаруживалось что-то, завернутое в газету, ведавший передачами вертухай по кличке Перебейнос обязан был печатный текст изъять. Но как-то раз в передаче оказался кулечек с солью - крупной влажной солью военного времени. Клочок газеты, из которого свернут был кулек, изодрался, промок, пожелтел; Перебейнос побрезговал возиться, отдал так. В камере, высыпав соль, мы осторожно разгладили крохотный обрывочек и прочитали, что "...цы послали в подарок командующему фронтом... грамьяну бутылку с балтийской во..." Так! Понятно! Наши уже в Латвии или в Литве! Заполнить пропуски нам было куда легче, чем детям капитана Гранта: "бойцы... Баграмьяну... водой".

В другой раз, во время допроса, я увидел на столе у следователя газету. В те дни сообщения о взятых нами городах печатались крупным шрифтом в верхнем левом углу первой страницы, где название газеты. Но эта лежала далеко, я даже в очках не мог прочитать, какой именно город взяли. Видел только, что название его повторялось

дважды, второй раз в скобках, и что заглавная буква была одна и та же. Я поднапряг мозги и вычислил: Печенга (Петсамо)! Так оно и оказалось.

Любопытно было бы заглянуть в подшивку за сорок четвертый год и определить дату. Про бутылку с балтийской водой для Баграмяна мы прочли, по-моему, еще в "гимназии", а про Печенгу-Петсамо я, придя с допроса, рассказал сокамерникам уже в "гостинице".

Туда, на Большую Лубянку, нас - участников сулимовского дела - перевели в конце лета. Почему нами занялась следственная часть по Особо Важным Дела - понятия не имею. Могу только строить догадки: из-за громких имен Бубнова-Сулимов? Начальство велело хорошенько разобрататься?

А собственно, чего там было разбираться? И областные следователи, и "особо важные" прекрасно понимали, чего стоит наше дело - как и десятки других, таких же липовых. Нужно было только подогнать решение задачи к заранее известному ответу.

И в приемах следствия ничего не изменилось: так же для начала меня сунули в одиночку, так же, за ерундовую провинность, сажали в карцер, так же материли на допросах - правда, не очень умело и с еврейским акцентом.

В одиночке на этот раз я просидел целый месяц. Она была покомфортабельней: просторная, паркетный пол, никелированная параша, окно - зарешеченное, конечно, и снабженное "намордником". (Чтоб мы не увидели, что делается на дворе, окна камер снаружи прикрывались косым ящиком; свет проникает сверху, кроме неба ничего не видно. Если верить тюремной легенде, изобрел "намордники" какой-то зек, за что был отпущен на свободу).

Имелось у моей, 119-й одиночной камеры, и серьезное неудобство: в ней было нестерпимо жарко, особенно летом. При определенном настрое можно было бы счесть, что это - пыточная камера. Но я предпочитаю более реалистическое объяснение: за тонкой стеной проходил дымоход тюремной кухни. Правда, легче от этого не было. Я не мог спать - чуть не до обмороков доходило. Однажды дежурный офицер даже нарушил правила и приоткрыл

окно, чтоб можно было дышать.

На допросы меня вызывали не так уж часто. Целыми днями я шагал из угла в угол по начищенному паркету, вспоминал стихи, разговаривал сам с собой. Слава богу, пришел библиотекарь и предложил заказать книгу - да, такой там был сервис! Кстати - все в этой "гостинице", за исключением следователей, разговаривали с постояльцами на вы и каким-то испуганно вежливым тоном...

Книга полагалась одна на две недели, если не изменяет память. Я старался заказать что-нибудь потолще - и все равно не мог растянуть процесс чтения больше чем на день-два. Как я обсасывал "Дон Кихота" в академическом издании! Дважды прочитал оба тома, изучил комментарии - в школьные годы не учил ничего так старательно. А стихотворные посвящения на испанском запоминал наизусть и декламировал вслух. (Сейчас все забыл, кроме одного слова - "corazon", сердце).

И вот настал день, когда меня вызвали с вещами, повезли на лифте вниз до второго этажа и впустили в общую камеру. Туда же внесли для меня и железную кровать со всеми постельными принадлежностями.

В камере этой (N 28) уже стояло пять кроватей. Пять пар глаз смотрели на меня с доброжелательным любопытством. Я представился:

- Валерий Фрид, пятьдесят восемь десять, одиннадцать и восемь через семнадцатью.

- Под Спасскую башню с кривым ножиком ходил? - спросил басом самый старший из моих новых соседей. - Студент?

- Да. Во ВГИКе учился.

- Федьку Богородского знаете?

Профессора Федора Богородского я не то чтобы знал, но видел в институте: он преподавал нашим художникам живопись.

Спрашивавший тоже был художником, по фамилии Ражин. Его вскоре перевели от нас и об его деле я знаю только, что какое-то время Ражин был "номерным арестантом", т.е. не имел права никому называть свою фамилию, и успел побывать в "монастыре" - Сухановской тюрьме особого режима, которой каждого из нас пугали следователи: "Упираешься? В Сухановку захотел?" По слухам, там, в сырых и холодных камерах, койки на день примыкались к стене, сидеть

можно было только на цементной круглой тумбе, намертво вделанной в пол. Говорили о строгих карцерах, об отсутствии передач, прогулок и книг, о побоях. Сам там не сидел, за точность информации не ручаюсь...

Вторым соседом был молодой инженер из Подмоскovie Фейгин. Его арестовали в день, когда на квартире у него собрались сослуживцы отпраздновать награждение Фейгина орденом "Знак Почета".

Пришли за ним в разгар вечеринки, пригласили с собой. Жену, пытавшуюся робко протестовать - "У нас гости!" - заверили:

- Да вы не беспокойтесь, он скоро вернется!

Вернулся Фейгин довольно скоро; думаю, лет через пять, не позднее: статья у него была детская, 58-10, болтовня. Меня он успел научить еврейской песенке, которую ни от кого больше я не слышал. В отличие от испанских стихов, песенку помню и сейчас. Голос крови? Вот она; если что не так - простите.

А сукеле, а клейне  
Мит брэйтелех гемейне,  
Хоб их мир мит цорес гемахт.  
Их хоб бадект дем дах  
Митн гринэм ссах,  
Хоб их мир базесн ба дер нахт.  
Ди винтн, ди калтэ,  
Зэй блозн ин шпалтн  
Ун верт эс ин сукеле шойн кил...  
Их хоб гемахт мир кидеш  
Ун их хоб гезен а хидеш -  
Ви дос файерл брент руик ун штил.

Идиш я не знал и не знаю, а текст заучил как попугай; это было нетрудно из-за сходства с немецким - которого я тоже не знаю, но хоть учил в школе.\*\*\*)

Третьим в камере был Арсик Монахов, совсем пацан - года на три моложе меня. Он был участником "Союза четырех" - детской игры, которую он и трое его школьных друзей затеяли в восьмом или девятом классе. Из старой шляпы они сделали себе фетровые погончики и стали - все! - лейтенантами. Был у них и рукописный устав. В школьную тетрадку записали обязательство быть честными, справедливыми, помогать товарищам и т.д. Этот документ их и погубил: неважно было, какие цели ставила перед собой эта, как мы сказали бы сейчас, "неформальная

организация". Главное - она была самостоятельная, созданная по собственной инициативе, а не по распоряжению свыше. (Встретил же я в лагере Аллу Рейф, участницу антисоветской группы "Юные ленинцы").

Пацаны подросли, уже и думать забыли про "Союз четырех", но соседка нашла тетрадь, снесла куда следует - и ребят забрали. Кого-то из них не поленились привезти чуть ли не с фронта.

Арсика - теперь уже Арсена Монахова - несколько лет назад я встретил в Москве: он подошел к нам с Юликом на премьерке какого-то нашего фильма. Он успел отсидеть, получить образование и даже стать членом партии - на этот раз легальной, коммунистической. А чуть погодя объявился и его одноделец, главный из "лейтенантов" Вадим Гусев. Он теперь актер, режиссер и автор нескольких пьес. Оказалось, что мы с ним несколько лет прожили рядышком - в одном лагере, Минлаге, но на разных лагпунктах. И не встретились...

*Двое из "Союза четырех": Арсен Монахов и Вадим Гусев /после отсидки/*



Четвертым в 28-й камере был Володя Матвеев, ровесник Арсика. Вот он, в отличие от Арсена, за собой вину чувствовал.

Вместе с двумя или тремя приятелями Володя поступил на факультет международных отношений МГУ. Советская действительность ребятам не нравилась и они надеялись, что после учебы их пошлют на дипломатическую работу за границу, а там они сбегут. Выбрали нарочно не модное английское, а испанское отделение: больше шансов попасть за рубеж. Мексика, страны Центральной и Южной Америки - вон сколько возможностей!

Еще больше шансов было попасть на Лубянку - стоило только кому-то проболтаться. Так оно и случилось.

С Володей я с тех пор не встречался, но в пересыльной тюрьме на Красной Пресне познакомился с его однодельцем Сашей Стотиком. Знаю, что оба, отбыв срок, вернулись в Москву - со Стотиком я раза два говорил по телефону. А увидеться не довелось. Не так давно, сказали мне, он умер.

Вряд ли надо объяснять, что эти четверо моих сокамерников рассказали мне все о себе не сразу, не в первые минуты знакомства. Тогда они только называли себя и сказали, кто чем занимался на воле. А пятый - черноглазый, с густыми черными бровями - вообще молчал и застенчиво улыбался.

- А вы где работали? - поинтересовался я.

- В посольстве.

По твердому "л" и черноглазости я определил, что он армянин и плохо разбирается в тонкостях русского языка: работал в армянском представительстве, а называет его посольством. На всякий случай я решил уточнить:

- В каком посольстве?

- Американском.

Я ужасно обрадовался:

- Так вы, наверно, знаете английский?!

- Я родился в Ну-Йойке, - сказал он с тем акцентом, с каким разговаривают нью-йоркские персонажи Вудхауза; "Псмит-журналист" я читал еще до войны. Армянин оказался американским финном Олави Окконеном.

Его история не то чтобы типична, но характерна для 30-х годов.



*Олави*

*Окконен --*

*тогда.*

Когда мы начали первую пятилетку, обнаружилась катастрофическая нехватка квалифицированной рабочей силы. А в Соединенных Штатах ее был переизбыток: кризис, депрессия, массовая безработица. И советские вербовщики сумели перевезти в Союз сотни рабочих семей, в большинстве американских финнов: эти ехали почти что на историческую родину.

Окконен-отец был плотником высокого класса, сам Олави, тогда еще мальчишка, собирался стать электриком или шофером. Привезли их в Карелию, в Петрозаводск - Петроское, как называли его финны.

Кое-что им сразу не понравилось. Олави рассказывал, например, что в первый же день мать увидела возчика в замусоленных ватных штанах, восседающего на буханках, которые он вез в булочную. Эта картина произвела на чистоплотную финку такое сильное впечатление, что она до конца дней своих срезала с хлеба верхнюю корку - так, на всякий случай.

Но вообще-то завербованным американцам жилось у нас совсем неплохо. В стране была карточная система, а их обеспечивал всем необходимым "Инснаб"; жалование платили долларами. Однако спустя немного времени советская власть решила, что это ей не по карману, тем более что на стройках пятилетки появились и свои более или менее квалифицированные рабочие.

Иностранцам предложили выбор: или принять советское подданство и получать зарплату, как все, в рублях, или отправляться по домам. Некоторые уехали, но многие остались: обжились, привыкли, да и страшновато было возвращаться, вдруг

опять кризис и безработица. Осталась и семья Олави. Мать была замечательная повариха; знакомые устроили ее на работу в финское посольство. А когда в 39-м началась финская война и посольство из Москвы отозвали, все семейство по рекомендации финских дипломатов взяли к себе американцы. Мать работала поваром, отец дворником, а Олави шофером - возил морского атташе. Возил не очень долго: арестовали по обвинению в шпионаже, а заодно забрали и отца. Очень славный был старик; мы познакомились через десять лет в Инте, куда он приехал навестить сына - тот, как и я, после лагеря остался на вечном поселении.

В Инте Олави женился на русской - точнее, белорусской - женщине и теперь живет со своей Лидой в Бресте (нашем, не французском). А его довоенная финская жена, пока он сидел, вышла за другого.



*Олави Окконен со своей русской женой  
Лидой (теперь).*

Недавно Олави съездил по приглашению родственников в Финляндию, а по дороге переночевал у меня. Седой, благообразный, с черными по-прежнему бровями, он стал похож на сенатора из американского фильма. А тогда, на Лубянке, ему было лет двадцать семь. Для меня он оказался просто находкой: по-английски я читал, но совершенно не умел говорить.

Сейчас трудно поверить, но в юности я был застенчив, робел и никак не мог перешагнуть "звуковой барьер". (Здесь на минуту отвлекусь. Во ВГИКе у меня была репутация знатока английского языка, потому что я брался переводить трофейные фильмы. Но и теперь-то я с трудом разбираю английскую речь с экрана; а тогда или

фантазировал - все-таки будущий сценарист! - или спасался тем, что читал польские субтитры. Иногда, правда, случался конфуз. "Пан Престон, ваша цурка...", начинал я и спохватывался: "Мистер Престон, ваша дочь...").

Олави по-русски говорил неважно и обрадовался возможности перейти на родной язык. Его английский, надо сказать, застыл на уровне третьего-четвертого класса: из Америки его увезли ребенком. Но это было как раз то, что нужно. С ним я не стеснялся говорить, мы болтали целыми днями; теперь, когда иностранцы уважительно спрашивают, где я учил язык, я с удовольствием отвечаю: на Лубянке.

Разговаривали мы обо всем на свете: о фильмах, о джазе Цфасмана, о еде, о женщинах (опыт у обоих был минимальный), о его работе в посольстве. Между прочим, он предсказал, что актрису Зою Федорову, скорей всего, тоже посадят: по словам Олави, она вместе со своей сестрой часто гостила у американцев. Я, конечно, никак не мог предположить тогда, что через много лет познакомлюсь с Викторией, полуамериканской дочерью актрисы, а сама Зоя Алексеевна, выйдя на свободу, сыграет маленькую роль в фильме по сценарию Дунского и Фрида.

С Олави Окконеном мы прожили душа в душу месяцев пять; при прощании он, помоему, даже протрезлелся. На девятом году сидки мы встретились снова, в Минлаге.\*\*\*\*)

Если не считать паркетного пола и уроков английского языка, жизнь в 28-й камере мало отличалась от той, что мы вели на Малой Лубянке. Так же водили на opravку - впереди, как знаменосцы, самые молодые с парашей; так же вздрагивали двое, услышав "На фэ!" - теперь уже я и Фейгин; так же с грохотом открывалась среди ночи дверь и голос вертухая - или вертухайки, второй этаж считался женским - требовал: "Руки из-под одеяла!" То ли самоубийства боялись, то ли рукоблудия - не могу сказать... Так же разыгрывали новеньких.

Особенно благодарным объектом оказался пожилой инженер Чернышов, на удивление наивный и легковерный. В камеру он вошел, неся в обеих руках по кружке с какой-то едой, захваченной из дому: ни жестяные, ни стеклянные банки в камеру не допускались - разобьют и осколком перережут вены! (По этой же причине на

Лубянке отбирались очки. Идете на допрос - пожалуйста, получите, а в камеру - ни-ни...). Остановившись у двери, Чернышов с ужасом глядел на наши стриженные головы и небритые лица - каторжане! (Брили, вернее, стригли бороды нам не чаще двух раз в неделю; приходил парикмахер с машинкой и стриг под ноль - ни "эр", ни "агиделей" в те дни еще не было. А с опасной бритвой в камеру нельзя).

Нюнький закурился на месте, не зная, куда пристроить свое имущество. На стол? Вдруг обидятся и обидят? Наконец нашел место: поставил еду на крышку параша. "Ну, с этим не соскучишься", решила камера. Переставили его кружки на стол - и зажили вполне дружно.

А развлекались так - не скажу, чтобы очень по-умному:

- Аркадий Степанович, - задумчиво говорил Арсен Монахов. - Вы не знаете, как совокупаются ежи?

- В каком смысле, Арсик? Наверно, как все.

- Но они ведь колючие.

- Да, действительно... Нет, тогда не знаю.

Арсик умолкал. Потом начинал сначала:

- Аркадий Степанович, вы просто не хотите мне сказать! Вы инженер, вы должны знать.

- Честное слово, не знаю.

- Не может быть. Вы взрослый, у вас жизненный опыт... - И так далее, пока не надоедало.

Однажды, получив передачку, старик спросил нас, почему на американских банках со сгущенным молоком "Dove milk" изображена птица. Олави объяснил: dove - это значит голубка. А злой мальчик Арсен обрадовался новой теме:

- У них сгущенное молоко не коровье, а птичье, - объявил он.

Чернышов удивился:

- Как так?

- А очень просто. У них все продукты суррогатные. Яичный порошок, например - он ведь из черепаших яиц.

(Такая легенда ходила в те годы по Москве). Инженер обводил нас глазами: правда? Или розыгрыш? Мы подключились к игре, подтвердили: да, некоторые породы голубей выделяют жидкость, похожую на молоко. Это ценный, редкий продукт, потому и говорится: только птичьего молока не

хватает.

Чернышов, простая душа, и верил и не верил. Тогда я попросил библиотекаря принести нам Брэма, том "Птицы". И когда заказ был выполнен, открыл книгу на разделе "Голуби" и прочитал вслух: "Еще в древнем Египте было замечено удивительное свойство этих птиц: выделять из зоба жидкость, вкусом напоминающую молоко".

- Не может быть, - неуверенно сказал старик. Арсик сунул ему под нос Брэма, который, разумеется, ничего такого не писал. Расчет был на то, что инженер без очков не сумеет прочесть мелкий шрифт: мы знали, что у него сильная дальность зрения. И действительно, он смог только разглядеть картинку: голуби сизые, голуби белые, голуби с хвостами как у индюков. А я снова "прочитал":

- Еще в древнем Египте было замечено удивительное свойство...

- Поразительно, - сказал старик. - Вот уж, поистине, век живи - век учишь!

Нашу дискуссию подслушала старушка-надзирательница. Выяснилось это так: на следующем дежурстве она принесла нам тупые с закругленными концами ножницы - стричь ногти - и сказала, хихикнув:

- Стригите. А то станете голубей доить, вымя поцарапаете.

Подслушивать разговоры в камерах - это вертухаям вменялось в обязанность, а разговаривать с нами строго воспрещалось. Но ведь они тоже были люди, тоже томились тюремной скукой.

Другая надзирательница - рослая красивая девка с лычками младшего сержанта на голубом погоне - даже любила с нами поболтать. Пользуясь тем, что 28-ю камеру от центрального поста не видно - она в боковом отсеке, за поворотом - надзирательница открывала дверь, и мы беседовали о жизни. Это от нее я услышал формулу, которую вложил впоследствии в уста лагерному "куму" (в фильме "Затерянный в Сибири"):

- А чем я лучше вас живу? Всю жизнь в тюрьме. У вас срока, а я бессрочно...

Разговаривая, деваха одним глазом поглядывала, не идет ли кто по коридору. Как только из-за угла показывалась фигура другого вертухая или офицера, наша собеседница строго говорила в камеру: "Петь не положено!" или "Пол подметите!" -

и с грохотом закрывала дверь.

На вопросы, что там на воле происходит, она не отвечала: наверно, побаивалась, что кто-нибудь из нас ее заложит. Спрашивала, кто мы, за что сидим. О себе рассказала, что комсомолка, что живет за городом. В надзиратели пошла по совету родственника, служившего на Лубянке - а теперь и сама не рада. Она жалела нас, а мы ее. Интересно бы узнать, что с ней стало? Совсем молодая была, моложе меня. Вспоминаю о ней с симпатией...

В один прекрасный день в камере появился Дмитрий Иванович Пантюков. Пришел он не с воли и не из другой камеры, а из лагеря. На допросе, как он объяснил. Впервые мы увидели лагерную одежду - темносерые штаны х/б и такую же куртку. Из лагеря привез он и чудовищный аппетит: свою утреннюю пайку он не делил, как мы, на две-три части, а целиком съедал за завтраком, т.е. с кружкой кипятка и двумя кусочками сахара. И все равно оставался голодным.

Пантюков рассказал, что сидит за участие в настоящей антисоветской организации - партии "Народная воля". Он произносил страстные антисталинские речи и даже пытался - без успеха - агитировать симпатичную надзирательницу, о которой я рассказал.

Физически Дмитрий Иванович был очень силен - невысокий, плотный, в прошлом - боксер-разрядник. Каждое утро в камере он делал силовую зарядку, и под его напором самые молодые, Володя Матвеев и я, тоже занялись физкультурой: до изнеможения отжимались от пола; научились делать преднос, опираясь на спинки кроватей; давали своему энтузиасту-инструктору ломать нам шею сцепленными на затылке руками. Боксерское упражнение, говорил он; очень укрепляет мышцы. Смех смехом, а никогда в жизни - ни до, ни после - я не чувствовал себя таким сильным, как в пору занятий с Пантюковым. Мог даже в душевой, подтянувшись на перекладине, сколько-то времени провисеть на одной руке. Для меня - рекорд.

А у Пантюкова личный рекорд был другой, не совсем спортивный. Он с гордостью доложил нам, что прошлым летом семь раз за одну ночь поимел свою возлюбленную - поставил рекорд в честь дня

авиации.

Заниматься спортом в камере было не положено. Если вертухай заставлял нас на месте преступления, приоткрывалась кормушка и следовал приказ - прекратить! Но в карцер не сажали, и мы, оставив кого-то одного возле волчка на шухере, продолжали накачивать мускулы. Честь и слава Пантюкову! Впрочем...

Когда кончилось следствие и меня вызвали "с вещами", Дмитрий Иванович подскочил ко мне и жарко зашептал:

- Если выйдешь на волю, зайди на улицу 25-го Октября (он назвал номер дома и квартиры), позвони, а когда откроют, скажи: "Зернов предатель". Запомнил? Только эти два слова: "Зернов предатель..." И уходи.

Даже тогда мне это конспиративное задание показалось странным: с чего это я выйду на волю? Ведь ясно же, что получу срок.

Не знаю, то ли Пантюков был просто псих, то ли насадка. Теперь, когда вспоминаю, мне кажется подозрительной и его упитанность, и романтическое название его партии - "Народная воля", и даже слишком чистая для лагерника одежда. Для подозрения есть серьезная причина: в 1951 году, на 3-м лаготделении Минлага, меня вызвали к куму - оперуполномоченному. В его кабинете сидел незнакомый майор в синей фуражке - явно эмгешник. Он задал мне несколько вопросов и составил протокол.

Вопросы были такие: знакомы ли мне имена участников молодежной антисоветской группы, существовавшей в городе Москве?

Ни одного из названных им имен я раньше не слышал, но лагерная, тренированная на такие случаи память, сохранила два: балерина из Большого театра Маргома Рождественская ("Маргома" - это, конечно, "Маргоша": машинистка приняла рукописное "ш" за "м") и Джемс Ахмеди.\*\*\*\*\*) Еще там фигурировал метрдотель ресторана "Бега" дядя Паша (или Вася, не помню точно). Кто-то из этих бедолаг упомянул на следствии, что знал о "деле Сулимова", назвал фамилии Сухова, Гуревича - отсюда и интерес эмгешника ко мне. Я честно ответил, что ни о ком из этих людей понятия не имею.

А следующий вопрос был: "Знакомы ли

вы с резидентом английской разведки Дмитрием Ивановичем Пантюковым?”

Я подумал: это вопрос контрольный, проверка на правдивость; если скажу, что не знаком, значит и раньше врал. Ответил я так:

- С Пантюковым Дмитрием - отчество не помню (помнил, но для правдоподобия сделал вид, что забыл) - я сидел в одной камере на Лубянке. О том, что он резидент английской разведки, мне ничего не известно. В политические разговоры я с ним не вступал, так как считал провокатором.

С тем меня майор и отпустил, задав на прощанье еще один вопрос: знаю ли я, где отбывают срок мои однодельцы?

Я решил рискнуть. Глядя на следователя ясными глазами, сказал: из письма матери я узнал, что Сухов умер - кажется, в Сухобезводной; а об остальных сведений не имею.

Этот ответ был также занесен в протокол, а я вернулся в барак к Юлику Дунскому и рассказал ему про допрос. Оба мы с удовольствием отметили, что не так уж всеведуще МГБ, если не знает даже, что по крайней мере двое из однодельцев уже два года здесь, в Инте, и спят рядышком на нарах...

Как я уже говорил, на Малой Лубянке заключенные гуляли во дворе. А на Большой - на крыше тюрьмы. Там была небольшая площадка, огороженная со всех сторон трехметровой железной стеной. Мы ходили по кругу, вспоминая каждый раз ван-гоговскую "Прогулку заключенных".

Однажды мы договорились по дороге с прогулки заглянуть в глазок соседней камеры: интересно же было, кто там сидит. Перестукиваться мы не отваживались: за этим вертухай следили очень строго.

И вот, пока надзиратель, водивший нас на прогулку, возился с замком на двери нашей камеры, Олави Окконен растопырил свое широкое американское пальто, заслонив меня, а я поглядел в волчок - и никого из знакомых там не увидел. Зато меня застучал за этим занятием вертухай, неожиданно вынырнувший из-за угла с подносом в руках - он разносил обед. То преимущество, что наша камера была на отшибе, за поворотом коридора, теперь обернулось неприятностью: меня опять посадили в карцер.

А перед этим зачем-то сводили к самому полковнику Миронову, начальнику тюрьмы. Поинтересовавшись, кто мои родители (отец профессор, мать лаборант), он уверенно поставил диагноз: был бы я из рабочей семьи, не занялся бы антисоветчиной. Суровым ликом полковник похож был на пожилого пролетария из историко-революционного фильма. Скорей всего это был тот самый Миронов, о котором я прочитал уже теперь в статье о процессах над врагами народа Бухариним и компанией. Он исполнял тогда обязанности судебного пристава или чего-то в этом роде: привозил врагов из тюрьмы и рассаживал на скамье подсудимых.

Карцер я перенес легко, боялся только, что переведут в другую камеру: привык к своим соседям, а к некоторым даже привязался.

К моему удовольствию, отсидев трое суток, я вернулся к своим - но застал там нового жильца, тихого грустного человечка лет сорока. Это был первый иностранец (Олави все-таки был советским гражданином), встреченный мной в тюрьме - чех по фамилии Стеглик. По-русски это будет "щегол", объяснил он мне.

Из оккупированной фашистами Чехословакии Стеглика отправили на оккупированную Украину. Он служил в немецкой администрации не то писарем, не то бухгалтером. За какую-то провинность - кажется, за антинемецкие высказывания - его посадили в тюрьму. Вскоре немцев из города выбили, а Стеглика вместо того чтобы освободить, перевезли в другую тюрьму - в Москву, к нам. На Лубянке он сидел уже два года и все пытался объяснить следствию, что никакого задания от немцев он не получал и не знает, почему фашисты оставили его в живых.

Передачу получать ему было не от кого, и он совершенно оголодал. Я уже упоминал о тюремных голодных психозах - так вот, классическим примером был Стеглик. Когда приносили дневную пайку, мы всегда уступали ему горбушку. Но он не ел ее за завтраком, обходясь пустым кипятком. А пайку препарировал особым способом: выщипывал мякиш и раскладывал крошки на носовом платке - для просушки. В обед он ел суп опять-таки без хлеба. (Кстати сказать, в лубянском супе иногда плавали обрезки

спаржи; я и понятия не имел, что это такое, спасибо, европеец Стеглик объяснил. Наверно, в общий котел сливали объедки с генеральской кухни).

На второе давали негустую кашу - чаще всего овсяную, иногда горох. С кашей Стеглик смешивал слегка подсушенные крошки и этой смесью начинал выдолбленную утром горбушку. Что не умещалось, позволял себе съесть, а остальное - на местном жаргоне это называлось "тюремный пирог" или "автобус" - откладывал до вечера. Мучился, терпел. И только после отбоя, уже из постели, он протягивал дрожащую от предвкушения худую ручку за своим пирогом и, укрывшись с головой одеялом, съедал его с наслаждением.

А однажды, придя с допроса, я увидел, что Стеглик, нахохлившись как его пернатый друг, сидит на краю кровати и губы его дрожат от обиды. Оказалось, что он ухитрился поймать голубя - тот по глупости залетел в узкое пространство между решеткой на окне и "намордником"; чех собирался свернуть ему шею и съесть сырым, но сокамерники возмутились и не позволили. Я их не одобрил: тоже мне, общество покровительства животным! Правильно говорится: сытый голодного не разумеет - они-то почти все получали из дому передачи.

А вообще камера относилась к чеху хорошо, его нелепой участи сочувствовали.

С Шуриком Гуревичем сидел другой иностранец, молодой солдат вермахта - сын немецкого коммуниста. При первой возможности он дезертировал из части и сдался партизанам. Те сообщили в Москву. Чекисты не поленились: прислали самолет и вывезли перебежчика на Большую Землю - точнее, на Большую Лубянку. От него, как и от Стеглика, требовалось одно: признаться, с каким заданием послали его к нам фашисты. Парень долго упирался, рассказывал свою пролетарскую биографию, говорил об отце-коммунисте - и все без толку. В конце концов не выдержал, подписал все, что велели, но его политические взгляды сильно изменились. Целыми днями он шагал по камере из угла в угол и бормотал:

- Die beiden Scheissbanden können einander die Hände reichen - обе говенные

банды могут пожать друг другу руки...

Не покривлю душой, если скажу, что таких, как этот немчик и наш чех, я жалел больше, чем своих, советских: мы сами наболтали себе пятьдесят восьмую статью, нарушили устав собственного монастыря - жесткий, несправедливый, но известный всем нам с детства устав. А эти-то попали за какие грехи?

Вскоре Стеглика от нас увели; но свято место пусто не бывает. В ту же ночь я проснулся от лязга железа: это надзиратель вносил шестую кровать.

Новый жилец стоял тут же с узелком в руке и неуверенно улыбался. Был он невысок, лысоват и лицом похож - не в обиду ему будь сказано - на еврея (оказалось - цыган).

- Здравствуйте, - сказал он мне одному: остальные спали.

- Здравствуйте. Вы москвич?

- Я ленинградец, но вы меня знаете. Я - Вадим Козин.

- А-а, - пробормотал я и заснул.

Настоящее знакомство состоялось наутро. Новый сосед явно хотел понравиться: был приветлив, предупредителен, даже предложил оттереть носовым платком стену, потемневшую от вьезшейся в краску пыли.

- Тюремную стену драить?! - зарычал наш лагерник Пантюков. - Да пошли они все... - Он объяснил, куда.

Несколько смутившись, Козин переменял тему. Положил шелковый платочек на подушку, уголок подушки повязал бантиком (как только ухитрился пронести ленточку через обыски: ведь даже шнурки от ботинок отбирали!), отошел, полюбовался и, кокетливо склонив голову, сообщил:

- Вообще-то я должен был родиться женщиной...

Про свое дело он рассказывал так: обиженный на ленинградские власти, которые не помогли во время блокады его родственникам, Козин написал в своем дневнике, что знай он про такое бессердечие, остался бы в Иране. (Он ездил туда давать концерты для советских воинских частей. Иранские антрепренеры делали ему лестные предложения, но он из патриотизма отказывался). Эта запись неведомыми путями попала в руки "органов", и артиста, естественно, посадили.

Недавно в одном из интервью с ним я прочитал другую версию - об отказе петь про Сталина или что-то вроде этого. Но нам Вадим Алексеевич об этом не говорил.

Освоившись в камере, Козин стал петь для нас - вполголоса, чтоб не услышал надзиратель. Пел он удивительно приятно. Пел знаменитую "Осень", "Дружбу" и даже - по-английски - "Ю ар май лаки стар". Ну, и старинные цыганские романсы: из его рассказов выходило, что он был внуком или внучатым племянником не то Вари Паниной, не то Вяльцевой, не то их обеих.

Однажды Вадим Алексеевич пришел с очередного допроса очень расстроенный. Ходил по камере и жалобно повторял:

- Какие мерзкие бывают люди!.. Какие мерзкие!

Оказалось, у него была очная ставка с аккомпаниатором Ашкенази. Козин в лицах изобразил разговор следователя с пианистом:

Вопрос следствия:

- Свидетель Ашкенази, в каких отношениях вы были с Козиним?

Ответ:

- В очень плохих. Он отказывался вывезти мою семью на Урал, хотя, как руководитель культбригады, имел такую возможность.

- Пытались ли вы ему мстить?

- Да, пытался.

Вопрос:

- Каким образом?

Ответ:

- Аккомпанируя ему в концертах, я брал на два тона выше, и он должен был петь в несвойственной ему тесситуре...

Мы восприняли этот рассказ юмористически, но Козину было не до смеха: ведь это ему, а не нам, приходилось петь в несвойственной тесситуре. Говорят, это очень мучительно.

А в общем он был очень удобным сокамерником, и мы искренне огорчились, когда "камерные концерты", как мы их называли, подошли к концу. Следователь объявил Козину, что его дело закончено, и он поедет в дальневосточные лагеря.

Вадим Алексеевич, озабоченный предстоящей неблизкой дорогой, советовался с нами, какую из шапок надеть: одна, по-моему, была из выдры, другая бобровая. Но тот же Пантюков объяснил со

свойственной ему грубой прямоотой, что можно не тревожиться: какую ни наденет, все равно блатные отнимут...

Судьба козинской шапки мне не известна. А о самом Вадиме Алексеевиче лет через пять, уже в Каргопольлаге, мне рассказал один зек, приехавший к нам из Магадана, что тамошнее начальство встретило Козина хорошо. Он был расконвоирован и с большим успехом выступал в местном лагерном театре, пока не случился такой казус: во время концерта какой-то офицер, пьяный, надо полагать, - восторженно заорал:

- Да здравствует товарищ Козин!

Это не понравилось генералу, начальнику лагеря; Козина законвоировали и отправили на общие работы.

За правдивость этой истории не ручаюсь; свидетелем не был, за что купил - за то и продаю.<sup>1)</sup>

С кем-то из моих однодельцев сидел человек со странной фамилией Дебюк-Дюбек, козинский администратор, кажется. По его сведениям, у Вадима Алексеевича, кроме 58-й, была и другая статья, а именно 156-я - "мужеложство" (словечко-то какое!). Но сам Козин об этом умолчал, и понятно: шел сорок четвертый год, а не девяносто первый, когда в Москву бесстрашно слетаются на свой конгресс "голубые" и "розовые" всех стран.

А между тем, я ведь помню: в первом издании Большой Советской Энциклопедии - той, темнозеленой с красными корешками - я еще мальчишкой читал, что советское законодательство не признает наказания за гомосексуализм, потому что нелепо наказывать за болезнь - за точность цитаты не ручаюсь, но смысл был такой.

Не признавали, а в начале 30-х ввели-таки в УК статью 156-ю. Впрочем, и до появления специальной статьи "мужеложников" сажали - давая 58-ю, самую растяжимую. В лагерях это называлось 58, пункт "ж". Был бы человек, а статья найдется...

Ни с кем из знаменитостей, кроме Козина, я на Лубянке не встречался. Правда, майор Райцес спросил меня как-то:

---

1) Рассказ о встрече с Козиним был напечатан в нашем журнале (N 1, 1992г. В. Фрид - "Не пайкой единой").

- Вы в какой камере сидите?  
Тогда я еще проживал в одиночке, в 119-й.

- А знаете, кто в 118-й?.. Нет? Антонеску. А в сто двадцатой?.. Пу-и.

Теперь-то мало кто помнит об Антонеску, румынском диктаторе. Забыли бы и Генри Пу-и, императора Маньчжоу-го, если б не фильм "Последний император". Но тогда это были громкие имена. Пообщаться со своими именитыми соседями я, понятное дело, не имел возможности.

А вот Юлик Дунский довольно долго просидел в одной камере с человеком, в те времена очень известным - генералом Александром Ивановичем Беляевым, который до ареста ведал всеми нашими закупками по ленд-лизу.

Генерал был "номерным", т.е. секретным арестантом, но на лубянские запреты ему было наплевать. Юлику он не только назвал свою фамилию, но и рассказал, за что попал в тюрьму. Дело было так.

Как главу советской закупочной комиссии в Вашингтоне, его пригласил для беседы президент Рузвельт. В Белый дом Беляева пропустили легко; его, привыкшего к нашим строгостям, отсутствие формальностей удивило. Впустили, провели в кабинет президента и оставили одного. Через несколько минут появился сам Ф.Д. - а переводчик почему-то запаздывал. По-английски генерал знал слов десять. Рузвельт по-русски - еще меньше. До прихода переводчика они объяснялись на языке глухонемых - жестами и мимикой. Оба хохотали от души и очень понравились друг другу - что для Беляева обернулось бедой.

Домой генерал пришел в отличном настроении; а дня через три его помощник принес газету, в которой сообщалось, что генерал Беляев награжден американским орденом - каким-то очень важным. А вторым награжденным был другой генерал, Бур-Комаровский - глава враждебного нам польского правительства в эмиграции; наши газеты именовали его "польским фашистом".

У Беляева дрогнуло сердце: он-то понимал, что в этой компании ему быть не следовало. Но наивные американцы в тонкостях московского политета не разбирались... Вскоре генерала под каким-то предлогом вызвали в Москву - и предчувствие сбылось: арестовали и



*Корнет Игнатьев в парадной форме  
кавалергардского полка. 1902 г.*

обвинили, за скудостью материала, в антисоветской агитации. Для десятого пункта 58-й много материала не требовалось: восхвалял (их словцо) американскую технику, нелестно отзывался о Кагановиче - что-то в этом роде.

В камере Беляев держался так, словно сохранил генеральское звание: грубил дежурному офицеру, отказывался подметать пол и т.д. А к Юлику - они сидели вдвоем - был внимателен и охотно рассказывал о себе. И Юлик всегда вспоминал о нем с симпатией и уважением.

Об Александре Ивановиче Беляеве вспоминает и его тезка, Солженицын - в "Архипелаге". Вспоминает с неприязнью: для него Беляев остался надменным и эгоистичным советским сановником - даже в заключении. А Юлий высоко ценил цепкий ум этого крестьянского парня, дослужившегося до генеральских звезд, его

наблюдательность, интерес к хорошим книгам, юмор и самоиронию.

Беляев рассказывал, например, как привез к себе в деревню невесту - показать старикам. Городская девушка не приглянулась родителям генерала; лежа на печи, он подслушал разговор:

- Нехороша, - говорила мать. - Худа, большеглаза... А у нас в деревне-то девки - ягодины!..

Юлик считал: неплохой был мужик. Генералы бывают ведь разные, даже советские - не все одним миром мазаны. Скажем, генерал граф Игнатъев - тот самый, автор книги "50 лет в строю" ("И ни одного в бою", добавляли злые языки). Нет, сам граф не сидел, но с ним связана забавная и приятная история.

С одним из наших ребят, кажется, с Лешкой Суховым, сидел старик-белоэмигрант, привезенный аж из Белграда. Следствие затянулось, и на тюремной пайке он стал доходить. Пожаловался на голод следователю, а тот, не то издеваясь, не то всерьез, предложил:

- Назовите родственников или знакомых, мы сообщим. Пускай принесут передачу.

Старик пришел с вопроса обнадеженный; в радостном возбуждении рассказал соседям:

- Родственников у меня нет, но есть

знакомый. Он, я слышал, служит в вашей армии, в больших чинах. Это граф Игнатъев.

Сокамерники подняли чудака на смех:

- Да-да, как же - принесет он! Держите карман шире... Да он со страху в штаны наделает!

- Вы не понимаете, - терпеливо объяснял им старикан. - Мы с Игнатъевым учились вместе в Пажеском корпусе. А бывшие пажи - это особое товарищество. Что бы ни случилось, паж пажу всегда придет на помощь!

Ему не поверили, конечно. Провожая на очередное "без вещей", дразнили:

- Это граф передачу вам принес!

Он, как мог, отшучивался. А в один прекрасный день вернулся в камеру с большой торбой, набитой яствами - даже фрукты там были! Это в военное-то время.

- Я же вам говорил! - с торжеством объявил старый паж.

Слух об этом происшествии разнесся по всей тюрьме - и надо сказать, сильно укрепил мою веру в человечество...

Кончался сорок четвертый год. От кого-то из свежепосаженных мы узнали, что американцы седьмого ноября будут выбрать себе президента. Кандидатов было двое: от демократов - друг Советского Союза Рузвельт, от республиканцев - нелюбимый нашими газетами Дьюи. Мы в камере тоже

*Граф А. А. Игнатъев в 1947 г. – генерал-лейтенант Советск ой Армии.*



решили провести выборы, выбрать американского президента тайным голосованием.

Каждый из голосующих получил две пешки (шахматы у нас были). За Рузвельта надо было положить под миску белую пешку, за его противника - черную. Из восьми человек шестеро проголосовали против Рузвельта: не нравилась его дружба со Сталиным. Только двое положили белую пешку - я и Володя Матвеев. Он признался мне в этом, чуть-чуть стеснясь своей интеллигентской мягкотелости. Американцы тоже оказались мягкотелыми - выбрали Франклина Делано. Мы с Володькой были рады...

Все на свете кончается - и хорошее, и плохое. Этой малооригинальной сентенцией я хочу сказать, что подошло к концу и наше следствие.

Новый 1945-й год я встретил еще со своими соседями по 28-й камере, а вскоре меня вызвали "с вещами".

Посадили в воронку - надписи "хлеб" или "мясо" я на нем не заметил - и повезли в Бутырскую тюрьму.

Воронки снаружи были все одинаковы - фургоны, в каких возят продукты; и не воронье вовсе, в серо-коричневые. "Черные вороны" я видел только в детстве, но название пережило их. Внутри же воронки выглядели по-разному. Одни были общие, а другие, можно сказать, купейные, поделенные на секции - такие железные шкафы с обеих сторон. В каждом шкафу везли по одному пассажиру; в узеньком коридорчике ехал конвоир и жестко пресекал любую попытку подать голос. Так я и не узнал, кто из моих ребят ехал со мною. Но через несколько дней мы встретились...

## Примечания автора

\*) Не так давно я получил письмо из Инты от незнакомой женщины. Она прочтала в "Экране и сцене" отрывок из моих воспоминаний и добавила от себя несколько нелестных слов в адрес Аленцева. А постскриптум был такой: "Не успела отправить письмо, и вот какая новость". Новостью оказался некролог в интинской газете "Искра".



\*\*) Это значение слова "параша" широко известно с дореволюционных времен. Но есть и другое, советское. Параша - это лагерный слух, утка.

\*\*\*) В песенке правоверный еврей рассказывает, как он построил себе праздничный шалашик, "кущу". Сотворил молитву, зажег свечу и увидел чудо: огонек на ветру не гаснет, горит тихо и ровно.

\*\*\*\*) Когда я писал эту главу, мой сокамерник был жив. (И Брест был нашим, а не белорусским.) А полгода назад Олави умер. Его вдова Лида прислала мне нью-йоркскую метрику мужа и просьбу поинтересоваться в американском посольстве: не помогут ли вдове соотечественника материально? Пенсия-то у нее мизерная... Я приложил к Лидиному письму свой рассказ о судьбе Олави Окконена, и знакомая девушка американка снесла документы в посольство.

Казалось бы, после всех газетных кампаний по розыску американцев - иногда мифических, - сидевших или погибших в сталинских лагерях, посольские должны были отнестись с вниманием. Ничего подобного! Чиновник отреагировал так: "Где этот Брест? В Белоруссии? Пускай обращается в наше посольство в Минске". Что тут скажешь?.. Бюрократы всех стран, соединяйтесь!..

\*\*\*\*\*) Лет через семь, уже на свободе, я случайно увидел это экзотическое имя в каком-то иллюстрированном журнале. Подпись под фотографией гласила: "Занятия ведет преподаватель физкультуры 57-й московской средней школы Джемс Ахмеди". Значит, и он вернулся? А может, повезло - не успели посадить.

Посвящается моей матери  
Г.Д.Катанян

# В. КАТАНЯН СЕРЕЖУ

или Страсти по Параджанову

Главы из книги\*

## “Ослик, зонтик и Антиной”

Все, кого жизнь сталкивала с Параджановым, обращали внимание на его страсть к вещам, страсть к антиквариату, страсть покупать, продавать и дарить. Именно страсть. Вещи переполняли его жизнь и его фильмы. Они доминировали в его картинах, да и в жизни тоже, они почти всегда были подлинными, они производили впечатление и запоминались. (Мейерхольд также выносил на сцену настоящие дорогие вещи в “Даме с камелиями”, в “Пиковой даме”...)

Мебель, лампы, рамы, посуда, утварь, украшения, вазы и ковры, ковры, ковры... Он знал в них толк, как никто.

Его учитель Игорь Савченко говорил: “Ах, Параджанов, ты умрешь бутафором”. И, помолчав, задумчиво добавлял: “Или церемониймейстером”.

Его отец был коммерсант — то продавал спинки никелированных кроватей(!), то был директором комиссионки, — и мальчик вырос среди разговоров о купле-продаже. Он с детства научился разбираться в стилях, марках, фирмах, каратах... Он любил даже просто держать вещи в руках, рассматривать, перебирать и примерять — перстни, меха, тарелки, канделябры. Он обожал торговаться, уступать или стоять на своем, иной раз и слукавить — словом, принимать участие в торжище. Он любил не только сияние драгоценных камней, но сами их названия, мог бормотать ни к селу ни к городу: “Алмазы, топазы, сапфиры...” Он фантазировал на эту тему бесконечно, выдавал желаемое за действительное. То и дело, надо — не надо, я слышал от него:

- Я отдал ей голубой бриллиант за бесценок...
- Завтра я подарю Инне сапфировое кольцо. Пусть носит.
- Я отослал Светлане кораллы в серебре...
- Видел на Софико жемчужное ожерелье? Бесценное. Это я ей подарил.
- Ты?
- А кто же еще?
- Чтобы устроить этого оболтуса в институт, я подарил жене ректора два с половиной метра чернубурки!

Если бы у него это было, то не исключено, что он действительно подарил бы. На самом же деле подарки имели место, но не столь драгоценные, не тем людям и не за то, о чем он говорил, а просто так, от доброты душевной, от потребности сделать приятное, но иной раз и от тщеславия, желания поразить...

Подарки — род недуга. Он не мог не подарить чего-либо человеку, который ему симпатичен. Причем сплошь и рядом это были люди случайные. Помню, с кем-то по пути зашли к нему на огонек парень с девушкой. От смущения не открыв рта, они весь вечер

\* Начало публикации см. в № 6 — 1993 г.



*“Вилла Гранат” была обставлена в стиле “бабушкин комод”*

сидели, пили чай, слушали, может быть, даже что-то мотали на ус... А когда уходили, Сережа вдруг подарил девушке горсть изумительных старинных серебряных бусин. От неожиданности она даже не поблагодарила. Сережа видел ее первый и последний раз в жизни.

В 1957 году ко мне в монтажную поднялся, задыхаясь и чертыхаясь, пожилой человек из Киева. Вывалил на меня три кило зеленых груш и шкуру маленького медвежонка — презент от Сережи. И киевлянину это обуза, и мне ни к чему медвежонок и эти незрелые груши. Но Сережа любил делать подарки, и все, попадая под его обаяние, подчинялись ему.

Вообще от него исходило нечто, притягивавшее самую неожиданную публику. Завидев толпу, в окружении которой он появлялся, говорили: “Параджанов со своей вольницей”. Или: “Приехал Сергей и сопровождающие его лица” (он же добавлял: “Не только лица”). Никогда нельзя было предвидеть, чем кончится день, начатый в обществе Параджанова.

Например, поехали мы к нему на дачу: “У меня есть вилла. Я назвал ее “Гранат”. Она недалеко от Мцхеты, в Дзалиси”. Я думал — болтовня, какая-нибудь халупа, комнатка или вовсе ничего — очередная фантазия. Однако едем, въезжаем в деревню. С первой же попавшейся крестьянкой он долго беседует, и вскоре идут соседи, несут помидоры, фрукты, вино. Это из любви к нему, за веселый нрав, но он, конечно, клеветает: “Они думают, что я могу устроить их детей в институт — и задаривают. Нет, нет, это никуда не годится, почему помидоры сбоку зеленые? А ну, чеши отсюда!” И сестра якобы абитуриента “чешет” и приносит красные помидоры.

Он не то снял, не то купил, не то просто живет в половине большого крестьянского дома. Чтобы стать совладельцем, он должен вступить в ... колхоз! “Я могу быть сторожем, но меня не берут, они умные, понимают, что я тут же все раздам налево-направо”.

Дом обставлен в его любимом дореволюционном стиле: керосиновые лампы, накидочки,



*Мистерия: положил голову на плаху, а всем велел сокрушаться*

ламбрекены, пухлые бархатные альбомы. Тут же бормашина и — Господи помилуй! — гинекологическое кресло. “Это мне отдали евреи, которые уехали. И телевизор тоже”. Все, конечно, бездействует, в том числе и телевизор, который он не смотрит, ибо не умеет включать.

Нас приехало пятеро, а за стол село двадцать: кто-то проезжал мимо со своими знакомыми и знакомыми своих знакомых, заметили Сережу и остановились, дабы разделить трапезу.

“Мы пропали”, — сказал Сережа, увидев, как к нему поднимается крестьянин с ящиком вина — местный поэт. Он заиграл на зурне и запел по-грузински поэму в честь Параджанова. Мы долго слушали — кто понимал, кто нет, — постепенно стали разговаривать, ходить по дому, а он все пел и пел, и мы действительно пропали. Я лег подремать, а когда проснулся, то вокруг сидели другие персонажи, только поэт был прежний.

Вскоре ему вернули остатки ящика с вином, нам Сережа на память о Дзалиси подарил массу диванных подушек(!), и все покатили в Мцхету. Мы поднялись высоко в горы, и “там, где Арагва и Кура”, Сережа разыграл на скорую руку мистерию, велел нам всем участвовать. По его словам, в Грузии он все знает лучше всех! Допустим.

В Тбилиси мы попали только к вечеру. Сережа привез нас в какой-то дом, клятвенно уверяя, что там устроен пир именно в нашу честь, чему мы удивились. Конечно, оказалось, что на самом деле там рождение какой-то пухлой девицы и хозяева (это были архитекторы) о нас слыхом не слыхивали, но были рады и нам, и еще десятерым гостям, которым Сережа дал адрес в Дзалиси. Приняли всех, глазом не моргнув. Стол был величиной со сцену Большого театра, а такого количества и разнообразия закусок мы, кажется, не видели отродясь. Кто-то привез из деревни целую машину роз, для них не хватило ни ваз, ни ведер и кастрюль, и на стол их просто высыпали горой. А среди всех этих блюд, вин и цветов сидел Сережа, тостами и байками объединяя всех нас, незнакомых.



### *Бесконечное гостеприимство*

Редко к кому он любил ходить в гости, зато обожал принимать у себя, особенно знаменитостей (честолубие было ему далеко не чуждо). Это всегда было нарядно, весело, вкусно, с выдумкой и затеями.

Однажды звонит из Киева: “Я должен принять министра культуры Франции с женой, что делать? Я придумал только, что в квартиру войдет нарядная гуцулка с коромыслом, а ведра будут полны шампанского со льдом. Затем парубок подаст зажаренного гуся в бумажных розах и лентах, а в глазах у него будут изумруды — это серьги, которые я потом подарю министерше. В углу будет играть бандурист, я ему приклею бороду, как у Черномора, а конец закину на люстру и там обовью ею лампу, для полумрака, чтобы мадам не увидела, что изумруды поддельные... Что бы придумать еще?

— Еще???!?”

Когда в том же Киеве к нему пришел Тарковский, то первым, кто его встретил, был женой ослик, привязанный к батарее (это на восьмом-то этаже!). Оправившись от изумления, Андрей Арсеньевич увидел Сережу, который улыбаясь смотрел ему в глаза и наливал в бокал красное вино из старинной грузинской бутылки. Вино переливалось и расплывалось пятном на кружевной скатерти изумительной работы.

— Сережа, вы губите скатерть, остановитесь!

— Это так, но вы выше, чем кружева шантлии!

Аллен Гинсберг — идол масс-медиа, гуру, родоначальник и вождь битничества, — прилетев в Тбилиси, мечтал познакомиться с Параджановым. Сергей встретил его в черном парике с перьями, увешанный цепями. А чтобы поэт не чувствовал себя обделенным, его тут же облачили в нечто парчовое и усадили, по словам Сережи, на... трон. Для полноты картины кликнули дьякона Георгия, благо он жил по соседству. Тот явился в церковном облачении, что не помешало Параджанову водрузить ему на голову еще и подушку. Кворум был. И потекла неторопливая беседа.

Когда в 1982 году Майя Плисецкая танцевала в Тбилиси “Кармен-сюиту”, Сережа не



### *Игры с Алленом Гинсбергом*

пропустил ни одного вечера, он посылал ей изысканные, ювелирно составленные букеты и отправил украшенное виньеткой приглашение, где “нижайше просил великую балерину посетить его приют на горе Давида”. Плисецкая была немного знакома с Сережей, к тому же постоянно слышала о нем от своих родных — брата Александра, кузена Бориса Мессерера и его жены Беллы Ахмадулиной, которые дружили с Параджановым.

Ее ждали после спектакля. Лестница была усыпана цветами. Вся лучшая посуда — на столе. Изысканное угощение. Потом Сережа наметил провести Майю Михайловну по боковой галерее, сплошь увешанной его работами, и остановиться перед дверью, открыв которую старинным ключом, она должна увидеть статую Антинаоя. Статуя должна ожить и с поклоном преподнести гостье на серебряном подносе золотую розу и необыкновенное пирожное, которое Сергей сам испек и ослепительно разукрасил. Для этого спектакля позвали соседа Ило, божественного телосложения юношу с лицом Массимо Джиротти (как утверждал Сережа). Кое-как ему прикрыли чресла, густо обсыпали мукой, чтобы больше походил на статую, а в волосы вплели виноградные листья.

Плисецкая пришла поздно: публика не отпускала ее долго, грузины ее обожали. Не обратив никакого внимания ни на сервировку, ни на угощение, она разговаривала с Сергеем



*Параджанов не пропустил в Тбилиси ни одного спектакля с Плисецкой*

и с интересом рассматривала его работы, которыми были увешаны стены. “А теперь, Майя Михайловна, вот вам ключ от комнаты, где вас ждет сюрприз”. Ее провели через галерею, где она задержалась возле коллажей и кукол, и попросили отпереть замок. Все столпились вокруг в ожидании эффекта. Он действительно был: взору гостей предстал Антиной, уютно свернувшийся калачиком на полу среди осыпавшейся муки. Заждавшись (дело было далеко за полночь), он уснул, предварительно сжевав от голода пирожное — произведение искусства...

— Давно уже я так не смеялась, — сказала Плисецкая, утешая Сережу.

Рассказывает Гарик Параджанов:

“В 1979 году Театр на Таганке играл в Тбилиси, и как-то утром Сережа послал меня на базар купить продолговатую дыню, самую красивую. Затем заботливо укутал ее в красный платок, запеленал как ребенка, и дыня стала похожа на грудного младенца, издали и не

отличишь. “Пойди к Любимову в театр, он сейчас на репетиции, вручи ему эту новорожденную дыню и поздравь его — у него вчера родился сын в Венгрии. Жаль, что у тебя нет сиськи, а то я одел бы тебя кормилицей и ты вошел бы в зал, кормя дыню”.

Юрий Петрович был в восторге от подарка и потом увез его в Венгрию. А вечером он пришел к нам с артистами Таганки. В честь новорожденного Сережа устроил “Петров день” (сына нарекли Петром). Среди гостей была Алла Демидова:

“Я немного опоздала и, поднимаясь вверх по старому, мощенному булыжником переулку Котэ Месхи, по шуму догадалась, куда надо идти.

Дом со двора трехэтажный, огороженный невысоким каменным забором. Над воротами сидели два, как мне показалось, совершенно голых мальчика и, открывая краны, поливали водкой из самоваров, что стояли с ними рядом, всех прибывающих. Мне, правда, удалось проскочить этот душ. Двор был небольшой, и я сразу обратила внимание на круглый фонтан, он был заполнен водой, а может быть, и вином, и в этом водоеме плавали яблоки, гранаты, персики и еще какие-то фрукты. Вокруг стояли наши актеры и угощались. Посреди двора на деревянных ящиках лежала большая квадратная доска, покрытая разноцветной клеенкой, — импровизированный стол, на котором стояли тарелки, а в середине в большой кастрюле что-то булькало, шел пар и аппетитно пахло.

В левом углу двора был портрет Параджанова, закрытый как бы могильной оградой. Портрет стоял на земле, перед ним сухие цветы, столетник в горшке и чахлое деревцо. “Это моя могила”, — пояснил Параджанов.

На перилах галереи висели ковры, лоскутные одеяла и просто разрисованные тряпки. Все это пиршество красок воспринималось фейерверком на старой, серой тбилисской улочке. Рябило в глазах.

С неба свисал как абажур черный кружевной зонтик. Я сказала Параджанову: “Какой прекрасный зонтик!” Он тут же его опустил — оказалось, что зонтик висел на невидимых лесках, — отрезал и подарил мне. Сопротивляться было бесполезно, я промямлила, что жалко, мол, так сразу, повисел бы еще, на что Параджанов ответил: “Ты посмотри, какая ручка у этого зонтика! Это саксонская работа. Ты ее отрежь и носи на груди, как амулет, потому что это уникальная работа севрских мастеров. Это Севр!”

Потом он приказал сфотографировать меня на фоне лоскутных одеял: ему очень понравилось, что я была вся в белом и в белой шляпе. Особенно его восхитило, что я ношу шляпу, и он приговаривал: “Ну вот, теперь наши кекелки будут все ходить в шляпах. Как это красиво — шляпы. Я заставлю всех ходить в шляпах! Шляпы, шляпы...” И нас все время фотографировал молодой мальчик Юра, которого Параджанов отрекомендовал как самого гениального фотографа всех времен и народов. Он никогда не скупился на комплименты и любил окружать себя молодыми красивыми людьми.

...На галерее ходили, ели, пили, пели актеры Таганки и Театра Руставели и, как в театре с балкона, смотрели на представление, которое разыгрывал Параджанов во дворе. Тут же присутствовал какой-то милиционер, которого Параджанов представлял как на светском рауте. Вскоре выяснилось, что милиционер пришел из-за прописки Параджанова, которой у него не было. Тут же был и бывший лагерник, который приехал к нему в гости. С каменной ограды двора гроздыми свисали дети. Отдельно наверху, под гриляндами сухих красных перцев, сидела толстая женщина в байковом цветном халате с большими синими камнями в ушах и, подперев задумчиво кулачком щеку, молча за всем наблюдала.

— Кто это?

— А... Это моя сестра Аня. Мы с ней не разговариваем, — небрежно бросил на ходу Параджанов.

Мы прошли в его маленькую комнату, которая вся была забита коллажами, натюрмортами, сухими букетами, позолоченными окладами, какими-то тряпочками, накинутыми на что-то, старинными кружевами. Ну, просто лавка старьевщика. Почти все пространство комнаты занимал установленный в середине квадратный стол. На нем стояло очень много еды в старинных разукрашенных грузинских мисках.

Я быстро ушла, потому что совсем не знала, как вести себя на таком восточном празднике. Потом, когда его спрашивали об этом приеме, он отвечал: “Ну что прием?”

Ужасно! Пришла Демидова, срезала зонтик и сразу же ушла”.

Он всегда говорил то, что думал.

А вслед черному зонтику прилетел мне в подарок белый, с аппликациями и тоже очень красивой ручкой”.

## “Тюрьма его не хочет, но он хочет в тюрьму”

Из моего дневника, 21 апреля 1982 г.:

“В октябре 1981 года Юрий Любимов разыскал, наконец, Сережу, который гостил у нас. Мы всячески его конспирировали, Инна делала все, чтобы не пускать его в Дом кино, где он приходил в возбуждение и городил небылицы на глазах у всех. Любимов пригласил его на генеральную репетицию спектакля о Высоцком, который хотели запретить — и запретили. Инна отговаривала Сережу, она была очень против того, чтобы он шел на этот прогон: “Ты нужен для шумихи, для рекламы, нужно твое имя, нужна скандальность...” Как в воду глядела.

После просмотра было обсуждение. Вся художественная элита Москвы очень одобрила спектакль, все руководство было против. Сережа, которого я держал за полу пиджака, чтобы он не полез выступать, вдруг поднял руку... Его встретили дружными аплодисментами (так встретили только его). Велась стенограмма, которую потом послали куда не надо, и вот под эту-то стенограмму Сережа и произнес “крамолу”. Очень точно разобрав спектакль и толково кое-что посоветовав, он, конечно, не удержался: “Юрий Петрович, я вижу, вы глотаете таблетки, не надо расстраиваться. Если вам придется покинуть театр, то вы проживете и так. Вот я столько лет не работаю, и ничего — не помираю. Папа римский мне посылает алмазы, я их продаю и на эти деньги живу!” Никто не улыбнулся, все приняли это за чистую монету, и проводили его аплодисментами.

— Сережа, бойся Бога, какие алмазы посылал тебе папа римский?

— А мог бы! — ответил он мне с упреком.

Вскоре позвонили из театра, чтобы он приехал выправить и подписать стенограмму, прежде чем ее отправят. Мы его умоляли вычеркнуть дурацкие алмазы, вызвали такси, и он покатил. Но вовсе не в театр, как потом выяснилось, а навещать любимого племянника в подмосковном гарнизоне”.

Как гром среди ясного неба была для всех нас заметка в “Юманите”.

“По сообщению агентства Франс Пресс, советский режиссер Сергей Параджанов 11 февраля 1982 года арестован в Тбилиси за спекуляцию. Постановщик “Саят-Новы” однажды уже отбывал наказание с 1973 по 1977 год”.

Потом, когда его друзья, Софико Чиаурели и братья Шенгелая, опять ходили хлопотать за него, им сказали, что толчком к аресту послужило злополучное выступление в Театре на Таганке и что изолировать его решила Москва.

Рассказывает Гарик:

“Ему инкриминировалась “дача взятки” за мое поступление в театральный институт, где я в то время учился уже на четвертом курсе. Меня вызвали в МВД. Объяснили, что в сочинении, тщательно проверенном экспертами МВД через три года после вступительных экзаменов(!), насчитали 62(!) ошибки. Я совершенно растерялся, впервые оказавшись в таком учреждении. К тому же только что умер мой отец. Они уговаривали, убеждали, требовали признать “факт взятки”. И вдруг прямо дали понять, что за определенную мзду дело можно закрыть. Дядя Сережа тут же повез пятьсот рублей. Конечно, это была ловушка, провокация, его взяли на “месте преступления”, и я невольно оказался виновником ареста”.

Не будь Гарика, нашли бы другую причину, например, связь с иностранцами. Сколько их побывало у него! А в те годы с этим не шутили.

Завели дело. И следователю он заявил — вполне в своем духе, — что мой старый чемодан, который мы дали ему для его барахла, — это чемодан Маяковского, какой-то чугунок — кубок Хмельницкого, а палка, чтобы закрывать ставни, посох Ивана Грозного. Ни более ни менее. Иначе неинтересно. Но по существу, все это было ужасно.

Суд несколько раз откладывался: то не могли найти помещения, то не являлись

свидетели, то сам Сережа болел. Из-за диабета у него что-то случилось с мочевым пузырем, потом он потерял зрение, но, к счастью, оно вскоре восстановилось. Беда за бедой...

Рассказывает А.Атанесян:

“Все залы суда были заняты, и заседание было выездное, в Доме работников искусств. Судьи сидели прямо на сцене, там же и Сережа, а по бокам два конвоира, которым он тут же дал роли. Они с ним уже дружили, звали “батона Саркис” (господин Сережа). Одному он сказал: “Ты похож на Наполеона. А ну, сложи руки на груди, наклони голову. Молодец! Стой так!” Тот так и стоял все заседание. Прокурор и судья любили Сережу, но знали, что его нужно засудить, иначе они сами сядут. Так вот, кто-то из судейской администрации — такой высокий, лоб с залысынами — спрашивает его в перерыве: “Батона Саркис, а мне вы какую роль дадите?” Тот окинул его взглядом: “Принесешь завтра простыню и полкило лаврового листа, будешь Нероном”.

Суд продолжался несколько дней. Помню, что пришло много друзей Сергея, хотя это и было несколько опасно. Он со всеми раскланивался, кидал реплики, переговаривался, судьи его одергивали, но без толку. Были молодые художники, фотограф Мечитов даже сделал несколько снимков. Это происходило так: художница Светлана Джугутова роняла зонтик, а Мечитов в это время щелкал. Среди присутствующих был Додо Абашидзе, который никого, кроме Бога, не боялся, и он из зала выкрикивал какие-то обидные вещи в адрес судей. Сережа потом рассказывал, что Софико Чиаурели “приехала в здание суда прямо из Парижа с двумя чемоданами”, поставила их в проходе, развернула трехметровый плакат “Саят-Новы” и крикнула: “Вы здесь судите Параджанова, а в Париже народ ломится на его фильмы!” Конечно, это было не так, но она действительно пришла на суд и фразу эту в его защиту сказала. Она смелый и честный человек.

Помню в зале Левана Георгиевича Пежанова, старого друга Сережи, ему в ту пору было под восемьдесят. Это одинокий, очень преданный Сереже человек, которого тот мечтал поженить со своей старой школьной учительницей, Ниной Иосифовной, но никак не мог устроить их встречу. Они встретились на суде, даже не встретились, а просто сидели в одном зале. Когда Пежанову задали какой-то вопрос, Сережа воскликнул: “Зачем вы потревожили этого почтенного человека и задаете ему вопросы? Но хоть одно счастье, что здесь сидит и Нина Иосифовна, и две души, которые должны были соединиться в радости, соединятся в печали”. Наполеон с Нероном не успели опомниться, как Сережа прыгает в зал, сажает их вместе: “Живите в мире и в радости!” Еле навели порядок. А те покорно сидели и смотрели на Сережу, улыбаясь, двое таких красивых старичков...

В один из дней его забыли отвезти из суда обратно. Друзья поехали с ним на такси, предварительно искупав в бане. Приезжают, стучатся: “Пустите в тюрьму, откройте темницу!”

А за несколько дней до суда мне в Москве позвонила Белла Ахмадулина. Они с Борисом Мессерером собрались лететь в Тбилиси. Ее поэзию очень ценил Эдуард Шеварднадзе, тогда первый человек в Грузии, и Белла Ахатовна надеялась передать ему письмо в защиту Параджанова.

Все мы прикидывали: что и как написать? Рассудив, что просто отпустить Сергея на все четыре стороны невозможно (честь мундира!), было решено просить, чтобы приговор вынесли условный. Что угодно — только условно.

...“Я очень знаю этого несчастного человека, — писала Ахмадулина. — Тюрьма его не хочет, но он хочет в тюрьму. Нет, наверно, ни одной статьи Уголовного кодекса, по которой он сам себя не оговорил в моем присутствии, но если бы лишь в моем...”

...Все его преступления условны. И срок наказания может быть условным. Это единственный юридический способ обойтись с ним без лишних осложнений, иначе это может привести его к неминуемой гибели...”

Письмо было передано Эдуарду Амвросиевичу.

Параджанову дали пять лет условно.

Его освободили в зале суда, но он рвался обратно — чаплинская ситуация. Вскоре выяснилось: “Смотрите, сколько мне здесь насовали записок и денег для уроков. Я им должен передать их в тюрьме, они меня ждут. Да и как же я не попрощаюсь с ними?”

Так — после одиннадцати месяцев заключения — Сережа наконец очутился дома и лег спать хоть и в холодной, сырой, но в своей комнате, среди своих игрушек и драгоценной чепухи, столь милых его сердцу.

И снова помог ему обрести свободу большой поэт!

# ГАЛЕРЕЯ

## ПРИ ЖУРНАЛЕ

### ВЫСТАВКА

# Михаила

Ура, Миша!!

Бывший гитарист

Б. Окуджавы

Привет Миша!

Пришел на свидание

с тобой...

Страшно радостно...  
и щемяще!  
Дай бог тебе здоровья  
и сил!!!

(Любовь)

Владимир Чен

и стб  
6/99, Москва

Спасибо за приглашение: прекрасно!



С искренней любовью  
к Вашему  
Творчеству

Светлана Михайловна  
283-17-04 и Москва

Мне очень понравилась  
"Краса", и портрета на  
тему песен Владимира Высоцкого.  
Большое спасибо за выставку,  
и мой розгетем очень вам  
благодарен.

Михаил Дергошин

10 лет

Морфо Б. В. Б. В.  
и Л. В. Б. В. Б. В.  
Ура, Миша!!  
С любовью,  
Дергошин Т. В.  
11.06.99г.

# "ДОМ НАЦОКИНА"

## "КИНОСЦЕНАРИИ"

РАБОТ

# Шемякина

Мне выставка очень понравилась.

Особенно мне понравились  
метафизические головы и  
метафизический Бюст II!

Р. Шкетин, 10 лет.

Спасибо за такие интересные  
картинки.

Легко говорить, всех благ, успехов  
и всего-всего самого наилучшего  
в Вашем труде. Любите Вас все!

8.06.94

Bravo! Grazie molto.

8.06.94

Спокойно эти Карлики  
самые хорошие пасынки  
мира, Греко, Бои, очень  
мне нравятся. Спасибо

Юган / Яне

Dear Mr. Chemakin

"НИЖИНСКИ & СТРАШНСКИ" SERIES ARE  
ESPECIALLY LYRICAL - GLAD TO SEE YOUR  
CREATIVITY IS JUST AS STRONG AS WHEN YOU  
VISITED OSTROV / GAVE A DEMONSTRATION.  
[ALEXIS TEMBOUMOVSKY WILL ALSO BE IN MOSCOW SOON]  
Sincerely PTTK

Про Петра & Философа.

Крепкий трюк  
крепким русским словом  
он будет вечно каротиловать  
вожрестт:  
Санкт-Петербург!  
Плак правдой к обываю,  
Меси "Петра"  
Шемякинское Креотт

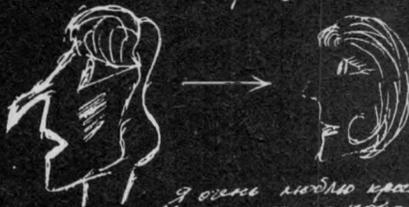
это - М. Толл  
из Филадельфии

Позвоните, МИХАИЛ.

100-118.51

УРА

Мне 12 лет от рождения.



Я очень люблю краску.  
Мне она очень понравилась.  
Мне не очень понравилась  
картинка, но провела краску  
отражаемые в моз. Я люблю  
ры, вижу картинку Шиллинга.  
Надеюсь еще познакомиться на  
вашиши выставки.

02.06.94 год

Страшно, но правда!

8.06.94



# СЬЮЗЕН САРЭНДОН

*"Как переменчива актерская судьба! Еще совсем недавно критики откровенно зевали на скучных фильмах с участием Сьюзен Сарэндон, а после "Голода" ей единодушно был присвоен титул фривольно-смелой звезды"*

Актрису Сьюзен Сарэндон не назовешь красивой. Она худа, диспластична, ходит неровной походкой, слегка подпрыгивая на длинных ногах. У нее вздернутый нос, не слишком красивый овал лица с уже наметившимся вторым подбородком. Торчащие уши. Впрочем, копна рыжих волос позволяет скрыть этот недостаток. А неправдоподобно большие, навывкате глаза могут служить намеком на базедову болезнь. Словом, Сьюзен Сарэндон лишена типично голливудского глеймора и мало соответствует американскому идеалу женской красоты, который в 80-е годы победно олицетворяла пышущая здоровьем, красивая и уверенная в себе Кэтлин Тернер.

Внешность ли была тому причиной, но долгие годы Сарэндон считалась аутсайдершей американского кино. А может быть, и сама не стремилась приблизиться к когорте ведущих актрис.

В кино Сьюзен попала случайно. Студенткой Вашингтонского католического университета она со своим мужем Крисом Сарэндоном отправилась на недельку в Нью-Йорк. Прогуливаясь по Бродвею, они увидели объявление о пробах к фильму и вошли в театр, где собралась большая толпа молодежи. Сьюзен попросили что-нибудь сымпровизировать и отпустили. Спустя день она узнала, что будет сниматься в фильме "Джо" (1970). Она сыграла юную наркоманку, которая убегала из дому и погибала вместе со своими друзьями-хиппи от рук собственного отца и его приятеля. Поскольку фильм снискал громкий, даже скандальный успех, имя Сьюзен Сарэндон запомнилось.

Наверное, потому, что Сарэндон попала в кино случайно, она относилась к актерской профессии с прохладцей, не прикладывая никаких усилий для совершенствования. Снималась, потому что снимали, подписывала контракты, не читая сценариев. На советы поступить в знаменитую "Актерскую студию" отмахивалась, говоря, что можно учиться и на съемочной площадке. В начале карьеры ей посчастливилось сотрудничать со многими выдающимися актерами: Джеком Леммоном ("Первая полоса", 1974), Энтони Перкинсом ("Любим Молли", 1975), Робертом Редфордом ("Великий Уолдо Пеппер", 1975), Генри Фонда ("Большая полицейская облава на дорогах", 1976), Эриком Робертсом ("Цыганский барон", 1976). Все они отдавали должное ее шарму и легкости общения.

Сьюзен Сарэндон оказалась на съемочной площадке не потому, что горела желанием выразить большую идею или стать великой звездой. Так распорядилась судьба. Съёмки были работой, в меру интересной, в меру рутинной, как деятельность бухгалтера или инженера. Однако околкиношная жизнь ей определенно нравилась. В 1973 году Сьюзен сделала серию снимков для "Плейбоя", которые появились под заголовком "Самая красивая грудь лета". Она



охотно рассказывала репортерам о своих любовных романах, снискав репутацию достаточно легкомысленной особы. Это и побудило режиссера Пола Мазурского пригласить Сюзен на роль Ареты в фильме "Буря" (1982). "Арета — раскрепощенная женщина. Она дает свой ключ каждому, кто этого пожелает, и в этом очень похожа на Сюзен. Ведь ей достаточно взглянуть на кого-нибудь, чтобы тотчас завести роман", ("American film", May, 1983, p. 31) — отмечал режиссер.

Впрочем, роль Ареты была скорее исключением, а чаще всего ей приходилось изображать наивных инженю с нескладной, угловатой фигурой. Критик Полин Кейл, известная суровой категоричностью оценок, как-то воскликнула с возмущением: "Сарэндон — одна из немногих актрис, которые умудряются выглядеть нелепо в любой роли".

Единственной картиной той поры, принесшей актрисе всеобщее одобрение, стала лента "Сеанс ужасов Роки" (1975). Эта остроумная комедия англичанина Джима Шермана пародирует целую обойму популярных жанров коммерческого кино — в

основном фильмов ужасов и фантастические ленты о загадочных феноменах. Двое юных американцев — среди них и Джанет, наивная девушка с западного побережья, — спасаются бегством от агрессивного трансвестита Фрэнка и оказываются в компании монстров и сумасшедших ученых. Там с ними происходит много забавных приключений, становящихся поводом для безудержного зубоскальства и веселья. В этом фильме впервые проявился тонкий комедийный талант Сюзен Сарэндон, создавшей изящную пародию на образ вечной девственности, а в какой-то мере и на собственные роли 70-х годов. Английский режиссер сумел почувствовать в актрисе то, чего решительно не хотели замечать американские режиссеры.

В 1977 году Сюзен снялась в фильме "Другая сторона полуночи". Эта знойная мелодрама рассказывает о страстной любви француженки Ноэль (Мари Франс Пизье) к американскому летчику Дугласу. Вернувшись в Америку и женившись, он быстро забыл маленькую француженку. Она же, напротив, всеми силами стремится вернуть себе любимого и даже не останавливается перед убийством его жены Кэтти (Сюзен Сарэндон). Милая, наивная, слепо преданная мужу, Кэтти, (и в этой роли Сарэндон остается инженю) даже не догадывается, какие тучи собираются у нее над головой. Однако судьба благоволит к ней. Любовников, ставших преступниками, приговаривают к смерти. Кэтти же удается спастись.

В Америке этот фильм прошел почти незамеченным. Однако во Франции, благодаря участию в нем Рафа Валлоне и Мари Франс Пизье, он имел большой успех. Там на Сюзен обратил внимание режиссер Луи Малль. Он только что подписал контракт с американским продюсером и искал актеров для своего первого американского фильма "Милый ребенок" (1978), действие которого разворачивается в нью-орлеанском борделе. Сюзен Сарэндон досталась роль проститутки, матери маленькой девочки, выросшей в специфической обстановке публичного дома. Луи Малль был очарован Сюзен как женщиной и актрисой. "Сюзен напоминает Жанну Моро. Она тратит ночи на то, чтобы выучить роль и потом чувствовать себя перед камерой совершенно раскованной. Мне нравится, что у Сюзен нет никакой системы. Она действует по наитию" ("American Film". May 1983, p. 33).

Роль Сэлли Мэтьюз, героини фильма "Атлантик-сити" (1980), Малль писал в расчете на индивидуальность актрисы. Она играет здесь наивную, мечтательную официантку из рыбного бара, вечно куда-то бегущую на своих тонких, подкашивающихся ногах и все равно везде

опаздывающую. Сэлли стыдится своей работы, рыбного запаха, въевшегося в кожу, и, придя домой, с помощью лимона пытается вытравить его. Ее мечта — уехать в Европу и устроиться крупье в казино Монте-Карло. Но безжалостная реальность постоянно наносит удары: смерть мужа, преследование гангстеров, изгнание из школы крупье. Несчастья сыплются на нее как из рога изобилия, но она упрямо движется вперед, стиснув маленькие кулачки. В этом фильме Сьюзен Сарэндон как-то внезапно повзрослела, обрела шарм привлекательной женщины.

Лентой "Атлантик-сити" завершилось целое десятилетие в творческой биографии актрисы. Рука Луи Малля оказалась счастливой. После десятилетия барахтанья в неизвестности Сьюзен Сарэндон наконец вынырнула на поверхность и вздохнула полной грудью. Впервые в жизни она была выдвинута на соискание премии "Оскар". И хотя премия досталась старейшей актрисе Кэтрин Хепберн за фильм "У золотого озера", это не омрачило радостного состояния духа. Привыкшая к огромным рецензиям, Сарэндон наконец ощутила интерес к своему творчеству и, что самое главное, впервые в жизни почувствовала себя актрисой. "Лично для меня выдвижение на премию "Оскар" было невероятным прогрессом. Я всегда чувствовала себя статисткой, и вот наконец мне удалось продвинуться к рампе" ("American Film". May 1992, p. 66).

Сьюзен осмелела настолько, что даже решила выступить в театре — в спектакле "Пара белых несущек, сидящих и болтающих", рассчитанном на двух исполнителей. Успех превзошел все ожидания. Критики пришли в восторг. Фрэнк Рич, обозреватель "Нью-Йорк Таймс", писал: "Те из нас, кто привык ассоциировать имя Сарэндон со скучными ролями в скучных фильмах, просто оказались в шоке, увидев ее в "Белых несущках". Мисс Сарэндон повернулась к нам своей выигрышной стороной". После спектакля Сьюзен поджидали зрители. Они хотели рассмотреть ее поближе, получить автограф. После десяти лет работы Сьюзен Сарэндон получила наконец доказательства собственной профессиональной пригодности.

Встреча с французским режиссером изменила ее жизнь. Три года длился их любовный и творческий союз, прерванный женитьбой Малля на актрисе Кэндис Берген. До встречи с Маллем Сьюзен казалась



девушкой-переростком, чему немало способствовал наивный взгляд широко распахнутых глаз. Теперь у нее появился свой стиль и особая привлекательность. Не случайно именно Сьюзен Сарэндон была избрана в качестве партнерши знаменитой красавицы Катрин Денев в фильме "Голод" (1983).

Это один из самых утонченных и изобретательных вампирских фильмов последнего десятилетия. Его действие вращается вокруг прекрасной вампириши Мириам в исполнении Катрин Денев. Потеряв своего многолетнего напарника, она бросается на поиски нового партнера и останавливает выбор на враче Сэре Роберт (Сьюзен Сарэндон). Ничего не зная о намерениях вампириши, Сэра настойчиво стремится проникнуть в загадочный дом, где обитают вампиры. Мириам соблазняет ее. Совершив с ней акт соития, Сэра сама становится вампиршей.

Ни в одном фильме Катрин Денев не была так царственно красива и холодна. Кажется, вся мудрость мира сосредоточена во взгляде этой женщины, прожившей на свете около тысячи лет. Мириам хорошо изучила природу человеческую и знает, что ради бессмертия люди готовы на все. Она ошибается лишь однажды: узнав об участии, уготованной ей вампиршей, Сэра пытается покончить с собой, перерезав сонную артерию, но в силу мистических взаимосвязей, существующих в мире вампиров, погибает Мириам, буквально на глазах превращаясь в высохшую мумию. Ее преемницей становится Сэра.

Денев и Сарэндон образовали на экране необычный дуэт. Причем холодность французской звезды выгодно подчеркивает теплоту, мягкость, чувствительность, непосредственность и восприимчивость американской актрисы. Сарэндон в этом фильме похожа на чувствительный локатор, ловящий звуки таинственного мира. Даже оттопыренные ушки, придающие ей сходство с летучей мышью, прекрасно играют на раскрытие образа.

"Голод" — фильм не о вампирах, но о вампиризме как явлении физического и психического террора. Взаимодействие актрис столь разных индивидуальностей рождает особый магнетизм, придавая ленте ту философскую глубину, которой, быть может, даже не было в намерениях автора.

Как переменчива актерская судьба! Еще совсем недавно критики откровенно зевали на скучных фильмах с участием Сьюзен Сарэндон, а после "Голода" ей единодушно был присвоен титул фривольно-смелой звезды. Так что когда австралийский режиссер Джордж Миллер начал снимать фильм "Иствикские ведьмы", не существовало сомнений, что роль главной ведьмы Александры должен исполнить Сарэндон. Правда, в результате интриг эта роль перешла к Шер. Сьюзен вспыхнула, хотела разорвать контракт, но в конечном итоге согласилась на роль Луизы и, надо сказать, не проиграла.

"Иствикские ведьмы" (1987) — забавная кинематографическая шутка на тему женской эмансипации. В маленьком провинциальном городке появляется "дьявол" — Д.Николсон и возвращает трех одиноких женщин. Проходит немного времени, и новоявленные ведьмы с помощью черной магии избавляются от своего не в меру ретивого любовника, а потом производят на свет трех очаровательных дьяволят. Сарэндон играет учительницу музыки Луизу. Трудно вообразить более унылую личность, чем ее героиня. Фигура скрыта под мешковатым балахоном. Волосы зализаны и заплетены в косу. Глаза скрыты за круглыми очками в металлической оправе. Но вот приходит дьявол, и героиня преобразается в роскошную рыжекудрую красавицу, без стыда выставляющую напоказ свои прелести. В этой роли Сарэндон демонстрирует столько юмора, изящества и грации, что без труда затмевает





снимавшихся рядом с ней Шер и Пфайфер и показывает себя достойной партнершей Джека Николсона, блеснувшего в роли дьявола.

И все же, все же... "Голод" и "Иствикские ведьмы" — это смелый прорыв в область кинематографа, не слишком близкого Сарэндон. Куда чаще ей приходится играть неудачниц, обделенных судьбой. Незадачливая дикторша телевидения, чей возлюбленный бросает ее ради другой женщины ("Любовные пары", 1980). Стенографистка, в одиночку воспитывающая сына и мечтающая избавиться от опеки матери ("Система друзей", 1984). Спившаяся официантка из придорожной забегаловки ("Белый дворец", 1990).

Ни одной актрисе не приходилось так часто исполнять роли официанток. Для американского кино это не просто профессия. Это социальный статус одинокой женщины, не имеющей перспектив на будущее. Ни одну из героинь Сарэндон не возможно представить счастливой матерью, сидящей во главе семейного стола. И хотя они стремятся обрести семью, опору в жизни, но остаются одинокими в силу внутренней неприкаянности. Самой крупной удачей здесь был, без всякого сомнения, образ Сэлли Мэтьюз ("Атлантик-сити"). Спустя десять лет Сарэндон прославилась в мелодраме "Белый дворец", где сыграла Нору Бейкер, официантку из придорожной забегаловки. Муж Норы исчез в неизвестном направлении, семнадцатилетний сын умер от наркотиков и алкоголизма. Жизнь этой сорокалетней женщины проходит среди казенного уюта меблированных комнат. Подвыпившая Нора повисает на молодом человеке, всеми силами стремясь привязать его к себе. И он не может устоять перед чарами этой женщины, чья чувственность одерживает верх над его мелкобуржуазными комплексами.

Вершиной в разработке образа одинокой, неприкаянной женщины стала картина "Тельма и Луиза" (1991) режиссера Ридли Скотта, где Сюзен Сарэндон вновь пришлось сыграть официантку.

Две подруги — официантка Луиза и домохозяйка Тельма — отправляются на уик-энд в горы. По пути они заворачивают в ресторанчик. Подвыпившая Тельма знакомится с одним из завсегдатаев, и тот пытается ее изнасиловать. Луиза пристреливает негодяя. Скрывшись с места преступления, подруги решают ехать в Мексику. По дороге они грабят магазин, обезоруживают полицейского, сжигают автофургон преследующего их шофера. Целый отряд полицейских бросается на поимку опасных преступниц. Взятые в кольцо, женщины выбирают смерть. С высокой скалы их автомобиль устремляется на дно Большого Каньона.

Луиза, героиня Сюзен Сарэндон, живет на пределе душевных сил. Достаточно посмотреть, как она курит, лихорадочно затягиваясь сигаретой, чтобы понять — в душе этой женщины нет мира. Лицо темнеет от ярости, когда она стреляет в насильника. И она не отказывает себе в удовольствии полюбоваться на мертвое тело того, кто несколько минут назад издевался над ее

подругой.

Уже ближе к финалу станет известно, что в юности сама Луиза была изнасилована парнем из Техаса. Стреляя в Харлана, она мстила за свою поруганную юность, да, наверно, и несложившуюся жизнь. И так не слишком красивая, в некоторых эпизодах Сьюзен Сарэндон кажется просто отталкивающей, настолько искажают ее лицо приступы ярости. Эта колючая непримиримость Луизы подчеркивается беспечной улыбчивостью Тельмы (Джина Дейвис), чьи наивность и доверчивость стали главной причиной свалившихся на женщин несчастий.

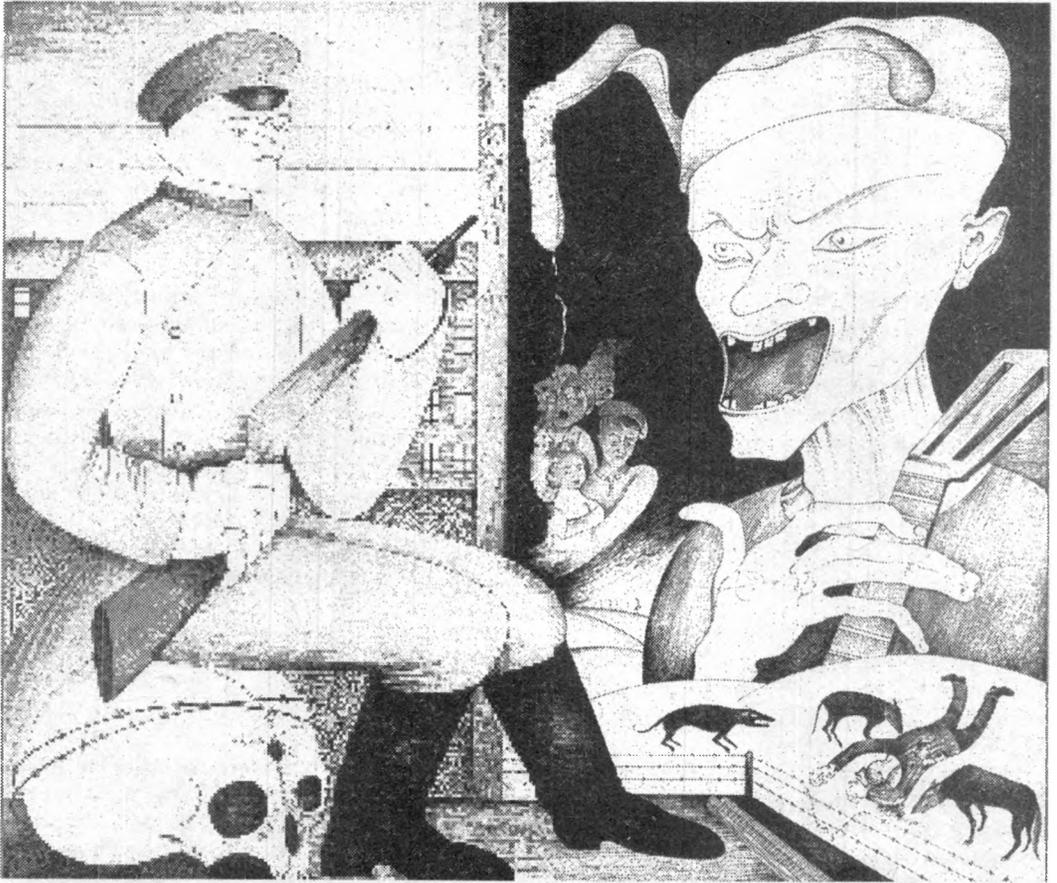
Есть роли, становящиеся неотделимыми от личности их исполнительниц. Именно это произошло с Луизой Сойер. Трудно сказать, кто из современных актрис мог с такой яростной одержимостью раскрыть цельность натуры Луизы, которая предпочла смерть унылому прозябанию за тюремной решеткой. Размышления над фильмом "Тельма и Луиза" почти с неизбежностью возвращают нас на десять лет назад к картине "Атлантик-сити". В образах Сэлли Мэтьюз и Луизы Сойер ощущается некая диалектическая преемственность, наглядно показывающая, что у героинь Сьюзен Сарэндон мало шансов приспособиться к современной американской действительности, активно отторгающих их от себя.

Партнершей Сьюзен Сарэндон в фильме "Тельма и Луиза" выступила Джина Дейвис. Хотя ее актерский багаж пока не слишком велик, она уже успела получить "Оскара" за фильм "Случайный турист" (1989). В исполнении Дейвис образ Тельмы поначалу отличается необыкновенной естественностью, притягательностью и даже мягкотелостью. Тем более удивительным кажется превращение этой заурядной домашней хозяйки в самостоятельного, готового к кардинальным решениям человека. Кажется, что роли в этом фильме были не просто сыграны, а пережиты обеими актрисами. Неслучайно Сарэндон и Дейвис были выдвинуты на премию "Оскар". Фильм "Тельма и Луиза" удостоился еще четырех номинаций (лучший фильм, лучший оператор, лучший звук, лучший сценарий), но получил только одного "Оскара" — за лучший сценарий.

"Тельме и Луизе" не повезло, поскольку им противостоял столь мощный конкурент, как "Молчание ягнят". И приз за лучшую женскую роль достался Джоди Форстер, сыгравшей молодого агента ФБР, защищающего общество от маньяков и убийц. Вполне справедливо жюри "Американской Академии киноискусства" решило поощрить тех, кто укрепляет систему американского общества, а не расшатывает ее. Нетрудно вообразить, как "правильная" героиня Форстер преследует опасных, противостоящих обществу героинь Сарэндон и Дейвис. И потом, американцы не любят печальных финалов. Решившиеся на самоубийство героини "Тельмы и Луизы" имели не слишком много шансов на взаимопонимание. Хотя, в ведущих газетах и журналах фильм "Тельма и Луиза" получил самые высокие оценки, дождь "Оскаров" вылился именно на "Молчание ягнят". Однако это не снижает ни эстетического, ни социального значения картины, жестко, без прикрас показавшей современное положение американской женщины. Огромная заслуга в этом не только сценаристки Кэлли Хури и режиссера Ридли Скотта, но и актрис Сьюзен Сарэндон и Джини Дейвис, создавших яркие, запоминающиеся женские характеры.



Г.Краснова.



Художник М.Шемякин

П.Луцик  
А.Саморядов

## *Сказка о снайпере Василии Морозове*

У самого синего моря близ славного города Таганрога, в маленьком рыбацьем поселке жил мальчик Василий Морозов. Взгляд его был так ясен, что стоя на горе, он мог за тысячу шагов разглядеть человека. Один раз у его соседей потерялась корова, и не было ее уже три дня. Тогда поднялся Василий на пожарную вышку и три часа смотрел на лиман, выходящий от поселка к морю, на протоки, заросшие камышом и тальником, пока не увидел корову за три километра в дальних плавнях.

В школе Василий учился средне, зато стрелял лучше всех. Возили его на соревнование в район, где он всех победил, возили в Таганрог, он и там первый был. Тогда его в Ростов повезли, на соревнование офицеров трех округов, Киевского, Волжского и Кавказского. Боевые офицеры стреляли там из карабина, пистолета и автомата, и везде Василий среди первых был. Многие смотрели и удивлялись. Шесть лучших снайперов стреляли на четыреста шагов из снайперской винтовки без оптического прицела, а призом был именной ижевский

карабин с посеребренным прикладом и тысяча рублей денег. Всех превзошел Василий Морозов, даже прославленного снайпера полковника Чеблакова, убившего 319 человек. Карабин Василию не отдали, потому что было ему все 15 лет, отдали полковнику Чеблакову, чтобы передал он этот карабин Василию, когда тот в армию пойдет. Дали же Васе только тысячу рублей.

В поселке где жил Василий, жила еще девушка, Наташа Андрейченко, работала она начальницей бензоколонки в степи, там где идет дорога из Таганрога в Херсон, и была Наташа самая красивая девушка на триста километров вокруг. 25 лет ей было, красивая, веселая, но злая, за ней никто и не ухаживал из парней, ухаживал один майор-летчик из Таганрога, но его убили, кто и за что, неизвестно. Говорили, что она бандитам укрытие дает, краденое принимает, только с богатыми за деньги спит, ее в Москву даже возили для генерала одного, все это говорили, придумывали, но никто ничего не знал наверняка.

И вот шел как-то Василий мимо бензоколонки по своим делам, а Наташка вышла из будки своей и говорит: "Это ты, Морозов, который в Ростове самый лучший снайпер был?" „Я!“ – отвечает Василий. „Пойдем к морю, искупаемся, а то мне одной страшно“. Хотел Василий мимо пройти, а она дорогу загородила и смеется: "Пойдем, не бойся, я люблю голый купаться, а ты посторожишь, чтобы никто не увидел. Или вправду боишься?" „Идем, – говорит Василий. – Чего мне бояться?" Взяла тогда она его под руку, и пошли они к морю.

Пришли они в укромное место, не успел Василий глазом моргнуть, как разделась она до гола и одежду свою ему на руки держать дала. Накупалась она, пообсохла на камне, оделась, поблагодарила Василия, что стерег ее и ушла на бензоколонку. А Васька, как увидел голую Наташку Андрейченку, так чуть не умер. И влюбился в нее насмерть, так что заплакал.

Потерял он и покой, и уж все потерял, стал в степи по холмам бродить и оттуда на бензоколонку смотреть. Сядет он на холм и сидит часами. Наташка это заметила, но никому не говорила, про себя только усмехалась. Иногда же, в жаркий день, когда не было ни одной машины, раздевалась она до трусиков и ходила у колонки, знала что Васька с холмов все видит, дразнила его.

Раз придумала она шутку. Вдруг упала в своей будке на пол у раскрытого окна и лежит, будто мертвая. Час лежала, ждала. И дождалась, дверь скрипнула, Василий заглянул сначала, потом ближе подошел, пытаясь дыхание угадать. Но она не дышала, лежала, мертвая. Только Василий ее за руку тронул, она его и схватила, смеясь, и уж вырваться не дала, удержала. Стала его пытаться, он и сознался, что любит ее больше всего на свете, хотя это она уже и сама знала, опытная была. Говорит она ему: "Ты, Вася, мне тоже нравишься, и я тебя люблю, – а в доказательство взяла его руку и себе под платье между ног положила. – Вот, держи меня, все твое, что хочешь, то и делай". Василий оробел и растерялся, покраснел как девушка, чуть живой стоит. „Что толку, что ты любишь меня? – говорит Наташка. – Ты мальчик, а я женщина, я на 10 лет тебя старше. Вырастешь большой и бросишь меня старую“. Взмолился вдруг Василий, обнял ее: "Не брошу, чтоб мне умереть, уедем вместе, где никто и не знает нас. Там жить будем, я мужем твоим буду, ты мне женой, уедем, не могу я без тебя, умру!" „Ладно“, -- говорит Наташка. Задумалась она, молчала долго, серьезно, а Васька на нее глядел, затаив дыхание. „Слушай же! – заговорила она. – Знаю я один город на Дальнем Востоке, если не передумал, туда уедем, там жить будем, если надоем тебе, бросишь меня, потом, но сейчас хочу я быть твоей женой. Только поклянись, что любить меня будешь, и помогать. Жена и муж единое, что один делает, то и другой должен. Поклянись не выдавать друг друга до смерти, защищать, как жизнь свою и более“. „Клянусь!“ -- сказал Василий. „Хорошо, запомни что ты сказал, теперь ты мне муж, а я жена, только никто об этом знать не должен, при людях на меня не смотри и на холмах больше не стой!“ Обняла его Наташка и стала целовать. Потом сняла с себя платье, и пропал Василий Морозов.

А на следующую ночь, когда встретились они снова, завела Наташка такой разговор: "Чтобы бежать и жить, деньги нужны, а взять их негде". Стали они вместе думать, где денег взять и вспомнила Наташка, что живет в их поселке известный богач, грек Апостолиди. И рассказала она Василию, что прячет он свои деньги в железной банке в погребке, что под домом. Если же Василий муж ей, любит ее, то должен он эти деньги добыть, а она поможет ему в этом деле. Тогда уедут они и будут жить далеко и счастливо,

а кроме того грек этот у Наташки деньги занимал, но не отдал и отдавать не хочет. „Пойдешь?“ – спросила она. „Да!“ – ответил Василий.

Лазил он ночью во двор к Апостолиди, но в дом не смог пробраться. Тогда Наташка придумала, как сделать. Дождалась она, когда жена Апостолиди в Таганрог за покупками уехала, и пришла ночью к греку в гости. Угощал грек ее на кухне вином, смеялись они громко на весь дом. Наташа же выбрала время и открыла входную дверь.

Пробрался Васька незаметно в дом и залез в погреб. Все перерыл он в погребе, землю ножом прощупывал, стены простукивал, но не нашел железный ящик. Тогда стал он землю рыть и когда на два локтя вырыл, нашел железную банку, и в ней деньги.

Выбрался он наружу, а утро уже рассветает, хотел уйти незаметно, как договаривались они с Наташкой, но зашел в комнаты. Тихо было в доме, а его жена Наталья Андрейченко и грек голые спят в постели, пьяные.

Загорелось у Василия сердце, стал он бить грека, тот очнулся, увидел свою железную банку и кинулся на Морозова, задушить его хотел. Но тут сзади на грека напала Наташка и вдвоем с Василием убили они грека Апостолиди.

„Что же ты наделал? – ругала Наташка Василия. – Почему не ушел тихо? Я его пьяным напоила, он заснул, ничего между нами не было“. Открыли они железную банку, а там денег на всю жизнь хватит и останется еще. Уговорились они через 3 дня уехать, а до того не встречаться, деньги же Наташка взяла, чтоб спрятать.

Вернулся Василий домой, только прилеж, вдруг стук, крики, милиция пришла. Убежал Василий, в степи схоронился, не догнали его. Вечером к нему младший брат пришел, принес поесть. Он рассказал Василию, что Наташка Андрейченко в милиции была и призналась, будто видела, как Василий утром из дома Апостолиди выходил, и руки у него все в крови были, и будто Василий сказал ей, чтоб молчала, а то он ее убьет. „Ты убил?“ – спросил брат. „Я!“ – ответил Василий. „А деньги где?“ „Потерял“, – засмеялся Василий в ответ. „Говорят денег было страшно много, где хочешь потерять? – брат вздохнул. – На север тебе бежать надо“. „Надо“, – согласился Василий.

Ночью он пробрался в школу, взломал оружейную комнату и вынес старый школьный карабин. А через два дня уходил катер из поселка в море и морем в Таганрог. Стояла на том катере Наташка Андрейченко в платке и платье, самая красивая на триста километров вокруг. Рядом лежал ее чемодан, уплывала Наташка из поселка навсегда и в последний раз смотрела на поселок, на степные холмы за лиманом. Долго выбирался катер через лиман, чтобы выйти в море и смотрел на него Василий Морозов. Он залег с карабином на самом высоком холме. Глаза у него были такие ясные, что видел он и катер и Наташку и даже платок на ней и чемодан на палубе. Далеко было до катера и карабин был старенький. Лег Василий поудобней, продышался, как учили, прицелился, вздохнул глубоко и на выдохе выстрелил. Не услышали на катере выстрел. Наташка Андрейченко стояла так же. Зябко ей стало и она накинула на плечи красную кофту. Второй раз выстрелил Василий. Видел он, как за борт упала маленькая фигурка в красном и не всплыла. Заплакал он и пошел от лимана в степь.

**Для тех, кто не смог найти нас в каталоге ЦРПА на 2-е полугодие 1994 года:**

**Подписку Вы можете осуществить, начиная с пятого номера по Приложению № 1 к Каталогу ЦРПА, стр 3 в любом почтовом отделении.**

**Наш индекс: 70434, цена 1 выпуска – 1.200 рублей.  
Если Вы хотите получить № 4 – позвоните в редакцию, мы постараемся Вам помочь.**

**Телефоны: 299-11-78, 299-47-74. FAX: 209-60-23.\*\***

# СОДЕРЖАНИЕ

- Последний сценарий  
3 Р.В.Фассбиндер „Кокаин“
- Непоставленное кино  
19 Ю.Арабов „Две танцовщицы“
- К 100-летию кинематографа  
49 Дж. Дж. Эпстайн, Ф. Г. Эпстайн, Г. Коч „Касабланка“
- Продолжение следует  
108 Г. Горин „Записки брата Лоренцо“
- Победители конкурса  
129 А. Серебрякова „Изверг своего отечества или Жизнь Михаила Бакунина“
- Мемуары  
150 В. Фрид „58 1/2“ (продолжение)
- К 70-летию Параджанова  
171 В. Катанян „Сережв или Страсти по Параджанову“ (продолжение)
- Интервью  
14 Р. Ямалеев „Писатели станут городскими сумасшедшими“  
103 М.Сергиенко „Где начало того конца, которым оканчивается начало?“
- Из жизни звезд  
182 Г. Краснова „Сьюзен Сарэндон“
- Сказки Саморядова  
189 П. Луцик, А. Саморядов „Сказка о снайпере Василии Морозове“

Редакция приносит свои извинения за качество иллюстраций.

Главный редактор Н.Рюрикова

Редакционно-общественный совет: В. Азерников, Э. Акопов, И. Васильева, Г. Горин, А.Гребнев  
А.Инин, Е. Клейнер, А. Криницына, А. Мамиллов, А. Медведев, В. Мережко, Н. Рязанцева,  
М.Сергиенко (отв. секретарь), П. Финн, В. Фрид, А. Червинский, В. Черных

Компьютерная верстка А. Макаровой

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Сдано в набор 10.05.94 Подписано к печати 30.06.94. Формат 70x100/16. Усл.печ.л. 14,5.  
Усл.кр.отг. 14,5. Печать офсетная. Бумага типографская офсетная. Гарнитура “прагматика”  
Заказ № 3004

Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12

Телефоны: 299-11-78, 299-47-74, 209-60-23

Чеховский полиграфкомбинат

142300, г.Чехов, Московской области.

# А Н О Н С

На страницах следующих выпусков нашего журнала вы сможете получить полное представление о фильмах, признанных лучшими на международных и отечественных конкурсах:

„Тельма и Луиза“ – сценарий Кэлли Хури, призер Оскара 1992 года.

„Утомленные солнцем“ – сценарий Р.Ибрагимбекова и Н.Михалкова, фильм – призер Каннского фестиваля 1994 года.

„Пианино“ – сценарий Дж. Кемпион, фильм – лауреат Оскара 1994 года и Гран-при Каннского фестиваля 1993 года.

„Прорва“ – сценарий Н.Кожушанной, фильм – призер Каннского фестиваля 1993 года, приз „Золотой Овен“ 1993 года за лучший сценарий.

„Охота на бабочек“ – сценарий О.Иоселиани.

## А ТАКЖЕ

познакомиться с непоставленными сценариями Валерия Залотухи, Александра Бородянского и Николая Достая, Булата Окуджавы, последним сценарием Юрия Нагибина, дебютами молодых кинодраматургов, сюжетами ненаписанных сценариев – под новой одноименной рубрикой, которую откроет Григорий Горин.

В ближайших номерах мы поделимся с читателями неожиданным для нас самих открытием: оказывается, альманах кинодраматургии издавался в России еще в начале века и назывался „Пегас“...

Все полугодие мы будем продолжать публикации книг В.Фрида „58 1/2“ и В. Катаняна „Сережу или Страсти по Параджанову“, в рубрике „Из жизни звезд“ предложим нашим читателям отрывки из книг Марлен Дитрих, Греты Гарбо и, как всегда, рассказы о звездах кино.

И, конечно, вас ждут новые интервью, проза, сказки, статьи и самые разнообразные интересные материалы о том, что всех волнует и увлекает,

– о КИНО.



ЧИТАЙТЕ В СПЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

“Тельма и Луиза”

ПРИЗ ОСКАР-92 ЗА СЦЕНАРИЙ

КИНО СЦЕНАРИИ №3